

АНДРЕЙ СНЕСАРЕВ

ФИЛОСОФИЯ
ВОЙНЫ

МОСКВА «ЛОМОНОСОВЪ» 2013



ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ



Андрей Евгеньевич Снесарев, 1903 год

УДК 355.01

ББК 66.4

С53

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России»

ВЫДАЮЩИЙСЯ ВОЕННЫЙ ТЕОРЕТИК И ФИЛОСОФ XX ВЕКА

Воин, полководец, ученый-энциклопедист, военный теоретик и философ в одном лице — явление редкое. Но именно таким в истории отечественной культуры предстает Андрей Евгеньевич Снесарев. К сожалению, масштаб его личности далеко не соответствует масштабу его известности.

Родился он 13 декабря 1865 года в слободе Старая Калитва Воронежской губернии в семье сельского священника Евгения Петровича Снесарева. Вскоре отца Евгения перевели в станицу Нижне-Чирскую, где Андрияша начал посещать школу и проучился семь лет. Затем он продолжил учебу в гимназии в столице войска Донского — городе Новочеркасске, которую закончил с серебряной медалью. Так что детство и юность Снесарева прошли в казачьей среде, для которой военная служба была органичной составляющей образа жизни. Однако после гимназии он выбирает не военную стезю, а поступает в 1883 году в Московский университет на физико-математический факультет, на отделение чистой математики.

О студенческой жизни Снесарева информации мало, известно только, что учился он старательно и с хорошими результатами. В 1888 году он оканчивает университет и защищает диссертацию на тему «Исследование бесконечно малых величин». Знание фило-

софии математики послужит впоследствии Снесареву одной из отправных точек при разработке философии войны. После университета у него была прямая дорога на кафедру математики, но Снесарев поступает в Московское пехотное юнкерское училище, выходит из него в 1889 году в чине подпоручика и связывает с армией всю свою последующую жизнь.

Молодой офицер семь лет служит в 1-м Лейб-Гренадерском Екатеринославском Императора Александра III полку на командных и штабных должностях. 15 апреля 1893 года его произвели в поручики. Кроме служебной деятельности, поручик Снесарев с разрешения командования занимается пением у профессора И. П. Прянишникова, выступает в концертах, в том числе со знаменитым тенором Л. В. Собиновым, который был его однокашником по пехотному училищу. Ему прочат успешную оперную карьеру. Снесареву даже довелось заменять заболевшего артиста в Большом театре, исполнять партию Невера в опере Джакомо Мейербера «Гугеноты».

Снесарев постоянно углубляет и расширяет круг своих знаний и умений. За время службы в полку он становится высоким военным профессионалом и полиглотом, изучает из европейских языков немецкий, французский и английский, а из восточных — вероятно, на курсах, созданных Министерством иностранных дел, — узбекский, хинди, урду, фарси.

Молодого офицера интересуют не только прикладные военные науки, но и фундаментальные проблемы теории войны как общественного явления. Он изучает и оценивает диаметрально противоположные подходы к пониманию природы войны Л. Н. Толстого и генерала М. И. Драгомирова. Последний на выход романа «Война и мир», в котором Толстой трактовал войну как «событие, противное человеческому разуму и всей человеческой природе», откликнулся статьей «Война и мир гр. Толстого с военной точки зрения». В ней Драгомиров восхищается Толстым как художником, но в то же время принципиально не согласен с ним и считает, что «иногда она (война. — *И. Д.*) противна разуму, иногда нет: зависит от того, за что война ведется. Как сила вершающая, разум не подчиняется никаким

узким нормочкам азбучной морали»*. Похоже, что поручик Снесарев принял сторону генерала, а не знаменитого писателя. Свое отношение к взглядам Толстого на природу войны он выразит через много лет в «Философии войны».

В 1896 году Снесарев поступает в Николаевскую Академию Генерального штаба. Через некоторое время пребывания в академии он напишет одной из своих сестер: «Первые два дня хандрил, теперь немного прихожу в себя и вновь берусь за работу. Академия делает свое дело и берет в лапы: не замечаешь, как все помыслы и даже мелочные желания начинают вертеться около нее... какую массу нервов и умственного напряжения берет эта вторая *alma mater*...»**

Начальником академии в первые два года учебы в ней Снесарева был известный военный теоретик Генрих Антонович Леер. Его военно-теоретические труды пользовались успехом не только в России, но и в Европе. Его труд по стратегии выдержал несколько изданий. Стратегия была одной из основных учебных дисциплин в академии, курс лекций читал сам начальник. Леер давал следующую трактовку войны как общественного явления: «Война является в виде одного из средств, при том крайнего средства (*ultima ratio regis*) для достижения государственных целей... Борьба лежит в основе всего живущего. Все силы природы находятся в постоянной борьбе между собою, стремясь к созданию нового и более совершенного путем разрушения старого и отжившего. Таков основной закон природы. Человечество, составляя часть ее, в своей деятельности, подчиняется тому же закону. Вот почему войны всегда были и будут»***.

Есть основания утверждать, что слушатель академии Снесарев критически оценивал воззрения маститого профессора. Он сравнивал взгляды на войну и военную стратегию К. Клаузевица

* Сборник оригинальных и переводных статей М. Драгомирова (1858—1880). Т. I. С. 452. — СПб., 1881.

** Личный архив А. Е. Снесарева, хранящийся у внука, Андрея Андреевича Снесарева.

*** Энциклопедия военных и морских наук (Под редакцией Г. А. Леера. Т. II. С. 269—271. — СПб., 1885.

и Г. А. Леера (последователя генерала А. В. Жомини*) и делал выводы не в пользу своего уважаемого учителя. Аргументированно эта позиция будет изложена Снесаревым через четверть века в специальном исследовании жизни и творчества Клаузевица, которое он завершил в 1924 году**.

Похоже, что уже тогда Снесарева не устраивала лееровская трактовка философии войны, связанная с постулатом о предопределенности войн. Когда позже Снесарев сам будет составлять словарь по стратегии, наброски которого сохранились в личном архиве, то он так изложит свою позицию: «Философия войны... есть научно переработанное (проще обнаученное) военное мирозерцание. Иначе говоря, ф[илософия] в[ойны] — наука о существе и смысле войны и о высших вопросах, с нею связанных. От других наук — стратегии, тактики и т. д. — фил[ософия] в[ойны] отличается той коренной особенностью, что все остальные военные науки по существу утилитарны и отвечают на основной вопрос: как воевать, а фил[ософия] в[ойны] — наука чистая и пытается отвечать на вопрос: почему и зачем воюют»***.

В академии на поручика Снесарева не могли не обратить внимания, а разносторонние творческие способности сделали его известным и за ее пределами. В то время основной учебный курс академии состоял из двух лет обучения, на третий курс переводили лишь тех, кто оканчивал основной курс с лучшей суммой баллов.

* Жомини Антуан-Анри (Генрих Вениаминович) (1779—1869) — французский и русский военный писатель, французский бригадный генерал, российский генерал от инфантерии (1826). В молодые годы находился на воинской службе во Франции, в 1813 году перешел на русскую военную службу и состоял на ней до конца жизни. По поручению Николая I принимал активное участие в создании в России Военной академии, которая в последующее время получила официальное название Академии Генерального штаба. Жомини оставил большое военно-теоретическое наследие.

** Снесарев А. Е. Жизнь и труды Клаузевица. — М.: ВАГШ., 2001.

*** Снесарев А. Е. Словарь по стратегии. Рукопись из личного архива А. Е. Снесарева.

Снесарев окончил полный трехлетний курс по первому разряду. В 1899 году по выпуску из академии он производится в штабс-капитаны, причисляется к Генеральному штабу и получает назначение в штаб Туркестанского военного округа на должность старшего офицера.

В то время в Средней Азии, на Памире, переплетались интересы трех великих империй: России, Великобритании и Китая. Военная экспансия Великобритании на Среднем Востоке серьезно беспокоила Россию. Штабс-капитану Снесареву и полковнику Полозову было поручено провести обследование обширного высокогорного региона, где противостояние с Британской империей могло стать особенно острым. Снесарев вместе со своим напарником провели труднейшую экспедицию. Он посетил многие районы и города Британской Индии, Кашмир, Симлу, Гильгит, Лахор и другие, был принят вице-королем Индии лордом Керзоном, другими высокими чинами британской колониальной администрации.

В 1902 году Снесарева назначили начальником Памирского отряда. Штабс-капитан блестяще справляется со своими обязанностями и одновременно выполняет научную работу особой важности. В 1903 году выходит в свет первая крупная работа Снесарева — двухтомная монография «Северо-Индийский театр». Впоследствии она неоднократно переиздается в России и за рубежом. Следующей его работой было военно-географическое описание «Памиры».

Об этом периоде своей жизни он рассказал сам — в письмах сестре Клавдии Евгеньевне Комаровой. Эти письма лучше всего характеризуют внутренний мир философа, будущего автора «Философии войны».

29 июля 1899 г.

«Завтра из Ташкента, где пробыл две недели с лишним, пускаюсь в путь окончательный...

Между нами около 4 тыс. верст! Все, что окружает меня, совсем не такое как у тебя: люди, деревья, воздух, климат... все иное, все говорит об ином складе жизни, о других верованиях, помыслах, чувствах...

Перейду к делу: я отправляюсь по высочайшему соизволению в Индию на 6—8 мес.; так как об этом сказано уже в английских газетах (напр. Times), в нашем «Новом времени» и других, то скрывать это нет смысла. Половина пути мною будет сделана официально, (я считаюсь гостем Великобритании на всей территории Индии), остальная, вероятно, иначе...»

17 августа 1899 г.

«Я нахожусь сейчас в Памирах, в 400 верст южнее гор. Оша на р. Мургаб... 11 дней как еду верхом по высотам 13—14 т[ысяч] фут[ов]... Все вынес удачно; обыкновенно люди (в первый раз) подвержены головным болям, расстройствам желудка и течению крови из носа, рта и ушей... Температура на высотах и на данной географической широте — невозможная: открыто солнце — тропическая жара, закрыто и еще ветерок — стужа, в последнем случае еду по зимнему: баран[ий] тулуп, валенки и мех[овая] шапка... всегда набрюшник и голова укрыта фланелькой... Много видал нового и интересного, два раза охотился... словом, еду с открытым ртом ребенка... Сегодня у нас дневка, а завтра мы с товарищем временно расходимся: он идет долиной р. Ак-су — более длинной (в обход афганской территории), а я пойду напрямик по перевалам, через четыре дня достигну афганской территории и 5-ый день пройду по ней до границы английской... здесь подожду товарища...»

24 августа 1899 г.

«Афган[скую] террит[орию] проскочил благополучно — шел рано и в полном тумане (то есть в облаках)... перевалил вчера перевал Мыкман-Юлы. Если бы ты могла себе представить, что это значит, по какой круче и камням приходится идти, лошади портят себе ноги... облака плывут уже под ногами, идешь по глубокому снегу, в 50 шагах перед собой видишь куски (край) ледника в 5 саж[ен] толщиной... Товарищ мой отстал, англичанин не встречает, собственной палатки я не заводил и мне сначала пришлось спать под открытым небом...»

16 (28) сентября 1899 г.

«...Теперь наше путешествие получило нежелательную для меня форму какой-то прогулки: всюду встречи, парадные обеды, тосты... После обеда музыка (я пою, вызывая незаслуженные восторги обеденных голосами англичан и англичанок). Газеты внимательно (полиция, платные господа, отчасти военные... тоже) следят за нашим маршрутом, и я нередко читаю, что русские офицеры тогда-то покинули такой-то город и отправились туда-то... Избежать суеты нет возможности, хотя я уклоняюсь, как только поймаю таковую.

Мой план остановиться в Лагоре не одобряется правительством Индии, и оно разрешает мне лишь ездить по Индии, но не останавливаясь нигде на продолжительное время. Это так грубо и неразумно со стороны правительства, что я склонен усматривать в недозволении какое-либо недоразумение... Скоро буду в Симле и думаю поговорить лично с лордом Керзоном — вице-королем...

Один офицер генер[ального] штаба Англии представлялся в Петербурге военному министру и Его превосходительство сказал, что он выбрал для командировки в Индию меня, выбрал лично и надеется, что я удачно выполню задачи... Офицер рассказал об этом по прибытии в Индию и здесь (признавая ум и наблюдательность ген. Куропаткина) стараются, вероятно, удесятерить наблюдение за твоим несчастным братом...»

29 октября 1899 г.

«18—27 октября я пролежал больной; доктора определили у меня лихорадку (здесьнюю в малярийной форме) в связи с солнечным ударом. Я же полагаю, что сюда прибавились нравственные потрясения + переутомление (в Симле, уже больной, я работал свыше 14 часов в сутки... теперь доктора запретили мне читать). Вот только два дня, как я приподнялся с постели и могу себе позволить несколько шагов по комнате...

Более 1—1½ месяцев я не буду в Индии. В середине декабря в Коломбо сяду на один из пароходов... и 1—10 января буду у тебя. Оттуда придется по делам проехать в Москву и Петербург... Хотя бы скорее отсюда. Страна богатая, полная и оригинальная, но

все плывет мимо, так много работы; читаешь, делаешь выписки, а вместе с тем фигурируешь на обедах, ведешь тонкие разговоры на 3—4 языках. На лице неизменное благорасположение и улыбка, а на душе те же муки, искание знаний, неугомонные волны самолюбия...

Опишу тебе парадный обед у Вице-короля Индии лорда Керзона. В тот же день мы были на чае (в 5 час. — английская мода) у Главнокомандующего войсками Индии. Здесь мы оставались недолго: Главнокомандующий только что оправился от болезни и был еще очень слаб... Еще до этого приглашения я получал письмо от одного из адъютантов лорда Керзона, в [котором] высказывалась просьба... чтобы я захватил с собой ноты... Дело в том, что до сих пор я распевал: в Гильгите под гитару, в Сринагаре у Резидента (род губернатора) под рояль, — что нашлось... молва-то и пошла... Я бросился в магазин и успел найти “Азру” Рубинштейна и “Лесного царя” Шуберта... Кроме того, у меня была в запасе песенка: “Я вас любил” на слова Пушкина. К 8 час. мы прибыли во дворец. Познакомились с несколькими лицами: это были высшие представители власти: нач[альник] штаба войск Индии, генерал-квартирмейстер, секретарь по Иностр[анным] Делах, секретарь при Воен[ном] Департаменте, сестры Вице-королеви, дочь министра финансов Индии и т. д. Около ½ 9-го мы построились, и состоялся выход Вице-короля с супругой. Он и она подали всем руку. Потом каждый взял назначенную ему даму и повел к столу; мне досталась младшая сестра Вице-королеви, красивая, веселая американка и мы с ней с места же зафранцузили во всю. Когда входили в столовую, придворный оркестр играл «Боже, царя храни». Я сказал своей спутнице, что я — пришелец из дальней земли — весьма тронут таким вниманием и я ей не могу высказать, как волнуют меня эти звуки, [которые] я сейчас слышу. Она ничего не ответила и стала слушать музыку. За столом справа сидела американка, слева — нач[альник] штаба. Последний оказался страшно любопытным, и мне пришлось, почти все время говорить с ним, да еще по-английски, ибо других языков генерал не знал.

Обед был, конечно, великолепен, зала, украшенная гербами Вице-королей Индии, еще великолепнее, рядом играл оркестр... Словом, эта сторона хоть куда. Посла обеда мужчины посидели не-

много отдельно, и, наконец, перешли в большую залу. Здесь, через несколько времени адъютант сказал мне, что Его Светлость устает от разговора. Я поднялся и подошел к лорду. Он попросил меня сесть, и началась беседа. Лорд Керзон высокого роста, с длинным бритым лицом (усы и бороду бреет), серые глаза, поставленные очень широко, имеют резко сосредоточенное выражение, лоб крупный... Все лицо можно назвать красивым (оно ровно розового цвета), если бы оно не было так холодно и самоуверенно... Ходит лорд с какой-то странной развалкой, некрасиво ставя ноги... Голос его я нашел слишком слабым для оратора и недостаточно гибким. Лорд говорит по-французски средне, медленно, но может говорить красиво...

Высокий хозяин спросил меня о путешествии, не устал ли я... говорили о его сочинении о долине Гунзы (мы с ним из числа очень немногих, издавших ее) и т. д. Как только я отошел, подлетел адъютант и попросил меня петь. «Кто мне будет аккомпанировать?» Он указал на престарелую девицу, оказавшейся дочерью министра финансов. Я пропел «Азру» (употребляя русские слова)... Так как меня просили сейчас же еще что-либо, я сам сел к роялю и, аккомпанируя (попросту) пропел «Я Вас любил»... Вице-королю это очень понравилось, и он высказал удивление, что такая короткая песня... Прошло с полчаса и адъютант стал просить меня петь «Лесного царя»... Аккомпаниаторша отказалась, боясь не справиться с трудным аккомпан[иментом]; хотели, чтобы дирижер оркестра аккомпанировал. В конце концов села-таки девица и мы с ней исполнили «Лесного царя» (два раза чуть совсем не разошлись)... После этого со мной долго говорила о музыке Вице-королева; хвалила мой голос и надеялась еще услышать... Через ½ часа Король ушел в апартаменты свои, и гости мало помалу разошлись...»

29 ноября 1899 г.

«Пишу тебе из Агры. Сегодня день моего рождения и мне, значит, стукнуло 34 года. Проехал из Лагора — Амритсар, Амбалу и Дели — много красивого, почтенно-древнего... Буду рассказывать после. Только с оставлением Лагора оставила меня лихорадка... мучила меня ровно месяц и я снизошел до безобразия; теперь вот уже

11 дней, как я здоров и начинаю вновь крепнуть. Последние дни говорю только по-английски...»

Март 1900 г.

«Почти месяц как в Ташкенте. Занят работой по составлению отчета о путешествии в Индию: самая тяжелая и скучная часть работы. Раз мне уже перебили работу, заставив представить один доклад начальнику штаба... Опять было взялся и опять перебивают: посылают встречать английского военного агента, [который] выезжает из Петербурга для путешествия по Туркестану; 19 марта выезжаю в Красноводск для встречи желанного гостя. Поручение более или менее почетное. Вероятно, придется провожать до границы, и, значит, опять садись верхом на лошадь и катай по Памирам... на ангельских высотах...

Две недели как поселился в одной комнатке, плачу за нее и за полный пансион 45 руб. Комната с очень приличной обстановкой, с очень большим письменным столом, за [которым] я и работаю. Вся комната моя полна книгами: они лежат на диване (одном и другом), этажерке, стульях, креслах, полу, смущая моих посетителей».

31 декабря 1900 г.

«Через ½ часа Новый Год, я положил в сторону свою работу и начну с тобой беседовать. Ташкент сейчас веселится, все съехались в Военное Собрание и будут стараться встречать Новый год бестолковым образом... Никогда не принимал участия и надеюсь не принимать в будущем.

Мне хочется подвести с тобой итог за минувший год. Ему нельзя признать в некоторой важности: он является поворотным годом в моей жизни; до него я готовился (глав[ы]м образом) что-то делать, с него я начинаю делать....

Возвратился я из Индии и принялся за то, что мне дали как причисленному к Ген. Штабу. Незаметно для меня работа, мне поручаемая, становилась серьезнее и важнее, и вскоре я занял, так сказать, исключительное место. Тут подошли мои работы в печати, мое пение, занятия в учебных заведениях... все это создало мне привилегированное положение в Ташкенте и сделало меня персоной...

В квартире у меня 4 комнаты, но я постоянно в одной — самой большой — моем кабинете: на стенах восемь планов (Индия и Средняя Азия) и, притом, масса книг — на двух этажерках, на трех столах, на диване, стульях, всюду... Большой письменный стол, к [которому] проведен электрический звонок, мягкая мебель, чистота... уютно и тихо... со стола смотрит на меня “задумчиво и нежно” портрет умершей подруги...»

5 июня 1901 г.

«Пишу тебе с афганской границы. Нахожусь сейчас на западе Памиров, в том месте, где р. Гунт впадает в Пяндж. Путешествие удалось совершить благополучно в обществе с четырьмя господами: генералом, его сыном, военным инженером и одним офицером. Завтра или послезавтра они возвращаются большой дорогой назад, а я, днем позже, с двумя казаками и переводчиком пойду глухими местами сначала к афганской границе (на юге), а потом сверну к китайской, где мне предстоит некоторая работа.

Я сказал “благополучно”, но надо поправить: на Памирском посту у меня околела лошадь, повергнув меня в большую скорбь... Теперь еду на лошади одного киргиза.

Удовольствий дорогой получаю без конца, много записываю. В долине Пянджа знакомился с таджиками, [которые] являются наиболее чисто сохранившимися арийцами: некоторые их слова так напоминают некоторые наши, или немецкие, или французские слова, что просто поражаешься.

...После стоячей жизни в Ташкенте и невероятных трудов [которые] мне пришлось там (за 3—4 офицеров Ген. Штаба) нести, я чувствую себя теперь прекрасно, поправился, пополнел... Словом, путешествие становится моей сферой, областью громадных и разнообразных для меня наслаждений. Тут такая масса неожиданностей, сказаний, легенд, оригинальных сближений, что при моей пытливости и фантазии — образов и картин (внешних и духовных) не обещешься. Какой интересный народ, сколько поэзии, какие причудливые ландшафты!»

31 декабря 1901 г.

«Обернусь на пролетевший год. Он был у меня очень удачный. Полгода я пробыл вне Ташкента — 2 месяца на Памирах и 4 — за границей, и если Памиры дали мне возможность видеть и пережить многое среди простых людей и дикой обстановки, то граница придавила меня такой суммой выводов и впечатлений, что под их тяжестью я останусь еще очень долго. Эти 4 месяца я должен считать истинным благом на страницах своей жизни.

Запасу наблюдений и общего материала захватил я за все 6 месяцев столько, что мне их переработать удастся не скоро...»

Без даты и места отправления.

«Моя библиотека все растет: перед отъездом в Лондон в ней было 183 тома, теперь более 300. Стоимость ее уже теперь не менее 2 тыс. рублей; это мое — пока еще маленькое детище, на [которое] я нередко бросаю со своего места самые нежные взгляды».

26 марта 1902 г.

«...Отправляюсь на год на Памиры и принимаю в управление та-мошний отряд (т. е. 7 офицеров, 1 доктор, 200 с лишним человек и население). Управление последним зачитывается нам в командование ротой. Начальник штаба изъявил свое согласие на командирование меня на Памиры и теперь вопрос представляется усмотрению Командующего войсками и потом пойдет в Петербург...

На Памирах у меня будет полно работы, полная свобода и возможность испытать свои силы и принести пользу... Ведь, подумай, кроме своих людей (до 300), у меня будет свыше 2 тыс. кара-киргизов и до 15 тыс. таджиков хотя подвластных Бухаре, но весьма зависящих от меня. Кроме того, граница Памира теперь крайне тревожна: наступают из Индии мои друзья — англичане... Кроме возможности разнообразно работать, командировка представит мне случай докончить изучение Памира и написать о нем сочинение, [которое] давно необходимо.

...Мы переживаем какое-то смутное время... в воздухе что-то тяжелое и нехорошее. Много из получаемого от вас производит на

меня страшное впечатление... От этого томления меня тянет в сторону к дикарям. Я не в первый раз с ними встречаюсь, они меня знают (есть даже какое-то прозвище вроде “долговязый тюря”), я знаю их. Отчего же мне не надеяться принести им пользу. А через год, может быть, все уляжется, и я вернусь назад в культурную сферу...»

13 мая 1902 г.

«Когда-нибудь поговорю с тобою специально о моих памирских задачах, и теперь скажу лишь, что самой трудной в них стороной для меня будет хозяйственная... В моем распоряжении более 100 тыс. рублей, деньги ассигнуются на самые разнообразные нужды, требуют сложной отчетности... надо знать, где и как купить: возможны злоупотребления. Отношение к последним по многим причинам не может быть формально карающим... Словом, я в первый раз буду решать вопрос о суммах казны и о том, как к ним относиться, чтобы и не быть формальным фарисеем, но и не попасть в разнузданные попустители...»

С моим сочинением идет дело довольно спешно, но рамки, в [которые] я поставлен для выполнения работы, все-таки ужасные; придется в 2—3 месяца написать целое сочинение; одно хорошо, что пишу относительно областей, никому в России не известных, почему и критиковать меня будет некому. Написал пока около 250 печатных страниц; остается около 200...

На Памиры выезжаю 20—25 июня или, может быть, несколько позднее. До отъезда надеюсь получить от тебя ответ.

Настроение мое ровное и деловое. Занимаюсь гимнастикой, езжу верхом и пишу. Около меня теперь еще более стало животных. К двум лошадям, собаке и коту прибавились еще маленькая свинья и 6 цыплят. Свинья — именем Машка — первое время совсем заполонила мое внимание: мне нравилась в ней отвага. Совсем маленький зверь, а она, между прочим, никого и ничего не боится. Любит, чтобы ее чесали: как только я это начинаю делать, она сейчас же ложится на брюхо или бок и подставляет мне наиболее зудящие части... Занятия тюрским языком 2—3 последних недели шли вялее обыкновенного, хотя чтение Евангелия на этом языке доставало мне громадное наслаждение...»

4 июля 1902 г.

«Всего своего сочинения не кончил, а только первую часть, [которая] будет иметь 400—450 печатных страниц; с Памиров пришлю 2-ю часть такого же объема. 1-я часть будет отпечатана отдельно и разослана, 2-я последует за ней дополнительно. Рад, что выпустили. Еду со светлым и жизнерадостным челом, хотя меня ожидает много хлопот... доверие начальства и его хорошее мнение иногда бывают очень неудобны. Непосредственная моя задача — управлять отрядом, то есть жить с ним, производить учения, делать в соседних странах разведки и т. п. Все мои предшественники этим только занимались и имели дела довольно, мне же прибавили столько лишнего, что не знаю, как и справлюсь...

Пока я еще не разобрался и смотрю на все, как на какую-то кашу... По управлению отрядом мне дана большая свобода карать и миловать, что меня сильно облегчает: не надо будет сносить с начальством...»

17 августа 1902 г.

«Только что приехал из объезда своих западных постов и застал целую кипу писем. В поездке был 8 дней: надо было посмотреть 2 поста, [которые] я еще не видел, а, главное, замутили дело англичане: разведка донесла мне, что 300 человек их войска заняли Сархад (важный пункт в узкой афганской полосе, отделяющей меня от англо-индийских владений). Взял я с собою отсюда 12 казаков и через 4 дня прибыл на Лянгарский пост (в 80 верст[ах] от Сархада). Здесь у меня образовалось: 2 офицера, врач (классный фельдшер), 28 казаков и 16 солдат + несколько (45) вооруженных туземцев. В штаб донес, что если англичане не очистят Сархада, то или двинусь их выгонять, или займу пункт не менее важный чем Сархад.

Все кончилось пустяком: англичане не думали занимать, а только затеяли небольшую пограничную ссору, да и всего было у них 150 человек, из [которых] только 50 были вооружены. Вероятно, услышав о моем приходе, они удрали как зайцы. Бегство их тебе будет понятно, если ты вспомнишь, как боятся русских в Азии... Кроме того, я велел распусть слух, что еду с 25 казаками, сзади меня идут еще

казаки, а с вооруженных постов пошла целая сотня. Два дня тому назад возвратился (был в походе как Святослав: без одеяла, подушки, шел быстро) и застал значительное смятение: бухарцы в мое отсутствие начали грабить народ, приказали мулле утром и вечером кричать со своей крепости молитву... Написал резкое письмо беку, выругал бухарского чиновника, запретил мулле кричать “азан”... Жду ответа от бека, народ успокоился... Словом, неделя или более выпала тревожная; особенно боялся, что придется по своему решению переходить границу с военными целями; страшно было не идти против 300 англичан (как я думал) с 50 человек своих, а начинать это дело по своему почину, без разрешения (у нас есть основная статья закона, карающая за подобные подвиги каторгой, если для решения не усмотрится достаточно оправдывающих мотивов). Но теперь все обошлось благополучно, и я смиренно жду из Ташкента нагоняя... “брань на ворота не виснет”...

Первый том моего сочинения, как мне пишут из Ташкента, начался печатанием, [которое], по-видимому, продолжится не менее 4 месяцев; через 2 месяца думаю прислать им свой второй том...»

5 октября 1902 г.

«У меня же сумбур, гвалт и суматоха. Я окунулся в такие дебри жизни: предо мной вьются лентой любостяжатели, с их первой целью пограбить; формалисты, согревающие свое благополучие под мертвой буквой закона, бездельники, [которые] столь ленивы, что их не пробудишь ни палкой, ни уговором... Если я пробуду здесь год, то усвою жизнь с многих, мне малоизвестных до сего времени сторон... И во всю эту суматоху я вляпался с моей горячностью, идеализмом (иногда сентиментализмом) и большой дозой самоуверенности...

С бухарцами у меня пока все спокойно; я уже получил за них нагоняй (седые ташкентские дети додумались, что я куда-то лезу не в свое дело и погрозили пальцем...). Ты не можешь себе представить, как все это течет живо, нервно, напряженно. Я сказал выше, если пробуду год. Видишь ли, в чем дело. Общее направление дел из Ташкента ныне очень дрябло, беспринципно и бестолково, что я

уже получил нагоняй за то, что не сделал по-ихнему, а в дальнейшем, если зарвусь, могу быть прогнанным отсюда. Удовлетворить общему их направлению право нет сил. Теперь усваиваю манеру делать, что считаю нужным и молчать, но, к сожалению, кругом меня много соглядатаев... донесут.

Недавно у меня случилось несчастье: умер от горной болезни ехавший в мой отряд офицер. На всех это произвело тяжелое впечатление. Приказал описать имущество и похоронить: священник и другие атрибуты для нас роскошь. А по постам отдал приказ, чтобы офицеры объяснили нижним чинам, что на службе Его Императорского Величества умер наш офицер, одели бы чистую одежду и перед образом помолились бы об успокоении души усопшего... Так у нас и было устроено: я сказал солдатам о смерти, подошли к образу и начали петь, что припомнили: отче, верую, еще что-то. Упокой, Господи и вечную память... при последней молитве стали на колени. В этом было много грустного, но это отсутствие формализма, непосредственность молитвы при нашей обстановке носили в себе что-то трогательное и удовлетворяющее...

Первый том моего сочинения, отданный мною в печать, подвигается очень медленно: пока мне прислали 48 печатных страниц (самую маленькую из 7 глав). На этой неделе я кончаю две главы 2-го тома (стр. 170—190 печатных) и посылаю в Ташкент.

Рассказать тебе всей совокупности переживаемого нет силы и времени. Среди волнений и нервоза моим утешением является отношение ко мне народа; теперь он перестал меня дичиться и если я еду верхом или гуляю, он приветствует меня. Улыбается и всеми сторонами говорит о преданности. Иной даст 2—3 яблока, другой поднесет цветы, один бедняк дал какую-то маленькую тыкву, а один дал мне недоеденную лепешку... Еще более трогают меня дети, эти прежние дикие зверьки: они бегут мне навстречу, смеются, несут что-либо — чаще цветы, а еще чаще — веселый поклон... Я чувую, что если вылечу отсюда, то это именно за этот забитый, несчастный народ, за [который] я уже грызся с беком, ругал его чиновников и за [который] буду стоять, что бы мне ни стоило».

12 июля 1903 г.

«Сюда пришел новый отряд и происходит смена. Я полагаю с моим отрядом выступить в середине августа и в конце сентября быть в Маргелане, где буду сидеть за годовым отчетом.

Оттуда или с дороги я напишу тебе подробнее — каков новый отряд, его начальник и как заканчиваю мою работу. Печатание моего сочинения пришло к концу; мне принесены последние страницы II-го тома (первого вышло 327, второго 359, приложений будет страниц на 50—60), ошибок вышло много и мне придется сделать большой столбец опечаток.

Надеюсь, что ты получила мою брошюру о Памирах; статью в “Туркест[анских] Ведомостях” (“Вести с Памира”) я тебе переслал лишь первую часть, а остальные три соберу ли и сам не знаю».

За время пребывания в Индии, в то время важнейшей британской колонии, Снесарев изучил и искренне полюбил эту страну и ее народ. Полученные наблюдения заложили фундамент для последующих трудов по Индии и Афганистану, которые выйдут годы спустя и сделают его классиком отечественной индологии.

В конце своего пребывания в Средней Азии Снесарев женится на Евгении Васильевне Зайцевой, дочери начальника военной администрации города Оша. Соперниками Снесарева в борьбе за руку и сердце Жени Зайцевой были известный шведский путешественник Свен Хедин и Борис Федченко, ботаник и путешественник. Но юная красавица отдала предпочтение мужественному и талантливому офицеру. Брак оказался очень удачным: в семейной жизни Андрей Евгеньевич и Евгения Васильевна были счастливым людьми. История их любви и жизни достойна пера великого романиста.

В октябре 1904 года Снесарева переводят из Туркестана в Генеральный штаб. Он уезжает, оставляя штабу Туркестанского военного округа и местному Географическому обществу научные материалы, которые послужат базой их работы на многие годы вперед. Сохранилось свидетельство № 56541, в котором говорится: «Дано сие от Главного штаба столоначальнику сего штаба Генерального штаба подполковнику Андрею Евгеньевичу Снесареву с женою Ев-

гению Васильевною для свободного жительства в С. Петербурге и его окрестностях на вольных квартирах». Поселились молодожены на Галерной улице в доме 48. В столице Снесарев сочетает службу в Генштабе с преподавательской деятельностью в военных училищах. В 1906 году он выпускает труд «Индия как главный фактор в средне-азиатском вопросе». В этом же году ему присваивается звание полковника. Он становится одним из признанных военных географов и востоковедов России.

Снесарев не участвовал в войне с Японией в 1904–1905 годах, но внимательно следил за ее ходом. В 1906 году в «Военном сборнике» вышла серия статей «Война как общественное явление» за подписью «Евгений Васильев». Ряд положений в этих статьях совпадает с теми, которые имеются в снесаревской «Философии войны». Это дает основание утверждать, что статьи написаны Снесаревым или с его участием. В них основной причиной поражения России считаются не общепризнанные частные причины, а бытующее в стране общественное мнение, сформировавшее массовое нежелание воевать. Это был новый взгляд не только на причины поражения в конкретной войне, но и на войну как общественное явление.

Снесарев внимательно изучает военно-политические процессы, идущие в Европе, формирование больших военно-политических коалиций, военные опасности для России. Его выводы сводятся к тому, что России нужен статус великой нейтральной державы, а не участника одной из европейских военно-политических коалиций. Во взглядах Снесарева на войну явно чувствуется стремление к синтезу военной мысли Востока и Запада.

Он публично высказал негативное отношение к заключенному в 1907 году соглашению с Англией: «...Характерной особенностью, основным недостатком англо-русского соглашения является его неискренность. Все это соглашение не искренно. Люди собираются наладить мировую обстановку, и ни та, ни другая сторона не говорят, по поводу чего же они решаются быть миролюбивыми*». Снесарев пре-

* Снесарев А. Е. Англо-русское соглашение 1907 года // Общество Ревнителей Военных Знаний. Кн. 2. С. 24. — 1908.

красно понимал, что этот договор может втянуть Россию в большую коалиционную войну в Европе.

В 1908 году он приглашается на международный конгресс ориенталистов (востоковедов) в Копенгагене, где выступает с двумя докладами: «Религии и обычаи горцев Западного Памира» и «Пробуждение национального самосознания в Азии». Доклады, особенно последний, вызвали большой интерес мировой научной и политической общественности.

Научно-публицистическая активность А. Е. Снесарева в эти годы поражает как общим объемом, так и широтой тематики. Из печати выходят его переводы, многочисленные статьи и рецензии и на книги отечественных и иностранных авторов. В числе важных тем — тема государственной границы. Что такое граница — автору было хорошо известно на личном опыте. Это, по Снесареву, кожа государства, защищающая его тело от массы болезней и коварных ударов.

В 1909 году выходит написанный Снесаревым учебник «Военная география России», в котором он прослеживает, как и насколько страна от века к веку при конкретных правителях прирастала территориально. Но вскоре, в 1910 году, его назначают начальником штаба сводной казачьей дивизии, дислоцировавшейся на границе с Австро-Венгрией. Снесарева назначают на новую, формально более высокую должность, но при этом отодвигают от влияния на большую политику. В этой должности Снесарев встречает Первую мировую войну. Он лично участвовал в боях, проявил высокую храбрость и отвагу, о чем свидетельствует боевая аттестация от 27.06.1916 года.

«Ген[ерал]-м[айор] Снесарев с начала войны до конца октября 1914 года был начальником штаба 2-й каз[ачьей] свод[ной] дивизии, затем до декабря 1915 года командовал 133 пех[отным] Симферопольским полком, до 18 фев[раля] 1916 года — бригадой 34 пех[отной] дивизии и с 18 февраля состоит в должности начальника штаба 12-й пех. дивизии.

Обладает широким образованием — общим и военным; владеет французским и немецким языками; военное дело понимает, обладает большим и разносторонним боевым опытом, как прошедший боевую

страда командира пех[отного]полка и бригады, и начальника штаба кавалерийской и пехотной дивизий.

К службе относится с редкой добросовестностью. Храбр и мужественен; во всякой обстановке сохраняет самообладание и полное спокойствие; всегда бодр; на подчиненных производит самое лучшее влияние, вызывая и поддерживая в них самое бодрое, спокойное и уверенное настроение, относится к ним мягко, сердечно, внимательно и заботливо.

Здоровья прочного...

Достоин выдвижения на должность начальника дивизии и на должности по Ген. Штабу — нач[альни]ка штаба корпуса и генер[ал]-квартирмейстера армии «вне очереди».

Командующий 12-й пех. дивизией

Ген[ерал] — майор Ханжин».

В таком духе аттестации на Снесарева в годы Первой мировой войны писали все его начальники. Высокое мнение о нем было всеобщим. Удивляет, однако, относительно медленное продвижение его по службе. Видно, кто-то это продвижение тормозил: то ли потому, что Снесарев не принадлежал к «голубой крови», то ли по причине его неодобрительной позиции по вопросу вступления России в Антанту. Но после Февральской революции Снесарева назначают начальником 159 пехотной дивизии, а в сентябре 1917 года солдатский комитет избирает его командиром 9 армейского корпуса. К этому времени Снесарев уже был произведен в генерал-лейтенанты, награжден многими наградами, в том числе Георгиевскими крестами IV и III степеней.

Снесарев воевал и размышлял о войне. Он не отрывался от ее тяжелых и злых реалий, но и не позволял им всецело овладеть своими мыслями и чувствами. Он знал цену военным технологиям, боевому духу и боевой подготовке войск, военному искусству командного состава. Как фронтовой офицер он размышляет об огневой тактике, поскольку от нее зависят человеческие потери. Но из его сознания никогда не уходит общая панорама войны, ее измерение другими масштабами — чрез призму индивидуальной и групповой психологии, морали, права, политики и экономики.

Когда в конце 1917 года русская армия рухнет, вовлеченная в революционную смуту, Снесарев уедет в родную Воронежскую губернию, где находилась его семья, пополнившаяся в это время двумя близнецами — Александром и Георгием. Крестным отцом этих детей супруги Снесаревы пригласят стать своего старого друга, знаменитого генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Снесарев высоко ценил его боевые и человеческие качества, но считал его неготовым к самостоятельной большой политической деятельности. В письме к жене от 16 апреля 1917 года в связи с назначением Корнилова главным командующим Петроградским военным округом Снесарев пишет: «Кого мне жаль, это Лавра Георгиевича; в конечный его успех я не верую; все, что он может достигнуть, это внешняя благопристойность и наружный покой, но внутренней спайки и прочной дисциплины ему не создать: против его одинокого центростремительного напряжения будут работать десятки центробежных сил, и они его сомнут. Сколько раз, я думаю, он вспомнит свою славную дивизию или корпус, как часто, мне думается, его тянет на боевое поле, где много страшного, где машет смерть своими черными крыльями, но где нет условностей, нет политики, и сердце храброго человека находит себе здесь и утеху, и удовлетворение. Передай ему мой поклон и благодари за добрую память».

Сам Снесарев в условиях революционной смуты мучительно решает проблему выбора своей дальнейшей судьбы. В одном он не сомневался: что она должна быть связана с судьбой Родины. Вопрос «на чью сторону стать» для него оказался очень трудным, и он не сразу его решил. Свою позицию того времени он так выразил: «Трудно сразу понять все происшедшее... Но если русский народ пошел за большевиками, то я с ним...» И когда в 1918 году с началом наступления немецких войск в глубь России ему предложат вступить в Красную армию, он это предложение примет.

В мае 1918 года его назначают военным руководителем вновь созданного Северо-Кавказского военного округа. Мандат о назначении за номером 1282 был подписан председателем Совнаркома В. И. Лениным и председателем Реввоенсовета республики Л. Д. Троцким. Штаб округа находился в Царицыне. Военная обста-

новка в районе Царицына в то время была чрезвычайно сложной. Кубанская область была занята Добровольческой армией Деникина, Сальский округ — Донской армией белых, с Украины наступали немцы, на Царицын двигалась 40-тысячная армия генерала Краснова. Революционные войска были разбросаны на большом пространстве, были плохо организованы.

Снесарев сразу же включился в изучение обстановки и наведение порядка в войсках, определение задач войсковым частям, налаживание связи между ними. На стороне белых было много его товарищей по службе в старой армии, участию в мировой войне. Но гражданская междоусобица развела их по разные стороны. Своей задачей Снесарев видит такую организацию военных действий, которые вели бы к уменьшению кровопролития. На основании распоряжения Высшего военного совета от 9 июня 1918 года он разработал план обороны Царицына. Одним из следствий этого плана стало создание в середине июля 1918 года регулярных частей Красной армии численностью до 20 тысяч человек. Была организована оборона дальних подступов к Царицыну, и положение стабилизировалось.

Но не все красные командиры и комиссары с должным доверием отнеслись к приказам и распоряжениям военрука округа. К тому же произошло серьезное столкновение между Снесаревым и находившимися в то время в Царицыне Сталиным и Ворошиловым. Дело дошло до ареста Снесарева и его штаба. Правда, прибывшая из Москвы комиссия арест отменила. Андрей Евгеньевич был освобожден, но назначен уже на другую должность — командующим западным участком так называемой Завесы, созданной после подписания Брестского мира для прикрытия западных рубежей. Это была система оперативных объединений, состоявших из отдельных отрядов Красной армии; предназначалась Завеса для обороны демаркационной линии от возможных вторжений германских войск. А в августе 1919 года Снесарев назначается начальником недавно созданной Академии Генерального штаба РККА. По сути, на его долю выпало формирование академии.

Вступив в эту должность, Снесарев сразу же берется за разработку программы по философии войны и соответствующего ей

лекционного курса, в которых дает принципиально новое видение проблемы и путей ее исследования. Четыре раздела программы направлены на объемное исследование войны как явления, идущего через всю историю рода человеческого. Программа ориентировала на изучение войны в исторической перспективе, выявление тенденций ее эволюции в Новейшее время. Она предлагает исследовать войну с ряда позиций: исторической, нравственной, государственной (геополитической) и экономической. Но в любом случае Снесарев предлагает учитывать конкретные реалии. Он делает три вывода:

1. По своему содержанию война стала всеохватывающим, всепроникающим и глубоко драматическим явлением в жизни народов, и это явление не удастся искоренить в обозримой перспективе.

2. Войны свидетельствуют об опасных недостатках в организации человеческих обществ и бессилии человеческого разума.

3. Решение вопроса о будущем («грядущем») войны как явления — положительное или отрицательное — остается пока вопросом веры, а не научно доказанным фактом.

С того времени, как Снесарев сделал эти выводы, прошло немногим менее ста лет. Но все они в принципе остаются в силе и требуют только дополнения новыми фактами и обстоятельствами. Так, война не только стала драматическим явлением в жизни отдельных народов, но и таит угрозу существования роду человеческому. По-прежнему война свидетельствует о серьезных изъянах в организации человеческих обществ и всего мирового сообщества в целом. Несмотря на великие достижения человеческого разума, он не способен обуздать войну. Таким образом, война остается реальностью исторического процесса и требует адекватного отражения в науке.

В лекционном курсе «Философия войны» А. Е. Снесарев четко следует составленной им программе. Он особо подчеркивает, что дает картину нового освещения войны, а именно «освещения под углом государственным». Это означает, что основным углом зрения исследования войны он берет геополитический подход, поскольку государство — это продукт и основной субъект геополитических процессов. Хотя понятие «философия войны» употреблялось многими авторами раньше, по Снесареву — это принципиально новая

научная дисциплина, возникающая на стыке философии и военной науки. В этом отношении она подобна философии права, философии математики, философии естествознания.

Война — сложнейшее общественное явление, над раскрытием природы которого бились и бьются лучшие умы всех поколений рода человеческого. И до сего времени убедительных общепризнанных ответов на многие фундаментальные вопросы не получено. Люди — разумные и гуманные существа — испокон веков и до сегодняшнего дня постоянно готовят и ведут войны. Делают это они по своему почину, но словно не по собственной воле. Воюющие стороны всегда обвиняют друг друга, но добровольно вину за войну на себя никто обычно не берет.

Велико число благородных попыток покончить с войнами, но все они оказались тщетными; более того, некоторые из них повлекли за собой общественно-политические катастрофы. Дорога в желанный мирный рай на практике оказывалась путем в проклятый военный ад. Снесарев считал долгом науки показать неприятную реальность и опасность пацифистских иллюзий.

Почему люди воюют, а не решают спорные вопросы между собой гуманными и неразрушительными средствами и методами? Могут они вообще не воевать? На эти вопросы много раз давались упрощенные ответы. Но всякий раз перед реальной угрозой войны забота о вечном или хотя бы длительном мире откладывалась на то время, которое наступит, как все надеялись, после, к сожалению, неизбежной последней войны. И главным мотивом практических действий становится задача не проиграть эту войну. Но затем выясняется, что эта война не последняя, а только очередная. И к следующей войне опять готовятся с надеждой, что она действительно будет последней и после нее откроется эпоха вечного мира. Такая логика ведет к непрерывному совершенствованию техники и технологий ведения войн. Их развитие не останавливается даже на уровне, позволяющем полностью уничтожить участников войны, а вместе с ними и жизнь на Земле.

Трудно быть реалистом по отношению к войне. Нравственное сознание и чувства диктуют людям ее безоговорочное осуждение и от-

рицание. В то же время эгоизм интересов и реальная или кажущаяся несправедливость настойчиво понуждают одобрять войну не только меньшинство, но часто и большинство народных масс. Ненависть к войне и жажда войны часто уживаются в сознании и настроении одних и тех же людей. При этом для перемены взглядов не всегда нужны значительные отрезки времени. Неоднозначное и противоречивое отношения к войне — это свидетельство неоднозначности и противоречивости самой войны.

Взяться за создание философии войны мог человек, который глубоко знал и философию, и военную науку, и историю. Именно таким человеком был Снесарев. Он исследует войну, ее содержание, характер и роль в жизнедеятельности людей на всех этапах существования человечества. Для него философское постижение войны — не предмет абстрактного рассуждения, а именно средство выработки решений, ясных и проникновенных ответов на сложнейшие практические вопросы жизни.

Снесарев высоко ценил критико-исторический метод, который обосновал и настоятельно рекомендовал своим слушателям профессор Г. А. Леер*. Но в его применении он далеко превзошел своего учителя. На «историческом экране» им рассмотрены войны всех основных эпох всемирной истории и дана их краткая, но глубокая характеристика. Примером может быть его характеристика революционных войн, которые он сравнивает с извержением Везувия.

Снесарев прослеживает эволюцию войн, не принимая на веру выводы, которые до него возведены в ранг закономерностей. Факт непрерывности войн для него еще не есть основание признать само явление войны вечным законом истории. Это только свидетельство, что война «может оказаться и вечным спутником человечества». Впрочем, для избавления от войн, по Снесареву, еще не все средства испробованы. В то же время он делает вывод, что «война не может внезапно под давлением каких-либо факторов, как бы они не были сильны, покинуть нашу грешную землю».

* Стратегия (тактика театра военных действий). Часть I. Главные операции. — СПб., 1898.

Для снесаревской философии войны характерно полное исключение как пацифистского, так милитаристского пафоса, у него нет ни розового оптимизма, ни мрачного пессимизма. «Обнаучиванию» у Снесарева подлежат только реальные факты, ибо наука не вправе выдавать желаемое за действительное под давлением политики или общественного мнения, например заменять по их требованию свой вывод о неопределенности будущего войны как явления выводом о неизбежности установления вечного мира или, наоборот, о бесконечной череде войн.

Центральная тема для Снесарева — проблема «войны и государства». Она проходит через всю его работу, ей посвящена специально шестая глава. Автор делает вывод, что при всех своих недостатках «государство есть благо, а не зло». Отсюда вытекает положение, что только государство должно и имеет право решать проблемы войны. Но делать это оно обязано не втайне от своих граждан, а выражая их интересы и волю. Иначе военная политика государства может быть не понята и не принята к исполнению его гражданами. Государство и гражданское общество должны иметь совпадающее военное мирозерцание.

Снесарев не закончил исследование темы «Философия войны» курсом лекций, предназначенным для чтения слушателям Академии Генерального штаба РККА. Многие важные идеи и выводы содержатся в книгах, статьях, рецензиях, черновых набросках, записках последующих лет, в фундаментальных трудах «Введение в военную географию»* и «Жизнь и труды Клаузевица».

Диапазон одаренности Снесарева поражает своей широтой. Для востоковедов, в первую очередь для индологов и афганистов, он и в XXI веке остается в числе первых классиков. Не забыт он географами. Математик по первому базовому высшему образованию, Снесарев много сделал для развития статистики и социологии, особенно их приложения к решению военных проблем. Он был выдающимся демографом и этнографом, знатоком религий, языков

* Снесарев А. Е. Введение в военную географию. — М., 1924.

и культур. Он знал историю народов в ее сложном переплетении мирных и военных процессов и предложил историкам стратегический метод для выявления «белых пятен» и парадоксов, которых немало в мировой истории. Список областей, которые он хорошо знал и где сказал веское слово, можно продолжать. Но при всем этом следует подчеркнуть, что Снесарев был прежде всего профессиональным военным. Именно взглядом профессионального военного он рассматривал многие вопросы. Крупнейший военный теоретик и военный философ XX века, он заслуживал того, чтобы стать для России тем, чем стал для Китая Сунь-цзы, а для Германии К. Клаузевиц. Но вышло так, что до сего времени Снесарев мало известен даже среди военных.

Причиной явилось то обстоятельство, что в сложных и трагических перипетиях отечественной истории XX века имя его в течение почти трех десятилетий находилось под запретом. Когда же Снесарев был реабилитирован (1958), то исследование его биографии и творчества велось только отдельными энтузиастами* и должного общественного резонанса пока не получило.

В 1921 году Академия Генерального штаба РККА была преобразована в Военную академию РККА, ее начальником назначили Н. Н. Тухачевского, а Снесарев остался руководителем Восточного отделения и ведущим профессором. В 1928 году постановлением ЦИК СССР Снесареву присвоено почетное звание Героя труда, впервые введенное в стране. Вместе с ним это звание получили ученый Л. В. Чижевский, конструкторы оружия В. А. Дегтярев и Ф. В. Токарев. В 1929 году кандидатура Снесарева была выдвинута

* Андрей Евгеньевич Снесарев. (Жизнь и научная деятельность). — М., 1973; Зотов О. В. Никогда не считая числа врагов и не смущаясь ничтожеством своих сил... // Военно-исторический журнал. — 2001. № 9. С. 30–34; Зотов О. В. Евразийская геополитика Тимура: ретроспективный взгляд // Вестник Евразии. — 2001. № 1 (12). С. 123–154; Снесарев Андрей Евгеньевич: биография, творчество и его значение для современной науки и культуры России: по материалам конференции [17 сент. 1999 г., г. Москва] (Под ред. Даниленко И. С., Гусевой О. Г.) ВАГШ. — М., 2000.

в академики АН СССР. Но 27 января 1930 года Снесарев был неожиданно арестован и приговорен к высшей мере. Правда, решение суда было изменено. Основанием послужила записка И. В. Сталина, направленная наркомом обороны К. Е. Ворошилову: «Клим! Думаю, что можно было бы заменить Снесареву высшую меру 10-ю годами. Сталин».

Снесарев был отправлен в печально знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения. Но и там он пытался продолжать научную деятельность, просил разрешить ему продолжить работать над огневой тактикой. В 1934 году Снесарев тяжело заболел, и семье после долгих мятарств было разрешено забрать его домой. Но он так и не оправился от болезни и умер 4 декабря 1937 года. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. В 1970-е годы решением Министерства обороны СССР на его могиле установили монумент.

Снесарев оставил несколько сот статей, десятки книг и большой рукописный архив, который хотя и не полностью, но все же сохранился благодаря самоотверженным усилиям близких, прежде всего дочери Евгении Андреевны Снесаревой и внуков Андрея Андреевича Снесарева и Анны Андреевны Комиссаровой. По большому счету его научное наследие пока еще не востребовано. А ведь своевременное обращение к Снесареву уберегло бы нас от многих серьезных ошибок. У Снесарева, для которого служение России всегда было превыше всего, должны учиться государственные, прежде всего военные, кадры современной России, по Снесареву они должны воспитываться...

*И. С. Даниленко,
доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации*

ФИЛОСОФИЯ
ВОЙНЫ

ВВЕДЕНИЕ.
РОЛЬ ФИЛОСОФИИ
В ИЗУЧЕНИИ ВОЙНЫ

Сегодня я приступаю с вами к изложению того предмета, который в стенах нашей академии, насколько мне известно, впервые получает право гражданства. Я думаю, что это же имеет место и в других академиях Европы, за исключением, может быть, высшей французской военной школы. На это были свои причины, о которых я буду говорить в свое время. Перед вами совершенно новая научная дисциплина, конечно по своему содержанию необходимо сближающаяся с другими военными науками, например со стратегией, но по своему основному углу зрения занимающая свое обособленное место.

Считаясь с этой новизной угла, а отчасти и содержания, подойдем к нашему предмету постепенно и осмотрительно. Я думаю, среди вас нет ни одного, который не был бы знаком с картинами войны — величественными и грозными, тяжкими и трогательными, ужасающими и смиряющими, благородными и подлыми. И припомните, когда вы в минуты, например, затихшего боя проезжали по полю, покрытому еще ранеными и трупами, слышали хриплый голос, часто на чужом для вас языке, просящий воды, натыкались на лошадь с отбитой мордой, из которой как из желоба текла теплая кровь, видали вокруг пылающие факелы деревень... и много ужаса, и много страданий, и неизмеримое море человеческого несчастья; разве вы не задавали себе вопроса: зачем все это, разве это неизбежно, разве человечество не может решить своих распрей иным каким-либо

путем? Разве вы не задавали себе рокового вопроса, что такое, наконец, война, есть ли она нечто доброе или нечто злое, нечто неизбежное или нечто избежимое? И вот в эти-то минуты душевной тревоги вы и пытались решить один из вопросов интересующего нас предмета, а именно вопрос о войне — под углом нравственного к ней требования, с одной стороны, и под углом ее постоянства или временности, с другой.

Но, чувствуя свое бессилие ответить на эти вопросы, вы могли, как многие это делают, обратиться к тем авторитетам или руководителям человеческой мысли, которым привыкли верить, и могли спросить у них, что они мыслят о войне с тех углов зрения, которые вас повергли в тревогу. Вам суждено будет разочароваться. Семью великих мыслителей, ученых, художников вы найдете далеко не единодушной в своих решениях; одни из них восхвалили войну, другие осудили. И среди людей, осудивших и проклявших войну, вы найдете такие, например, имена, как Аристофан, Платон, Монтень, Паскаль, Руссо, Кант, Ламартин, Виктор Гюго, Ричард Кобден, Джон Брайт, Л. Толстой, Жорес и т. д., а с другой, среди тех, что защищали и благословили войну, вам попадутся такие имена, как Гераклит, Аристотель, Макиавелли, Жозеф де Местр, Гегель, Виктор Кузен, Прудон, Клаузевиц, Лассаль, Ницше, Трейчке, Мольтке и т. д. Это обстоятельство вам намекает на то, что война — явление сложное, трудно выяснимое, нелегко поддающееся как нравственному, так и научному критериуму.

Но пойдем дальше. Если от пережитого и все еще переживаемого нами состояния непрерывной войны вы обернетесь к прошлому, то увидите, что война является постоянной и неизменной спутницей человечества, и не только с того далекого момента, когда оно себя помнит, но бесконечно раньше начала культурной общечеловеческой жизни.

Как вам известно, антропология разделяет по культуре всю историю человечества на три периода: дикий период от седой глубины веков до начала засеивания человеком злаков и приручения животных; варварский — следующий за ним — до изо-

бретения письменностей, и третий — культурный или цивилизованный — до наших дней. И вот, судя по тем следам, которые оставило по себе человечество каждого из этих периодов, оно воевало всегда, воевало неослабно и упорно; воевало по тем же законам необходимости, по которым оно питалось, плодилось, поднималось вверх по тяжким ступеням прогресса...

Перед вами теперь новая возможность осмыслить войну, а именно подойти к ней под углом исторического анализа, посмотреть, как выглядит интересующее нас явление на экране истории. И правда, история ответит вам на некоторые вопросы, связанные с войной, как то: подтвердит ее постоянство, укажет на характер ее эволюции, свяжет войну с другими факторами истории, может быть, намекнет на ее неизбежность, но далеко не исчерпает ее сложного содержания.

Но если люди постоянно воевали, если они воюют по сегодня, то государства должны включить это грозное явление в круг своего и разумения, и ведения, должны учитывать — уже по соображениям жизненной осторожности — ее неизбежность, а отсюда создавать ряд мер политических, финансовых, административных и т. д., вытекающих из того могучего гнета, который налагает война на современные государства. И, обернувшись от прошлого к настоящему, вы увидите, что война цепкими клещами впилась в государственное начало, властвует над его народной жизнью и укладом, владеет церковью и школой, поглощает огромную долю народного труда — словом, ведет государство властным определенным руслом. Перед вами картина нового освещения, бросаемого на грозный лик войны, освещения под углом государственным. И нужно искренно сказать, что выяснение войны было бы слишком куцым и одностронним, если бы было опущено ее государственное толкование и значение.

В связи с этой темой, как ей соподчиненная, а может быть, и самодовлеющая, должна быть поставлена тема экономическая. Вы, вероятно, более слышали об экономических потрясениях войны, о тех экономических разрухах и болезнях,

которые она оставляет за собой, о роли ее как бича для экономики. Труды Адама Смита, Дж. Стюарта Милля, у нас Блюха приучили вас к этой определенной точке зрения. Но более широкое знакомство с предметом может вам показать, что эта точка зрения в известной степени оспорима. Имеются примеры экономического процветания, вызванного войной, еще больше примеров необыкновенно быстрой поправки государств после недавней войны и сведения на нет или же к неожиданному плюсу перенесенных финансовых невзгод. Во всяком случае, перед вами еще один угол выяснения войны, именно как фактора экономического, в новейшие времена принимающего доминирующее значение. Если правы некоторые мыслители и экономисты, в основе причин ведения войны ныне остались суженные побуждения и цели народов, а именно экономические.

Итак, мы подошли к войне как явлению в жизни человеческих обществ, которое может и должно выясняться с многих точек зрения — с исторической, нравственной, государственной, экономической. Перед вами первая, самая главная и всепроникающая тема, входящая в предмет философии войны. Что эта тема глубоко интересная, что она сложна, что она многотрудна, это для нас ясно и само по себе, и по всему тому, что сказано выше.

Мало этого, вы, как люди выбравшие своею специальностью суровое ремесло воина, чувствуете, что вы не можете пройти мимо этого вопроса, не получив на него ясного исчерпывающего ответа. Но с другой стороны, обратившись к тем военным наукам, которыми вы занимаетесь, вы напрасно будете ждать от них ответа, постучитесь ли вы в двери стратегии, или тактики, или военной истории, их ответ будет или слишком формально краток, или вы совсем не получите никакого ответа. Занятые своими специальными темами и излив на них всю свою энергию, военные науки не в силах серьезно заняться войной как основным вопросом, и в крайнем случае им довольно какого-либо формального постулата, вроде того, что война —

явление неизбежное или всепроникающее, чтобы на нем построить все свои последующие выводы.

Таким образом, на первой же философской теме, к которой мы подошли в моем предисловии, мы можем усмотреть две особенности, присущие каждой из них: это, во-первых, глубина и общечеловечность содержания, повелительно побуждающие нас к попытке осмыслить эту тему, и притом осмыслить не по каким-либо специальным или узким соображениям, а по чистому интересу к содержащейся в ней истине и по нравственному побуждению; во-вторых, эти темы всеми другими специальными науками, притом даже такими, которые должны бы такими темами заняться, оставлены без достаточного внимания, позднее мы увидим, что и другие военно-философские темы несут на себе подобную же двойную печать: они глубоко человечны и нравственно неустранимы, с одной стороны, и они забыты специальными науками, с другой.

Сказанного выше для нас довольно, чтобы перейти к изложению той науки, предмет которой составляют столь интересные и возвышенные по духу темы. Эта наука — философия войны. Но прежде чем говорить о ней, я должен остановиться с возможной краткостью и ясностью на изложении того, что из себя представляет философия, старшая сестра трактуемой нами науки.

Определений философии как науки столько же, сколько и философских систем. Приведу лишь наиболее кардинальные, с которыми связано то или другое из великих философских имен.

Согласно древней традиции¹, упоминаемой Цицероном, Квинтилианом и другими, Пифагор (580—500 до Р.Х.), греческий математик и философ, первый употребил слово *философия*, что значит «любовь к мудрости». Гераклит — его ученик объяснил, что учитель отказался назвать себя мудрецом, так как «Бог лишь мудр, а удел человека любить мудрость и стремиться к ней», то есть быть философом. Геродот рассказывает, что Крез, приветствуя Солона, сказал ему, что слух о его мудрости и странствованиях уже дошел до него: «что ты, *философ*-

ствую, ради созерцания посетил большую часть земли»². Лидийский царь Эдип выразил ту мысль, что греческий мудрец при путешествиях имел в виду не практические цели, то есть странствовал не как торговец или воин, а ради созерцания, по побуждениям искать истину.

Под философией в греческом мире долго разумели всякую культуру духа или всю сумму духовной деятельности человека.

Платон первый определил философию более точным образом. Философы, сказал он, люди, способные постигать то, что постоянно в своем виде, неизменно в своей сущности, то есть что существует *действительно* в отличие от того, что изменчиво и, значит, существует лишь *по видимости*.

Аристотель под философией часто понимает *знание вообще* или прилагает это слово к специальным наукам, например математике, физике и теологии... Очевидно, у древних философия формально не отличалась от науки и нередко с нею совпадала. Так было и в Средние века, и еще Ньютон назвал свое великое произведение: «Naturalis philosophiae principia mathematica». Это продолжалось до Канта, который, отъединив понятие *à priori*³ от понятия *à posteriori*⁴, то есть такое, которое разум может почерпнуть чисто из самого себя, от такого, которое должно вытекать из опыта, тем самым уединил философию от науки. Под первой приходилось отныне понимать систематическое изложение всех познаний *à priori*. Кант и сам не предвидел, как далеко пойдет созданное им разъединение философии от науки; ему принадлежит, между прочим, так называемое им мировое понятие философии — в отличие от школьного — «философия — наука об отношении всякого познания к существенным целям человеческого разума, и философ есть не виртуоз, а законодатель человеческого разума»⁵. Немецкий идеализм воспринял понятие Канта как непреложное, и с его времени мы имеем ряд определений философии как чисто спекулятивной науки.

Фихте определяет философию как «доктрину науки» (учение о науке — наукоучение).

Шеллинг говорит, что философия является условием для всех наук, будучи сама не обусловлена ни одной из них; она должна открывать прежде всего первичную причину, развитие которой определяет в одно и то же время форму и содержание действительности.

По *Гегелю* — философия есть наука об абсолютном⁶. Гегель, между прочим, различает три общие части философии: логику, философию природы и философию духа. Истинное познание действительности, говорил Гегель, есть философское; форма его — диалектическое развитие понятий — есть не что иное, как субъективное повторение объективного процесса развития идеи, то есть самой действительности. Никогда еще, говорит по этому поводу Паульсен, философия не говорила таким гордым языком.

Но цвет спекулятивной философии продолжался не долго; и в понятие философии начинают вновь возвращаться опыт и позитивная наука. По *Шопенгауэру*⁷ философия не имеет задачей объяснять существование мира до его последних глубин, «она останавливается на фактах внешнего и внутреннего опыта, таковых, как они доступны каждому, и выявляет глубокую и истинную связь, не предупреждая их (*sans jamais les dépasser*), не занимаясь чем-либо внешним для мира или отношениями этого внешнего к миру. Она довольствуется объять (*saisir*) мир в его интимной связи с ним самим».

*Герbart*⁸ определяет философию как лабораторию понятий (*l'elaboration des concepts*). В другом своем труде Герbart («*Ueber philosophisches Studium*», 101 — 106) ясно говорит, что философия заимствует свои понятия из опыта, что она родится с науками и в науках, являясь их нераздельной и созидательной частью. В таком же духе говорит *Лотце*, отводя на долю науки специальные законы, а на долю философии внутреннюю причину явлений и их взаимную связь.

*Вундт*⁹ проводит еще более ясно связь между наукой и философией, определяя последнюю как «совокупность наших специальных знаний, сведенных к такому пониманию мира

и жизни, которое удовлетворило бы требованиям разума и духовным нуждам» или еще: «Философия есть общая наука, которая должна объединить в гармоничную систему знания, добытые специальными науками, и свести к их принципам общие методы и предпосылки познания, которыми пользуются науки»¹⁰. От указанной исторической преемственности в понимании философии резко отходит *Огюст Конт* «Слово философия, — говорит он, — я понимаю в духе, который дают ей древние и особенно Аристотель, а именно — определяя ее, как общую систему человеческих пониманий (*le système générale des conceptions humaines*). Под позитивной философией, по сравнению с позитивными науками, я понимаю изучение обобщений (*des généralités*) различных наук, понимаемых как подчиняемая одному методу и как составляющие различные части одного общего плана изысканий»¹¹.

По *Спенсеру* философия имеет тот же объект, как и наука; их разница состоит в степени координирования, которое они проводят между науками.

Упомяну еще определение Кузена, которое выделяется своей наглядностью: «Философия состоит в усилиях человеческого духа определить общие принципы, руководящие духовными и физическими явлениями, законы которых открыты наукой. Она обнимает и господствует над всеми науками»¹².

Наконец, закончу определением *Э. Радлова*¹³: «Философия есть свободное исследование основных проблем бытия, человеческого искания, деятельности и красоты...»

Этот перечень понятий, принадлежащих небольшой группе людей, какими гордится человечество, конечно, не дает вам еще представления о содержании философии¹⁴.

Вы видите лишь, скажу точнее, чувствуете, что философия — это есть прежде всего познание, и в этом отношении природа ее одинакова с наукой, что на заре человеческой мысли она шла рядом с последней, затем пути философии и науки разошлись, чтобы столетие тому назад снова сойтись, что, в-третьих, темы, которыми занимается философия, глубоки, человечны, общи

и что, наконец, подходит она к ним искренне, с полной объективностью и со священным трепетом чистого разума. Но чтобы в вашем представлении от слова *философия* осталось что-либо еще, кроме красивого и трогательного звука, я изложу вам с возможной краткостью те главные темы или те главные направления, в которых с глубокой старины и до наших дней протекает философская мысль. Все возможные исследования философии могут быть подведены под три точки зрения: они касаются или природы мира (природы действительного, *реального*), или формы познания (*объем, границы, достоверность* человеческого познания), или поставленных человеческой деятельностью задач (*познание ценностей или благ*). И все муки философского мышления протекают вокруг этих трех тем.

Понять природу действительного, столь сложного и разнообразного, столь тревожащего мысль человеческую, уловить закономерность в запутанном клубке явлений, отсеять первопричины от вторых причин или случайностей и свести к единству сложную картину мироздания — вот что явилось первой попыткой человеческого философствования. Конечные решения философов были различны, и прежде всего они различались по количеству положенных в основание принципов, откуда две системы — *монизм*, сводящая все к единому принципу, и *плюрализм*, сводящая к нескольким. Самой первой формой монизма явился материализм; под ним в науке¹⁵ разумеется всякое мировоззрение, которое материю и обусловливаемые ею свойства тел принимает за сущность (субстанцию) вещей. Появившись в Греции на первых шагах (Демокрит) философского мышления, материализм был довольно рано покинут; в новейшей философии он пробудился раньше всего в Англии в XVII столетии (Гоббс), оживился сильно, хотя в неудачных формах в Германии в середине прошлого столетия (Фогт, Молешотт, Бюхнер), а теперь ему из всех философских направлений принадлежит наименьшая вероятность.

Невозможность все вывести из принципа материи побудила или отказаться от единства принципа, то есть перейти к плюрализму, или искать единства не в материи, то есть перейти к идеализму¹⁶ (единство духа, идеи). Плюрализм почти постоянно сводился к дуализму, то есть к двухпринципности. Многообразная двойственность явлений природы, как, например, душа и тело, идея и необходимость, форма и материя или как, например, у Декарта — сущность протяженная и сущность мыслящая, побудила рано (Анаксагор) к построению философской системы на принципе дуализма. Но при углублении в природу вещей дуализм натолкнулся на ряд непреодолимых затруднений. Как, например, объяснить связь двух видов сущности? Форма этой связи не может быть почерпнута ни из свойств протяженной сущности, ни из сущности мыслящей. Остается допустить, что непосредственного влияния одной сущности на другую нет, а есть лишь какая-то согласованность. Но допущение таковой намекало уже на какую-то общность дирижирующего принципа, то есть возвращало дуализм к монизму. Далее оказалось трудно согласовать дуализм с принципом причинности, примирить его с потребностью человеческого разума в единстве и т. д. Но, несмотря на это, некоторые философы, как, например, Кюльпе, считают, что в настоящее время на наибольшую правдоподобность среди метафизических направлений может претендовать дуализм.

*Идеализм*¹⁷ Вундт называет всякое мирозерцание, которое главным, а также единственным, ценным содержанием жизни провозглашает ее духовное содержание, то есть признает, что сущность вещей заключается в духовном бытии, *в идее*. Это определение показывает, что для идеализма важны практические мотивы, руководящее значение для него имеет понятие ценности. Насколько для материализма на первом плане стоит познание внешнего мира, настолько для идеализма исходным пунктом в его проблемах служит человек, его жизнь, происхождение, его судьбы и надежды. В подробностях идеализм подразделяется на объективный (Сократ, Платон, христианство,

Декарт, Лейбниц), субъективный (Беркли, Давид Юм) и трансцендентальный (Кант и косвенно Фихте, Шеллинг, Гегель).

Но есть другая большая проблема, касающаяся природы действительного, она называется космологической, или теологической. Она сводится к вопросу: какой вид имеет действительность как целое и в чем состоит взаимная связь всех вещей? На этот вопрос дают различные ответы *атомизм, теизм, пантеизм*.

Атомизм видит в действительности агрегат многих самостоятельных, не происшедших и не преходящих первоэлементов; путем разнообразного соединения из них возникают как бы вещи второго порядка. В монадологии Лейбница перед нами спиритуалистическая форма того же атомизма. Теизм и пантеизм, исходя из понятия единства и гармонии мира, отказываются понять его как результат случайной встречи абсолютно чуждых друг другу элементов, почему первый — теизм — выводит единство и гармонию вещей из воздействия творческого разума (Бог), действующего по единообразному плану, а второй — пантеизм — вносит единство в вещи еще глубже и утверждает: «действительность есть вообще единственная единая сущность — субстанция, множественность же представляет собою лишь расчлененность в единстве этой сущности».

Разнообразие проблем, решающих вопрос о действительном, невозможность примирить их между собою или поставить одну какую-либо во главе других побудили задуматься и углубиться в мир наших познавательных способностей, в природу нашего мыслительного аппарата, чтобы ответить на тревожный вопрос: дано ли человечеству вообще решать глубокие задачи сущего и не придется ли ему с места же отказаться от некоторых слишком дерзких попыток слабого по существу человеческого мышления. И вот изучение природы познания, его границ, объема и достоверности составило вторую огромную канву вековечной философской работы. Познавательно-теоретические¹⁸ исследования сводятся к двум вопросам: к вопросу

о сущности познания и к вопросу о *начале* познания, то есть *что такое познание и как приобретается познание*? На первый вопрос отвечают два противоположных воззрения: *реализм*, с одной, и *идеализм*¹⁹, с другой стороны, на второй также два: *сенсуализм* или *эмпиризм* — с одной стороны, и *рационализм*, с другой...

В чем состоят эти важнейшие воззрения? На вопрос о сущности познания *реализм* дает ответ: познание есть отображение действительности, или представление совершенно подобно вещи, оно *alterum idem* вещи, только без вечности или действительности.

Идеализм, напротив, утверждает: представления и вещи, мышление и бытие совершенно отличны одно от другого и не сравнимы.

На вопрос о начале познания *сенсуализм* или *эмпиризм* дает ответ: всякое познание возникает из восприятия внешнего или внутреннего; путем комбинации восприятий — возникает опыт; путем собрания и обработки опыта — возникает наука.

Рационализм, напротив того, утверждает: всякое настоящее или научное познание возникает из разума, то есть из имманентного развития выводов из первоначально достоверных начал, не исходящих из опыта. Так как теория познания должна ответить на оба вопроса, о сущности познания и его происхождении, и занять, следовательно, известное положение к обеим противоположностям, то мы получаем четырехчленную схему возможных основных форм теории познания. Они таковы:

1) *Реалистический эмпиризм*, согласно которому мы познаем вещи при помощи восприятий так, как они существуют сами по себе.

2) *Реалистический рационализм*, который утверждает, что мы познаем вещи так, как они суть, но не чувствами, а только разумом. Воззрение это свойственно большим метафизическим системам: *Платон*, *Спиноза*, *Гегель* — все они утверждают адекватное познание действительности разумом.

3) *Идеалистический эмпиризм*, по которому мы знаем о вещах только через восприятие; правда, это последнее не дает нам адекватного познания. Юм является наиболее последовательным представителем этого эмпиризма.

4) *Идеалистический рационализм*; его утверждение следующее: мы можем познавать действительность à priori при помощи чистого разума, правда не так, как она есть сама по себе, а только так, как она нам является, и притом лишь со стороны формы. Это воззрение Канта.

В истории философии подчас приводится еще одна форма теории познания — скептицизм, который утверждает, что мы вообще ничего не можем познавать, но теперь едва ли можно найти философа, сомневающегося в том, что существует действительное знание и что оно, несомненно, отличается от незнания.

Наконец, третья группа вопросов философии, может быть, самая возвышенная, во всяком случае, самая близкая нам, это — группа, касающаяся вопросов нравственности, вопросов долга, или, говоря более точным языком, учение о *ценностях* или *благах*. Уже когда философия занималась вопросами о размерах и сущности человеческого познания, она должна была натолкнуться на вывод, что способность человека различать ложное от правильного не та самая, которая отличает доброе от злого или порок от добродетели, и что совесть (Кант) воспринимает нравственный идеал как нечто императивное, что повелевает безусловно, то есть является *императивом категорическим*.

Но, конечно, запросы долга проникли в философию не путем логических сопоставлений, они заданы человечеству очень рано, еще в донаучный период философии. Уже Антигона Эсхила на предъявленные ей упреки, что она покинула мир, чтобы странствовать со слепым отцом, ответила трогательным по красоте намеком на звучащий в ее сердце голос долга — «откуда это, я не знаю, но это есть».

Естественная ясность и важность нравственных запросов, вообще, освобождает меня от необходимости останавли-

ваться более на этой группе философского мышления или, говоря иначе, на *практической области философии*... Упомяну только, что Вундт всю совокупность систем о морали сводит к трем: *гетерономная, трансцендентная и имманентная*. Первая — наиболее древняя — сводит нравственную обязанность человека к внешним предписаниям или законам, каковыми будут предписания религии, государства или обычая. *Трансцендентная* мораль рассматривает нравственные формы как законы, присущие человеческой воле, но присущие последней не в силу ее естественных свойств и ее связи с остальными эмпирическими процессами сознания, но возникающие в силу особого отношения познания или воли к сверхчувственному миру. С этой системой связаны имена Платона, Декарта, Спинозы и Канта. И, наконец, *имманентная* система стремится постичь сущность нравственности из природы человека, как она открывается в эмпирической действительности. Эта система имеет больше представителей и очень много разветвлений. С нею связаны имена Аристотеля, Гоббса, Гельвеция, Локка, Юма, Спенсера, Гегеля. Скажу еще, что древняя этика всецело была погружена в исследование мотивов индивидуального поступка, почему являлась *учением о добродетели* в высшем смысле этого слова, и только много уже позднее, под влиянием тех кризисов и переворотов, которые испытали сами нравственные воззрения на жизнь, начинает возникать вопрос об объективной ценности самих нравственных форм, и современная нам этическая философия является прежде всего *учением о благах*...

Вот краткий перечень тем или решений, входящих в содержание философии. Но у нас дальше речь пойдет о философии войны, то есть какой-то разновидности, вытекающей как производная из понятия философии и понятия военной науки как начала общего и собирательного, исходящей из какого-то соотношения между философией и наукой. Чтобы пойти дальше, мы должны будем остановиться вниманием на выяснении этого соотношения. Философия имеет с наукой то общее, что она есть

познание; с наукой она имеет общей точкой отправления рас-судочное понимание действительности, то есть, говоря просто, она наука. Но в чем они могут расходиться? Они могут расхо-диться в двух отношениях: или в предмете, которым они за-нимаются, или в способе, как они трактуют ту или иную тему. Некоторые из философов, как, например, Паульсен не допу-скают ни особого содержания для философии, ни особого ме-тода исследования. Второе потому, что с потерей веры в спе-кулятивный метод, то есть возможность познания мыслей или смысла действительности à priori, с помощью диалектического развития понятий, человечеству остался один путь к истине: *мыслящий опыт*, и этот путь одинаково принадлежит как фи-лософии, так и науке. Что касается до обсуждения какой-либо разницы в содержании философии и науки, то Паульсен вы-водит его путем исторического анализа, в котором он выясняет, что с древнейших времен и почти до Канта философия и наука, по существу, были не отделимы; Кант их разграничил, и это раз-граничение продержалось немного более полстолетия, а затем исчезло, и философия с наукой вновь совпала в понимании фи-лософов. Кроме того, Паульсен критикует отдельные попытки разъединить эти дисциплины и приходит к выводу, что фило-софию нельзя отделить от других наук, она есть не что иное, как *совокупность всего научного познания*. Живо и ре-шительно изложенный взгляд Паульсена грешит и в методо-логии, и в отношении содержания философии и науки. Если наука может отказаться от спекулятивного способа мышления и это, может быть, не помешает ей ни в ее чисто научных, ни тем более практических достижениях (укажу для примера на «психологию без души» — А. И. Введенского), то философия не может отказаться от этого орудия мысли, каким бы клеймом презрения, оно в новейшее время ни было опозорено²⁰. Что касается до содержания, то всегда остается ряд вопросов, ко-торые не исследуются ни одной из специальных наук; например, о методе и о содержании таких понятий, как *бытие, причин-ность, сверхсознательная реальность души и внешнего*

мира, а между тем философия мимо их пройти не может, и, включая эти темы в область посильных решений, философия неминуемо отойдет от науки своим содержанием.

Так или иначе, но существующее некогда совпадение философии и науки утеряно, почему в настоящее время отождествление философии с наукой может быть понимаемо в тройном смысле: или так, что термин «философия»²¹ есть не что иное, как собирательный термин для множества наук; или так, что философия есть общая наука, обнимающая своими положениями частные науки; или, наконец, в смысле тождества идеи философии и науки, фактическое осуществление которого есть конечная цель их развития. Первый взгляд уже совершенно изжит историей, и следы его мы видим в узком понимании философии как науки, в которую входят метафизика, теория познания и этика.

При втором взгляде философия как наука должна иметь предмет истины, *общие* всем частным наукам. Но каков источник этих истин? Представляют ли они собою лишь дальнейшее обобщение истин специальных наук, или философия приходит к ним самостоятельно? В первом случае самостоятельное положение философии уничтожается и приходится предвидеть, что по мере упрочения и специализации отдельных наук сохраняющаяся еще ныне фактическая самостоятельность философии со временем упразднится. Но ведь у нее имеются свои темы, как сказал я выше, за которые специальные науки не берутся, почему по достижении всеми специальными науками всей возможной зрелости останется нечто, составляющее собственный предмет философии. А это выделяет ее в особую науку, и тождество ее с науками тем самым нарушается. Поэтому придется остановиться на третьем выводе, сущность которого такова:

Наука *по идее своей* едина; специализация науки есть лишь последствие вполне законного, по ограниченности человеческих способностей, разделения умственного труда. Поскольку, однако, такое разделение, хотя бы по вполне законным

основаниям, фактически существует, единство науки фактически — пусть внешне только — нарушается. Противовесом такому разделению науки служит философия, которая твердо стоит на *идее* единства науки. Осуществляет философия эту идею не через формальное, внешнее энциклопедическое сочетание наук, которое, как таковое, не вносит в них никакой внутренней связности, но через систематическое подведение всей области познания под единство основначала. Таким образом, будучи самостоятельной, в том смысле, что она сама своими силами кладет это основначало, философия вместе с тем отождествляет себя с наукой, понимаемой идеально, как единое, всеобъемлющее целое, несмотря на фактическое разделение его на части.

Этот третий тип отождествления философии и науки является по существу своему чисто идеальным, достижимым в каком-то далеком и очень радужном будущем. Пока же на его пути имеются трения, одно из которых сводится к тому, что, с одной стороны, философия пока еще, за недостатком философского гения, как часто вы услышите, не располагает достаточно широким для наук философским основначалом, а с другой стороны, сами специальные науки не располагают достаточной подготовленностью к восприятию философского обоснования.

В результате между философией, с одной стороны, и науками, с другой, неизменно остается большой разрыв, отчужденность, недостатки которого ясно чувствуются: философия в своих построениях слабо подпитывается снизу, не сдерживается земными ограничениями и увлекается в область спекулятивных фантазирования, а науки, не объединенные и не облагороженные философско-этическим началом, разбрасываются по техническим мелочам и треплются на рынке минутных человеческих настроений.

Как исход из этого тягостного положения и как средство заполнить указанный выше разрыв история наук выдвинула на сцену ряд дисциплин, занимающих среднее промежуточное место между философией и наукой. Такими дисциплинами яв-

ляются философия права, истории, математики, естественных наук и т. д. и т. д. и, наконец, занимающая нас философия войны.

Какие же идеи или какие темы составляют достояние этих новых дисциплин, насчитывающих каждая за собою, может быть, не более столетия? Что каждая из них берет от философии и что она возьмет от соответствующей специальной науки? Если мы вдумаемся в природу этих тем, то мы можем разбить их на следующие четыре категории:

1) Трансцендентные идеи или задачи, то есть не поддающиеся восприятию в опыте, которые тесно связаны с той или иной современной наукой, но которые она по господствующему теперь воззрению отказывается решать и сбрасывает на плечи философии;

2) Такие идеи или темы, которые хотя и не являются чисто трансцендентными, но которые, с другой стороны, и не поддаются вполне исследованию опыта, то есть стоят на перепутье между априористическим и апостериористическим исследованием или для которых дорога опыта еще не намечена;

3) Идеи, имеющие столь общечеловеческий и глубокий смысл, что специальная наука или не располагает для их исследования достаточным масштабом, или не берется за них по отсутствию к ним специального интереса;

4) Все вопросы, связанные с архитектуроникой²² наук или их классификацией, с данными о степени их достоверности или гадательности и, наконец, с методологией.

Поясню сказанное наиболее наглядными примерами: вы знаете, что геометрия — так называемая евклидовская — вытекает как стройная и законченная система из ограниченного ряда допущений, называемых аксиомами. Под ними разумеются истины, очевидные сами собою и, значит, не требующие доказательств. Геометрия, получив от вас признание правоты аксиомы, поведет вас дорогой формальных доказательств и приведет к самым сложным и законченным выводам. Что ей еще нужно? Выводы поразительны, правильность всех положений доказывается и опытом, и проверкой, и взаимной соответствен-

ностью других положений, система цельна и законченна. Но философия математики не довольствуется тем, что из аксиомы, как таковой, выросло стройное здание и брошенную геометрией правду она обязана принять к своему расследованию. Что такое аксиома? Ее существо? Какие элементы сознания работают при восприятии аксиомы? Происхождение у человека идеи аксиомы и т. д.

Разрешение этих вопросов вы между прочим найдете у Канта²³ или Д. Ст. Милля.

И философия тем более права, что, как оказалось, очень возможно, оспаривая так называемый постулат Эвклида (известная в науке одиннадцатая аксиома о двух линиях, пересеченных третьей, сумма двух односторонних углов которых не равна $2d$), создать другую геометрию, не эвклидовскую, или так называемую лобачевскую, по имени знаменитого казанского профессора, и перед вами будет ясная и последовательная картина строения геометрии, но уже с другими выводами.

Сумма углов треугольника и равна $2d$, и немного больше и т. д. Математика на пути своего гигантского размаха порастеряла немало положений, заниматься которыми ей было не интересно и не по силам — идея равенства, четвертое и далее измерение, принцип, столь плодотворный, бесконечно малой величины, границы и надежность применения математического анализа, линия смежности наук математических с другими и т. д., — и все эти вопросы вошли в содержание философии математики как ее неотъемлемое содержание.

Приведу²⁴ пример из мира социальных наук, из философии права, как одной из наиболее живых и интересных дисциплин среди семьи юридических наук. Вам ясна идея преступника и ясна эволюция этой идеи. В далекие и суровые времена терзали и жгли человека за колдовство, за чары, и никому и в голову не приходило все безумие при этом человеческой мысли: очень долго человек считался преступником за те или иные религиозные убеждения. Эти крайности исчезли или почти исчезли, как тягостное сновидение. Им вслед идет исчезновение

политической преступности, доведенное в Англии, например, до возможного минимума. Но сама общая идея преступника жива и поныне, и нельзя и провидеть, когда она исчезнет из обихода человеческих пониманий, да и вообще исчезнет ли. Ведь человек, например, насилующий женщину или убивающий с целью ограбления, всем людям неоспоримо дает образ преступника, подлежащего наказанию.

И уголовное право, как бы оно ни варьировало с веками и сколько бы видов преступности и видов смертной казни²⁵ оно ни выбросило в Лету Забвения, все же найдет корзину преступности еще достаточно полной и будет иметь еще много хлопот по сортировке преступников, по определению размера и видов наказания, по созданию карательных или исправительных учреждений и т. д. и т. д. Уголовному праву некогда (время не ждет, и государство повелевает), неинтересно, да и не по силам философское выяснение основного вопроса, что такое преступник, его существо, его происхождение и что с ним надлежало бы делать. Этим вопросом займется философия права, она разложит его на более элементарные, сведет вопрос к основным темам о свободе воли, об идее права, о началах государственности и из их суммы вынесет свое глубокое слово о преступнике и его судьбе... Другой пример... Еще долго будут собираться люди, как и собирались раньше, в колпаках с иероглифами, в тогах, в фижмах, с цепями на груди или просто, как сейчас, в косоворотках, чтобы судить себе равного и решать вопросы или его оправдания, или лишения его тех или иных благ включительно до лишения его высшего блага — жизни... Специальной науки и некогда, и нельзя, и не по силам ответить на вопрос, что такое суд человека, его природа, степень его неизбежности, что такое право суда, каково будущее суда... На этот глубокий и страшный своей смелостью вопрос может вынести свой объективный ответ только философия права...

Нам пора подойти к нашей теме о философии войны. Могу вас уверить, что подробный подход на темах более вам до-

ступных и наглядных не затемнит и не задержит темы, а лишь ускорит ее выяснение.

Как же мы можем определить содержание философии войны? Из предыдущего ясно, что:

1) в нее должен войти определенный ряд тем и 2) эти темы будут освещены под определенными углами.

Содержание философии: 1) существо войны, 2) основные идеи, с этим существом связанные, 3) пути к познанию войны и 4) наука о войне в ее целом и ее классификация.

Все вытекающие из этих четырех рубрик темы рассматриваются в философии войны с точки зрения общечеловеческой, нравственной, практически неизбежной и поверочно-познавательной. Конечная цель философии войны будет сведение к нравственно-научному синтезу всех понятий о войне и присоединение этого синтеза как слагаемого к сумме других научных обобщений, объединяемых общей философией.

Но я чувствую, что высказанное определение философии войны нас не устроит, не удовлетворит как слишком сложное и отвлеченное. Поищем простого.

Все темы, о которых я сказал как о входящих в содержание философии войны, как-то: война, наука о ней или основные темы, военный гений, военная дисциплина, принуждение к войне, военное право и т.д., — настолько интересны и назойливы, что каждый человек, особенно военный, неизбежно, часто даже не отдавая себе отчета, часто против воли должен рано или поздно задуматься над ними и выстрадать в душе о них тот или иной вывод. Совокупность таких выводов относительно войны и всего связанного с ней, присущая тому или другому человеку, может быть названа его *военным мирозерцанием* — по аналогии с тем, как совокупность разума того или иного человека о существе нашего мира и человеческой жизни называют вообще его мирозерцанием. Но ведь выводы человека о войне, особенно человека, совсем ее не знающего или ею не занимавшегося, а особенно человека темного могут быть ошибочны, произвольны, причудливы, и этих выводов вообще

столько же, сколько людей, а сравненные между собою выводы эти должны представить целую лестницу военного мышления, начиная от собрания уличных басен и кончая широким научным обобщением. Но чтобы иметь научную ценность, все эти выводы должны быть проверены, проведены чрез горнило научного очищения, подведены к истине, и тогда совокупность таких наукой проверенных, скажем обнаученных, выводов, выводов, приближенных к правде или закону, *составит проверенное или обнаученное военное мирозерцание.*

Сообразно со сказанным мы можем дать нашему предмету такое определение: *философия войны есть научно переработанное (или проще обнаученное) военное мирозерцание.*

Я надеюсь, что этого упрощенного определения для нас будет достаточно. Оно ясно, и оно ответит существу дела, но прошу только не упускать из виду одного: мирозерцание должно пониматься серьезно, не как совокупность всяких идей о мире и жизни и, значит, бесконечного разнообразия и множества идей, но идей особенных, первичных, имеющих глубокое и общечеловеческое значение, идей философского содержания. Понимая так мирозерцание, мы не ошибемся и относительно военного мирозерцания. А при таком строгом и осматрительном разумении этого термина и приведенное выше определение философии войны кроме ясности будет располагать и достаточной для нас научностью.

Скажу теперь об истории нашей науки. Точно говоря, этой истории еще нет. Мы не можем указать ни научных течений, ни преемственности идей, ни школ, ни исчерпывающих или даже цельных трудов. Мы имеем несколько трудов, носящих заголовки «философия войны»; таковы труды Р. Штейнмеца, Мишеля Ревона и др. Сюда же нужно отнести труд полковника R. Henry «L'esprit de la guerre», М. В. Аничкова «Война и труд»²⁶. Много рассыпано было чисто военно-философского содержания в наших учебниках по стратегии у Леера, Михневича; наконец, трудно найти хотя бы одно более или менее популярное военное сочинение, в котором не было каких-либо

касательств к философии войны, начиная со старого и вечно классического труда Клаузевица «Vom Kriege» и кончая, скажем, книжкой генерала Kessler'a «La Guerre».

Наша наука более чувствовалась, чем определялась, намечалась разве только отдельными намеками или крупинками золота, вкрапленного в сыпучий песок военной мысли. На это были свои причины, тесно связанные с существом военного дела, как дела глубоко и грозно практического. Прежде всего, народам нужно было воевать, и перед их запуганным воображением стоял один вопрос: *как воевать*, то есть вопрос сводился к плоскости жизненной нужды; туда шли помыслы, толкования, готовности, подбор людей, строение теорий, выковка доктрин и т. д. Подумать о том, *почему и зачем воевать*, было некому, по крайней мере из той группы людей, которая понимала и практически знала войну. Этот сложный вопрос выпал на долю теоретикам и доктринерам, далеким от скорбного лица войны и плотно сидящим в кресле своего уютного ученого кабинета. И они не забыли сказать своего слова о войне, но слово легкое, праздное, лишь случайно глубокое, часто подсказанное личным ужасом или чувством гадливости, слово фантазера, далекого от рамок нашей скромной земли. Сказал о войне и Кант, бросивший надежду о ее грядущем прекращении по тем или иным чисто кантовским признакам; с другой стороны, Гегель впал чуть ли не в пафос, определяя существо войны; красиво и сильно выразился Лассаль о цивилизаторской роли меча... Эти летучие мысли остались чисто кабинетными, и едва ли масса знала когда-либо и узнает когда-либо о том, как мыслили войну те столпы человеческой мысли и слова, которым та же толпа привыкла рукоплескать в других сферах их творчества.

Разгром Франции в 1870—1871 годах Германией создал в ходе общественной мысли не только самой побежденной страны, но и всего мира такой сдвиг, размеры которого мы, пожалуй, не в силах расценить и поныне. Насколько военная мысль выиграла в практическом отношении, в смысле госу-

дарственных жертвований на алтарь Марса, это мы хорошо видим на фактах вооруженного мира, громадных политических союзов, воссоздания военной мощи Франции, резкого поворота от пацифизма в Англии и т. д. Но тот же разгром пробудил глубокий переворот в области философского понимания войны, и особенно в той же Франции. Было понято, что бремя войны не может нести одна только часть населения, то есть военные, а должно нести все население, и для этого оно должно быть воспитано по-военному, а это значит — оно должно пройти не только ту стадию технического военного образования, которая неизбежна на случай войны, оно должно понять и продумать ее духовную сторону, понять ее неизбежность, важность, оценить ее государственный смысл, то есть осмыслить философию войны. Это подготовляло создание новой научной дисциплины, которая могла бы говорить не специальным языком солдата-техника, а языком широким, доступным для масс, а для этого она должна была стоять не на узкой платформе военно-специального, всегда условного кругозора, а на платформе уширенного, общегражданского и даже общечеловеческого мирозерцания.

Но это первичное понимание содержания философии войны не могло быть ни совершенным, ни однообразным. Оно должно было ответить текущей нужде, а последняя диктовала в первую голову вопрос о войне. Война только что была пережита, страна лежала в обломках, поднимался вопрос, что это такое. Ответа не было. Как в практическом, так и в философском смысле страна была застигнута врасплох. И полковник Анри пытается разрешить назойливый вопрос тем путем, который в его время был возможен. В своем труде «Дух современной войны в мнениях великих полководцев и философов» он пытается осветить духовное и материальное существо войны путем подбора мыслей и афоризмов военных и философских авторитетов, правда, с большим перевесом в сторону материальную. Получился сложный конгломерат мыслей, похожий на справочник, но лишенный единства и цельной последователь-

ности изложения. Книга читается трудно, впечатления не остаются почти никакого.

Но потребность определить существо войны не заглохла, и в дальнейшем мы видим попытки создать более определенные труды по философии войны, строго ограничивая ее содержание пока одним вопросом — вопросом о войне, правда, во всей глубине и широте ее содержания. На этой первой стадии своего развития философия войны занимается только вопросом о войне, и ничем более. В толковании войны намечаются три течения: научное, художественное и правовое, или, говоря иначе, война рассматривается под тремя углами: под углом разума, красоты и правды. В конечных целях авторы трудов старались выяснить такие вопросы: есть ли война положительное или отрицательное явление в жизни народов, естественное или искусственное, вечное или временное. Средний вопрос чаще всего исчезал в третьем, и главными вопросами оставались два: *положительность* (или отрицательность) и *вечность* (или временность) войны. Те авторы, которые склонны были рассматривать войну как явление условное и ограниченное, пытались ввести в свое рассмотрение еще вопрос о том, какими путями может быть прекращена война на веки веков.

Большой и очень обстоятельный труд М. В. Аничкова «Война и труд» главным образом и построен на идее указания пути, следуя которому народы, по мнению автора, кончат с войной. Путь этот — свободное сношение народов всех стран и полная свобода товарного обмена.

Итак, содержание философии войны на первых ступенях ее развития сводилось к выяснению существа войны. Таковы труды Ревона, Штейнмеца и др. Дальше этого не шли. Но нужно ли выяснять, что в этом случае был затронут лишь один угол общего содержания, хотя бы и самый важный. Мало выяснить войну и поставить точку. Война, проникая собою в жизнь народов и перестраивая на свой лад все углы их жизни, вызывает с собой в сознании тех же народов ряд положений, столь

крупных, столь резко отличных от обычного мирного уклада мысли, что ум человеческий не может пройти мимо них без внимания, без попытки взвесить и их смысл на весах философского разума. Война проникает в государство и требует от него несказанных жертв; из источника силы и влияния, из величины самодавяющей война делает государство, а вместе с тем судьбу и труд народов чуть ли не своим рабом. Возникает вопрос о взаимоотношениях государства и войны, о государственном принуждении к войне, и перед нами первая идея, философский размах которой ясен и углубленное выяснение которой неизбежно.

Но ведь государство идет далее. На алтарь войны оно несет психику своего народа, проводя принцип всеобщего военного воспитания, то есть делания из своих граждан злых и ярых зверей, способных вцепиться в шею таких же зверей по ту сторону границы; на тот же алтарь оно несет упрощенное до жестокости, опасное своей скоростью и страшное размерами своей суровости правосудие под формую военного законодательства, столь отличное от нормальных законов мирного времени и т. д. и т. д. Правду, смысл и неизбежность этих государственных жертвоприношений философия войны должна обсудить и вынести им свой приговор.

Моя мысль ясна, и я не буду развивать ее далее. Очевидно: содержание философии войны не исчерпывается разумением только явления войны, но еще и целого цикла идей, из существа войны вытекающих. Если к этому присоединить методологическую сторону и вопрос о структуре военных наук и их связи с общими, то мы тем самым обнимем в грубых чертах все содержание интересующей нас науки, как я ее понимаю. Я должен признать, что это довольно скромный облик, что в нем нет размаха и достаточно обобщающей канвы, но при теперешнем состоянии наших военных знаний и при наличии имеющегося военно-научного материала такое скромное содержание философии войны я готов считать достаточным, и в таком объеме и понимании я проведу свой курс.

Есть другое понимание философии войны, которое встречается у Н. Н. Головина в его труде «Французская Высшая военная школа». По этому поводу он говорит следующее: «Из всей теории военного искусства нужно выделить курс наивысшего обобщения. Этот курс составит то, что генерал Леер называет стратегией, как философия военного искусства. Этот курс обнимает с одной стороны чистую науку о войне, то есть изучение войны, как явление общественной жизни, с другой стороны, будет содержать в себе философию военного искусства.

Таким образом, этот курс будет до некоторой степени соответствовать тому, что у нас ныне в программе называется принципиальной стратегией. Только я предложил бы отбросить эти два иностранные слова, которые к тому же не точно выражают в данном случае мысль. Я предложил бы назвать этот курс “высшим учением о войне”. Это название будет отвечать характеру этого курса, который будет представлять чистую науку о войне, тогда как все остальные курсы представляют из себя лишь теорию военного искусства.

Курсу “высшего учения о войне” я придаю очень большое значение...

Изучая войну как явление общественной жизни, этот курс выяснит обучающемуся истинное значение всех факторов военного искусства и особенно выделит значение духовной стороны. Последнее далеко не лишнее. В век развития техники человеческий разум склонен к скачку от прежнего пренебрежения техникой к ее возвеличению и забвению основного закона войны — закона главенства духовной стороны в явлениях боя.

...Курс “высшего учения о войне” установит связь между всеми отделами теории военного искусства. Эта связь будет выражаться не только в том, что в этом курсе будут заключаться наивысшие обобщения. Она должна выражаться в том, что этот курс должен быть поручен наиболее выдающемуся и авторитетному профессору, общему руководству которого должны быть подчинены все профессора, ведущие различные отделы теории

военного искусства. Об этом подчинении, для удобства изложения, я буду говорить дальше.

Курс “высшего учения о войне” осветит основные приемы военного искусства, а это, собственно говоря, и даст так называемое “единство доктрины”, которое в современной войне совершенно необходимо.

Примерной программой этого курса может быть:

Часть 1-ая.

1) Изучение войны; военная наука; теория военного искусства; военное искусство.

2) Исследование войны как явления общественной жизни; исследование элементов войны; законы войны и принципы военного искусства.

3) Методы военных наук и методы военного искусства:

а) приемы исследования и доказательства;

б) приемы военного искусства.

Часть 2-ая.

1) Эволюция военного искусства.

2) Условия современной войны.

3) Подготовка к войне.

4) Общее заключение Академического курса.

Из этой программы видно, что 1-ая часть курса “высшего учения о войне” составит введение во все академические курсы, потому эта 1-ая часть должна читаться в самом начале младшего класса. Это даст возможность, подобно тому, как это достигнуто во французской высшей военной школе, выиграть время во всех прочих курсах, сразу ввести слушателя в Академические занятия, выяснив ему основные приемы, которые он должен будет применять во всех своих работах, наконец, это даст ему правильные общие взгляды на военное искусство.

Может показаться, что отстаивая все время мысль о необходимости прикладного обучения, я впадаю в противоречие, предлагая постановку совершенно отвлеченного курса.

Выделение высшего, обобщающего курса представляет выгоды как раз для правильной постановки прикладного обучения.

Этот курс должен заставить все прочие курсы опуститься из облаков на землю. Взяв на себя философию, он предоставит всем прочим отделам обратиться к жизни. При отсутствии же его все курсы будут иметь тенденцию вдаваться в философию или — что, к сожалению, тоже случается — превращаться в сборники общих фраз.

Но получение ожидаемых результатов, конечно, не явится следствием одного введения этого курса.

Необходимо, как я выше упоминал, поручить этот курс наиболее выдающемуся профессору, общему руководству которого подчинить всех остальных профессоров и преподавателей, ведущих различные отделы теории военного искусства.

Это общее руководство не должно стеснять профессоров в их специальной работе во вверенных им отделах обучения, оно будет заключаться в обобщении основных идей военного искусства и внесении единства в общие методы работы. Оно выразится в высшем руководстве общими прикладными занятиями.

Таким образом, старший профессор, ведущий курс “высшего учения о войне”, в то же время фактически должен объединять работу по различным отделам теории военного искусства. Подобным способом мы достигнем тех же положительных результатов, какие достигнуты во Французской академии».

Я нарочно сделал эту большую выписку, чтобы представить тот растяжимый масштаб, который придает своему «высшему учению о войне» Н. Н. Головин...

Нельзя в функции одной дисциплины вводить и данные высокого научного *обобщения*, и общую доктрину *приложения* принципов к жизни, то есть во втором случае обобщенное военное искусство: слишком различны эти функции, различны приемы и, скажу даже, различна психика этих двух углов зрения. Есть и возможна философия математики, медицины и т. д., но трудно себе представить философию математического творчества или философию врачевания людей...

Точно так же трудно вообразить, в чем будут состоять функции и содержание философии военного искусства. Принципы его возможны, и возможно какое-то их обобщение, но это все же будет область прикладного искусства, искусства одоления, а это обстоятельство закрывает для него двери философии. Эта часть может войти в стратегию как обобщение военного искусства и составить ее принципиальную часть, если, повторим, можно составить материал для подобных обобщений.

Таким образом, если сравнить схему Н. Н. Головина с тем, как мы понимаем содержание философии войны, то в последнюю должна войти только ее первая часть, но расширенная рассмотрением коренных основоположений, вытекающих из существа войны; вторая же часть должна быть отнесена к стратегии, так как таким темам, как, например, «условия современной войны» или «подготовка к войне», место, конечно, не в курсе философии войны.

В этом случае Головин намечает воровство (философией войны) материала, принадлежащего стратегии. Прежде было наоборот: почти весь так называемый принципиальный материал стратегии краля у философии войны, чем и нужно объяснить запоздалое появление на свет последней науки.

Об этом нужно сказать несколько слов, чтобы выявить, с одной стороны, одно из крупных научных недоразумений, а с другой стороны, объяснить странную судьбу интересующей нас дисциплины. Во всех русских курсах стратегии, да и в немецких, начиная с труда Клаузевица, хотя в последних в гораздо меньших размерах, вы найдете военно-философские темы. В подобных учебниках с ненужной подробностью говорилось о войне как явлении в жизни человеческих обществ, о ее законах, приводилась ее оценка, предусматривалось ее будущее; затем в тех же учебниках обстоятельно трактовался вопрос о том, имеется ли военная наука или нет, есть ли какая закономерность в военных явлениях и т. д.

Почему этот материал, лишенный всякого прикладного житейского смысла, обсуждался в стратегии, науке вождения

и применения войск на театре войны, об этом не задавались вопросом... Сами по себе вопросы ждали ответа, они были заданы и любознательностью и совестью учащихся, и на них нужно было отвечать.

Кому же было отвечать на них? Более некому, как профессору стратегии, по необходимости знакомому и с историей, и с политикой, а часто и с философией, то есть вообще лицу, располагавшему более широким кругозором и большим научным багажом; он, конечно, более легко мог справиться и с военно-философской темой. Так и повелось дело в Академии Генерального штаба: философия войны попелелась на буксире стратегии, покрытая волнами научной ошибки. От этого получились только отрицательные результаты: стратегия разбухала и утрачивала свой прикладной характер, философия войны не выяснилась как самостоятельная научная дисциплина, и много вопросов, роковых и насущных, было оставлено без специального рассмотрения. Достаточно упомянуть тот роковой момент в жизни русской армии, случившийся в феврале 1917 года, когда на голову погибавшей, разлагавшейся и сбитой с исторического пути армии упал ряд военно-философских вопросов о существовании военного начальника, об организации военной власти, о пределах государственного принуждения и т. д., и не только все офицерство, все общество России почувствовало, что в области этих вопросов нет ни заблаговременных решений, ни ясного и проникновенного ответа...

Мне остается сказать об источниках, послуживших основанием для моего курса, и о тех из них, ознакомление с которыми желательно для успешного усвоения курса. Я должен оговориться, что курс философии войны мною создается заново, почти без прецедентов и отсюда получается необходимость брать данные оттуда, где имеется хотя бы намек на военно-философское содержание, а это в результате представляет очень сложный, большой и пестрый перечень источников. Перечислять их — это значило бы слишком отвлекать и утомлять ваше внимание. В свое время при развитии той или иной темы

я не забуду упомянуть о руководящих источниках, а о тех из них, знакомство с которыми для слушателей полезно, я буду делать особое изложение.

Наконец, чтобы покончить с слишком длинным введением, скажу несколько слов о названии нашей науки. Иногда встречается название «военная философия», но это название неудобно тем, что намекает на какую-то сословную или кастовую философию, чего быть в содержании нашей науки не может; оно неудобно еще тем, что говорит о какой-то иной философии в противовес военной. Словом, от этого названия отдает нежелательной условностью или частностью. Что касается до предлагаемого Н. Н. Головиным «высшего учения о войне», то единственное его достоинство, что оно составлено не из иностранных слов, которых недолюбливает автор, но оно не хорошо тем, что слишком обще и над чем-то надстроено. Невольно возникает вопрос, а что такое просто учение о войне? Окажется, что его нет или оно каждым понимается по-своему. Затем, для философии войны как доктрины объемлющей и оглавливающей военные науки, еще не пришло время, почему и название вместо нее «высшее учение о войне» преждевременно.

Я называю предмет философией войны по аналогии с философией права. Война как понятие является источником и первопричиной как всех прикладных военных наук, так и теоретических, если он исчезнет, исчезнут и все эти науки. Мало этого, с войной должны исчезнуть все те исключения или крайности психологические, юридические, правовые, дисциплинарные, экономические, государственные, которых породила и питает война. Она похожа на матку улья, уничтожьте ее, и пчелы разбредутся. Вот почему вполне целесообразно и будет достаточно точно науку, воплощающую военное мирозерцание в его научно обоснованном содержании, назвать философией войны, так как основной ее задачей является понимание и углубление в существо войны прежде всего, а затем в основные науки и понятия, из существа войны вытекающие. Да и само слово «философия», столь широко теперь распространенное на другие

науки, ясно, удобопонятно и скорее других названий предопределяет объем и характер значащегося под ним содержания.

Перейдем, наконец, к изложению содержания нашей науки. Нам нужно прежде всего обратить наше внимание на то явление в жизни народов — грозно-стихийное, создающее и разрушающее царства и народы, бич земли и источник народорождения, по одним явление биологическое, по другим историческое, — явление, которое называется войною. Мы должны выяснить себе его во всей широте и глубине его содержания, взглянуть, как оно отдается в понимании выдающихся людей мира, как отражается оно на экране истории, каково отношение этого явления к государственному бытию, как воспринимается оно в общечеловеческом понимании добра или зла и как долго, наконец, это явление будет властвовать над судьбами нашей планеты.

Но мало широты примененного нами масштаба к выяснению этого титанического явления, мы должны, оценивая и осмысливая его, суметь остаться на высоте строго объективного и духовно уравновешенного состояния, вне временных течений и пожеланий... словом, взглянуть на него философски.

ВОЙНА В ЛЮДСКИХ СУЖДЕНИЯХ

Прежде всего как понимали и толковали люди войну, не обыденные и рядовые, конечно, которые проходят на земле однодневными мотыльками, не оставляя после себя воспоминаний, а люди — большие светочи мысли и знаний. Есть книга С. Кузмина «Война во мнениях передовых людей», и как она ни мала и ни бедна подбором, но в ней упоминается 297 мыслителей, оставивших о войне то или другое слово. И все же я говорю, что она бедна, так как в ней, например, совсем не затронут азиатский мир мыслителей — индусы, китайцы, да и вообще имеющийся налицо перечень может быть утроен, упятерен, если не удесятерен. Это вам показывает, как затрагивала война ум человеческий.

О войне люди думали и старались разгадать ее природу с того далекого момента жизни нашей планеты, когда род людской начал вообще мыслить. Не было ни одного сильного ума, ни одного наблюдающего человека, который ни сказал бы о войне того или иного слова, но странно, ни о чем другом, как именно о ней, мнения всегда отличались крайним разнообразием и постоянными противоречиями. Война всегда слишком потрясала людей, тревожила их воображение и пробуждала их внимание, но странно: она заставляла мозги человека работать по-разному, в миллионах течений и изгибов напуганной мысли.

Были периоды жизни народной, когда война мыслилась всеми одинаково, как что-то божественное, восхитительно-вы-

сокое; ее считали утехой воина и высочайшей гордостью победителя; перед ней в почтительном признании склонялась народная масса. Офицеры, приближенные в Чингису, спрашивали старого вождя, в чем высочайшее счастье воина, и он ответил: «Высочайшее счастье — это видеть перед собой бегущего врага, конями топтать его поля, ласкать его женщин...» И конечно, он не был один в своем понимании войны; так мыслила вся его многомиллионная масса, которую он влек с собой от берегов Тихого океана до пределов Венгрии.

В какой же период так понимал народ войну? В период пробуждающегося народного самотворения, когда как из зерна слагалась новая государственная жизнь, то есть в периоды героические. Приведу примеры: ассирийский царь Туклат-Габал-Асар²⁷ (за 1130 лет до Р.Х.) оставил о завоевании Каммагены такую надпись: «Я наполнил трупами их (то есть жителей Каммагены) все подножия гор. Я срезал им головы. Я низвергнул стены их градов. Невольников, добычи и сокровищ я захватил без числа».

Война была столь высока и священна, что на ее грозном и величавом фоне умолкали стоны тысяч умирающих людей и жестокий акт являлся делом похвальным и обычным.

Простудируйте народные эпосы, и вы найдете, что в их понимании война носит облик дела высокого и достойного благоговения²⁸.

Возьмите Ригведу, Зенд-Авесту, Библию, Илиаду, Эдду... везде война почтена одинаково и восторженно. У Гомера, например, мы находим такие же восторги перед красою войны и ремеслом воина, как в сказаниях старого Востока, в Пятикнижии, Ригведе, Зенд-Авесте и т. п. Прочитайте Эдду, и вы увидите, что для обитателей Валгаллы нет другой цели, кроме постоянной борьбы, в которой для этих небожителей заключен весь смысл, вся прелесть, все блаженство жизни.

Эгилл (Сага об Эгилле) на упрек дочери датского графа, что он «редко доставлял волкам теплую добычу и не слышал в течение осени карканья ворон над грудой трупов», отвечает такой

песней: «Я шел с окровавленным мечом, и вороны сопутствовали мне. Мы бешено дрались, огонь высоко подымался над жильем людей, и мы утопили в крови тех, кто сторожил городские ворота».

Такое же восторженное отношение к войне мы находим у первобытных людей или у современных дикарей. Война священна и почетна, человек, убивший человека, приобретает в глазах других вес, и тем больший, чем больше он убил. Такой герой получает знаки отличия, выделяющие его среди других. Это будут или известное число перьев на голове, или своеобразная татуировка, или особая прическа... смотря по обычаю²⁹.

У Летурно в его труде «La guerre dans les diverses races humaines» вы можете найти много таких примеров, но, к сожалению, в этой пристрастной книге вы тщетно будете искать уравновешенного и спокойного освещения.

Итак, на первых ступенях государственной жизни, в минуты ее зародыша или на ступенях дикого состояния люди смотрят на войну одинаково. И объяснения этому надо искать не в одном только их диком или некультурном состоянии, как это любят многие делать; прием опасный и неосторожный.

Во всяком случае, позднее такого цельного и полного восторга перед войной как явлением в жизни народов уже не знает человечество, миновавшее свой легендарно-героический период.

С началом писаной истории начинается разнообразие в толковании войны, и оно наблюдается уже непрерывно.

Если подобрать мысли о войне разных людей за длинный период, то получается сложный мыслительный калейдоскоп, лишаящий всякой возможности какого-то среднего вывода и дающий самое невыгодное впечатление о силе человеческого мышления.

Люди расценивали войну под разными углами зрения, и наиболее ранней темой о войне была попытка выяснить ее естественность или искусственность. Мысли крупных людей разделились.

Вслед за Платоном, сказавшим, что «война есть естественное состояние народов» и что в самой природе между всеми государствами царит война, а мир — это пустой звук, ту же идею естественности войны повторяют: Сенека (жизнь — та же война), Гоббс (человечество — волчья порода, всегда готовая растерзать друг друга), Кант (война истекает, по-видимому, из самой человеческой природы), Прудон (война есть существенное условие нашей человечности), Лебон (война дает исход присущей человеку потребности разрушения), даже Гюго (жажда разрушения у нас в крови), Макс Егус (война всегда была и доселе остается началом всего), Золя (я нахожу войну роковую необходимостью. Неизбежность ее возникает из тесной зависимости природы человека от природы всего сущего), Драгомиров (в природе все основано на борьбе, а человек не может стать выше какого бы то ни было из законов природы), Владимир Соловьев (считать войну подлежащею немедленному и полному упразднению нет основания с исторической точки зрения оправдания добра) и т. д.

С другой стороны, против естественности войны говорили такие умы: Гердер (война, насколько она не вынуждена необходимостью защиты, есть явление противочеловеческое), Блюнчли (обычное состояние человека — мир, а не война), Ренан (народ не хочет войны, он хочет внутреннего развития, народного богатства и общественной свободы), Л. Толстой (война — событие, противное человеческому разуму и всей человеческой природе), гр. Комаровский (война не может считаться чем-то из начала веков неизменным и роковым), Зутнер (такое явление, как война, не есть явление необходимое, но преступное), Франк (в наше время война стала анахронизмом) и т. д.

Конечно, не приходится удивляться, что даже среди глубоких и свободных умов, придавленных непрерывностью войны от начала веков и до наших дней, очень многие признают ее естественность, скажем больше, среди тех, что высказываются против естественности войны мы находим скорее людей слова и чувства, людей, добродетельно настроенных, но не вооруженных

глубиной холодного анализа; таковы, например, Гердер, Л. Толстой, Зутнер. Но удивительно то, что и по основному этическому вопросу о войне, то есть нравственна она или безнравственна, мы вновь встречаемся с противоречивым рядом мыслей. Придавая этой оценке войны большой удельный вес, я приведу, может быть, утомительный, но крайне назидательный перечень.

Вот те люди, которые восхваляли войну, и вот их слова:

Гераклит: «Война является матерью всех вещей».

Фридрих Великий: «Меч облагораживает».

Гегель: «Война не есть абсолютное зло или только явление чисто случайное, имеющее свое основание в страстях правителей или народов, в беззакониях или вообще в чем-либо не должествующем быть. Высшее значение войны в том, что она укрепляет нравственное здоровье народов, подобно тому, как движение ветров предохраняет океан от застоя и гниения, в которые он от продолжительного застоя так же точно впал бы, как народы от долгого и даже вечного мира».

Руссо: «Война — это школа возрождения человеческих добродетелей».

Кузен: «Откажитесь от войн, и вы должны будете отказаться от прогресса».

Ансильон: «Война и бедствия, ее сопровождающие, развивают нравственные силы, если бы не было войны, храбрость, терпение, твердость, самоотвержение, презрение к смерти — все это исчезло бы с лица земли».

Байрон: «Я охотно выразил бы омерзение против войны, если бы не был убежден, что только она одна спасает мир от плесени и гнили».

Гумбольдт: «Война есть одно из благодетельнейших явлений в истории человечества, ибо ею вызываются те мужественные качества, которые составляют самую твердую основу общественной жизни».

Пушкин: «Война — это ужасная необходимость, но она дает повод к высоким подвигам, подвигам храбрости, самоотвержения, патриотизма».

Прудон: «Высшее откровение идеала, так же как и высшее откровение права, есть война»; или: «Отнимите идею войны, мифология становится невозможной, боги не имеют никакого смысла, скажу более: богам просто нечего делать. Но без развития религиозной идеи что стало бы с Азией и Европой? Что стало бы с цивилизацией?»

Пирогов: «В войне много зла, но есть и поэзия, человек, смотря смерти прямо в лицо, смотрит и на жизнь другими глазами; много грусти, много и надежды, много забот, много и разливной беззаботности».

Трейчке³⁰: «Осуждение войны и ее надежд не только не-лепо, но и безнравственно»; или: «Требовать отмены войны — значит посягнуть на самые святые чувства человека и изуродовать человеческую природу».

Ницше: «Я говорю вам, что только благо войны освящает всякую цель».

Макс Егус³¹: «На поле войны взращивается лучший цвет человечества — героизм. Идея вечного мира недостижима».

Мантегацца: «Только войной добывается цивилизация».

Веллгаузен³²: «Война создает народы».

Де Воюэ: «Уверенность в мире (я не говорю о самом мире) уже через каких-нибудь 50 лет породила бы испорченность нравов и упадок духа, еще более губительные, чем самая худшая из войн».

Богуславский³³: «Война всегда пробуждала нравственные силы народа»; или: «Война зло не безусловное, относительное. Она обладает воспитательной силой».

Гр. Мольтке: «Война — это составная часть Богом установленного мирового порядка»; или: «Война священна»; или: «Война поддерживает в человеке все великие, все благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость — и мешает ему впасть в самый ужасный материализм».

Кн. Бисмарк: «Войны подобны бурям или лихорадкам, после которых, будь то в воздушных струях или человеческом организме, восстанавливается нарушенное равновесие. С этой

точки зрения можно только прославлять войну, которая ломает железные оковы привычек повседневной жизни, дает случай развернуться талантам и высоким добродетелям и ставит каждого на подобающее ему по его способностям место».

Владимир Соловьев: «Война есть для народов реальная школа любви к врагам»; или: «Ни отдельное лицо, ни народ не могут совершить великих дел, если не забывают о себе, если не жертвуют собою».

Леер³⁴: «Война является могущественным двигателем в деле улучшения внутреннего, нравственного и материального быта народов или является одним из самых быстрых и могущественнейших цивилизаторов человечества».

Вильгельм III: «Кто хочет на свете чего-нибудь добиться, он должен этого добиваться не пером, а мечом».

А вот мнения людей, которые войну осудили:

Геродот: «Никто настолько не безрассуден, чтобы предпочесть войну миру. Ведь во время войны отцы хоронят детей, во время же мира — дети отцов».

Пиндар: «Война есть тиран, который повсюду вносит насилие и произвол, в ней насилие заменяет справедливость; кто сильнее, тот получает, что хотел».

Эзоп: «Все боги женились на той, которая досталась по жребию. Последним приходилось метать жребий богу войны. Из невест оставалась только богиня Бесчинства. Он взял ее, сочетался с нею браком и горячо полюбил ее. С той поры она всюду следует за своим мужем».

Вергилий: «Стерты границы между справедливостью и неправдою. Повсюду ненавистные образы преступлений. Не в почете забытая соха. Поля, покинутые земледельцем, пустынные; из железа кос куют смертоносное оружие. Марс наполняет весь мир нечестивою яростью. Кто избавит нас от ужасов войны?»

Сенека: «Война есть преступление».

Эпиктет: «Война ведь лишает жизни только тела людей, подобно тому, как гибнут быки и овцы; она разрушает маленькие

жилища людей так же, как истребляют гнезда журавлей. Что же в этом великого и ужасного?»

Левек: «Всякая война несправедлива».

Вольтер: «Главное безумие людей, ведущих войну, состоит в том, что они проливают кровь своих собратьев и опустошают плодородные поля, чтобы царствовать над кладбищами».

Гердер: «Понятие о войне должно возбуждать такой же ужас и отвращение, как и представление о чуме, холоде и иных великих бедствиях».

Кант: «Войне приписывают даже некоторого рода достоинства, и есть даже философы, которые восхваляют ее, как благородную прерогативу человечества, забывая слова одного грека: война есть зло потому, что она более делает злых, чем уничтожает их».

Клаузевиц: «Война имеет свою собственную грамматику, но у нее нет своей собственной логики».

Пирогов: «Война — это травматическая эпидемия».

Кондорсе: «Война есть страшнейшее из бедствий и величайшее из преступлений».

Жюль Кларети³⁵: «Война не страшная, но отвратительная вещь. На войне безжалостно убивают своего ближнего. Руки краснеют от крови, а губы делаются черными от пороха. Война узаконивает всякое преступление. У нее свой словарь, воровство на ее языке называется реквизицией, удачные и чудовищные убийства — победой».

Джон Брайт: «Война — это ужасная бойня»; или: «В наиболее общей короткой характеристике она (война) может быть названа скандалом всех возможных ужасов, жестокостей, преступлений и страданий, на которые только способна человеческая натура».

Э. Жерарден: «Война — это убийство, это грабеж совершенные народами по научению и приказанию их правительства».

Имп. Александр I: «Человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечие и зверство».

Зутнер: «Война справедливо называется массовым избиением».

Рише³⁶: «Война — это страдания, болезни, разрушения, бедствия и смерть»; или: «Придет время, когда не будет войн».

Мартенс: «Война такое страшное зло, которое человек не может не ненавидеть всем существом и всей душой».

Л. Толстой: «Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, надо понимать это, а не играть в войну».

Жорес: «Война представляет собою отвратительное и смешное явление, играющее зловещую, двойственную роль в судьбах человечества, и в мире демократии и работы она является чем-то устаревшим, бессмысленным и преступным»³⁷.

Достоевский: «Не всегда надо проповедовать один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно есть».

Можно найти и таких мыслителей, которые в войне склонны видеть одновременно и доброе и злое начало, например:

Шиллер: «Война ужасна, правда, как бич небес, но так же, как и он, она добро, судьбы определенье».

Вл. Соловьев: «Смысл войны не исчерпывается ее отрицательным определением как зла и бедствия; в ней есть и нечто положительное — не в том смысле, чтобы она была сама по себе нормальна, лишь в том, что она бывает реально необходимой при данных условиях».

Подобное раздвоение мысли наблюдается у многих, как, например, Блаженный Августин, Пушкин, Золя, Пирогов, даже Жюль Кларети, де Амичис и др.

Замечу, что в одном люди довольно давно сошлись, говоря о войне, а именно определяя ее реальный смысл, определяя ее как орудие государственной политики. Принято преклоняться перед определением Клаузевица войны как действия силы, имеющей целью подчинить противника нашей воле. Оно не ново и не оригинально: уже Спиноза говорил, что война есть осуществление естественного права, принадлежащего сильному, над слабым; в том же смысле и почти теми же словами

определял войну еще Цицерон: война есть способ решать споры путем силы.

Приведя вышеизложенные, столь противоречивые думы людей о войне, мы вправе сделать тот общий вывод, что от начала веков о войне говорилось и думалось разное и что разнообразие взглядов на нее не только существует и сейчас, но, несомненно, будет существовать и впредь. Если придавать известный вес коллективному людскому голосу и склоняться в сторону более ярко и часто высказанному решению — прием очень часто применяемый в социальных доктринах, — то и в этом случае наше слово о войне не могло бы отличаться определенностью и должно бы свестись к скромной фразе: «Что это такое, откуда оно и как оно должно быть понято, мы не знаем».

При изучении людских мнений о войне, кроме противоречивости таковых, вас еще более может поразить то обстоятельство, что очень часто одни и те же мыслители или писатели думали о войне до крайности противоречиво, из хвалебного тона впадали в резко осуждающий, и наоборот. Некоторые из них, которых история знает за врагов войны, были иногда и ее почитателями, а великие ее поклонники и удачливые носители ее знамени бывали в иное время ее недругами.

Едва ли кто так сильно и вдохновенно осудил иго войны, так много и так изысканно тепло сказал в защиту мира, как Виктор Гюго, особенно за двадцатипятилетие перед войною 70—71 годов, а между тем при вступлении в Академию, когда его слушал весь культурный мир, тот же Виктор Гюго в блестящей речи сказал такую фразу: «И я из тех, которые думают, что *война очень хороша*³⁸ с той возвышенной точки зрения, с которой мы всю историю видим как одну группу и всю философию как одну идею; битвы не являются более ранами, нанесенными человечеству, как борозды пашни не раны, нанесенные земле. Вот уже пять тысяч лет, как всякая жатва определяется плугом, всякая цивилизация войной».

Но уже восемь лет спустя этот красивый защитник цивилизаторской роли войны является представителем на Конгрессе

мира в Париже в августе 1849 года, на конгрессе, созванном по инициативе американца Бэррита и англичанина Генри Ричарда. Конгресс этот, третий по номеру, знаменит разве своим нелепым ограничением, по которому «никакие речи в пользу войны не допускались», очевидно, живое и страстное обсуждение могло, прежде всего, затянуть дело, а затем лишить хорошего расположения духа поборников мира, собравшихся в столице веселья. Виктору Гюго долго, трудолюбиво и талантливо пришлось вести колесницу мира, пока он не вернулся в Париж после долгого изгнания и не вынужден был снова вернуться в семью ярых поборников войны, вылить две пушки на проданные брошюры, проклинать заключенный мир и взывать к войне... Престарелый великий писатель вновь поклонился богу войны после 30 лет длительного презрения или после 40 с лишним лет, минувших с дней поклонения им гению войны Наполеону, которому в дни юности он слагал молодые пылкие песни.

Итак, в лице великого писателя перед нами резкие повороты в отношениях к войне. Но можно сказать: ведь это писатель, человек переживаний, текущих настроений, не более. Приведем более убедительный пример. В тот же 41 год, когда Виктор Гюго держал свою вступительную речь в Академии, восхваляя войну, Мольтке, создавший себе славу этой же войной и после писавший во введении к сочинению Блюнчли: «Вечный мир — мечта, и не всегда прекрасная. Война — это составная часть Богом установленного порядка и т. д.», — этот самый Мольтке писал: «Мы признаем себя сторонниками столь часто осмеиваемой идеи вечного европейского мира, не в том, конечно, смысле, чтобы должны были прекратиться долгие кровавые столкновения, чтобы армии были распущены, а пушки расплавлены, нет; но не является ли весь ход истории прогрессом, стремящимся к миру? Возможна ли в наше время война из-за Испанского наследства или из-за “*beaux yeux de madame?*”».

Далее следовали доводы в пользу вечного мира, с цифровым материалом и с той обстоятельностью, которая была так свойственна Мольтке. В позднейшие годы он, как известно, ра-

дикально изменил свои взгляды. Оттого ли, замечает Блюх, что он стал фельдмаршалом, или оттого, что долгие размышления, а главное, длительная работа развеяли юный оптимизм, об этом мыслящий молчальник, как называли немцы Мольтке, не оставил следов в своих позднейших работах. И судить о том, был ли прав крупный стратег, философствуя над войной в свои молодые годы, или прав в годы непрерывного и всегда успешного служения Марсу, когда он истребил 2 миллиона людей или, по замечанию Этельгарда, пролил 800 тонн ведер человеческой крови, решить это предоставлено врагам или почитателям умершего фельдмаршала.

О других людях, противоречиво говоривших о войне, мы можем упомянуть коротко. Таков Прудон³⁹, который в первом томе своего труда «Война и мир» восхваляет войну превыше всяких пределов, а во вторых развенчивает ее до размеров безнравственного и нелепого явления. Жозеф де Местр⁴⁰, который посвятил войне самые пылкие дифирамбы, но который, по догадке Мишеля Ревона, лишь хотел особым путем контраста и пафоса дискредитировать идею войны; Эмиль Золя своим сильным романом «La Débâcle» вызывает в душе читателя глубокое негодование к войне, как художник бьет ее в корне, но как мыслитель он высказывает взгляд, весьма недалекий от полного оправдания военных кровопролитий. «Я нахожу войну, — сказал он, — роковой необходимостью». Крупный итальянский писатель де Амичис в 1879 году был лучшим и самым популярным писателем, культивировавшим военные идеи, а 25 лет спустя делается автором наиболее популярной книги, пропагандирующей социализм. Таков же Жюль Кларети... и таких много.

К этой группе людей, раздвоенных в своем понимании войны, нужно прибавить группу несомненных лицемеров, игравших в мир или на закате своей боевой карьеры, или по каким-то побочным расчетам.

Известно, что Генрих IV, объявивший войну Габсбургскому дому незадолго до смерти, по словам Сюлли, связывал с этой

войной обширный план умиротворения Европы; и эти легенды о миролюбии всю жизнь воевавшего короля долго держались в обществе, подогреваемые симпатичными чертами и открытым нравом правителя. Кто бы мог подумать, что и Наполеон, этот гений войны, когда-то бросил фразу, что он не хочет войны с кем бы то ни было.

На острове Св. Елены он писал⁴¹, что «война 1812 года должна считаться наиболее народной (populaire) — C'était celle du bon sens et des vrais intérêts, celle du repos et de la sécurité de tous; elle était purement pacifique et conservatrice. (Это была война здравого смысла и во имя истинных интересов, во имя и безопасности для всех. Она была в чистом виде направлена к миру и сохранению традиционных устоев общества.)

Настали бы общие благополучие и безопасность. Европа представляла бы, таким образом, поистине один народ... Сколько крови... в будущем будет пролито для достижения этого блага, которое я хотел даровать человечеству».

Тепло и красиво сказано, но можно ли верить искренности некогда кровавого воителя, а теперь узника, запертого на одиноком острове?

После Прусско-австрийской войны, когда возник спор между Францией и Пруссией из-за Люксембурга, общества мира особенно сильно подняли голову, их лозунг «guerre à la guette» вызвал отклик во всех народах, а совещавшийся в Брюсселе конгресс рабочих энергичски протестовал против вооруженной расправы. И в этот момент, когда недавно воевавшая Пруссия еще не успела отдохнуть от войны, проповедь вечного мира приходилась для Бисмарка очень кстати. Он не только способствовал ее распространению, но и сам лично вошел в роль решительного сторонника *вечного мира* и поборника всеобщего союза народов... Правда, продолжалась эта игра в мир недолго, и два года спустя Бисмарк выбросил свои мирные думы в корзину истории.

Перед нами прошла длинная серия людских мнений, от ее пестроты получилась в голове полная неразбериха. Мы видели

спутанное разнообразие воззрений на войну людей разных профессий, кругозора и пониманий, но людей только крупных и видели, что все они думали разно, часто сумбурно и противоречиво, среди них мы находили и таких, которые в понимании войны противоречили самим себе. Отсюда вы должны сделать два заключения: первое, что о войне вы не можете найти столь авторитетного голоса в одном направлении, чтобы ему нельзя было подыскать другой голос не менее авторитетный, но говорящий противоположное. И вы теперь будете знать, что когда в газете ли, в обществе, в заседании — хотят выиграть в пользу или против войны и торгуют для этого тем или другим авторитетом, что это прием ложный, только рассчитанный на слабое знание слушателей. А второе то заключение, что коллективное суждение людей о войне не только не дает нам обстоятельного выяснения ее существа, но даже лишает нас достаточных отправных данных для суждения.

И вы невольно зададите себе вопрос, чем же это вызвано. Почему же люди так неодинаково понимали войну, а некоторые из них в своем суждении о ней проявили так много колебаний и противоречий? На это имелись, бесспорно, свои причины. Прежде всего, война должна была поразить людей глубиной и сложностью своего содержания; обнять ее в целом — а только так и нужно было ее осмыслять — представлялось всегда недостижимым, и ум человеческий невольно отвлекался теми или иными ее частностями. Случилось нечто вроде того, что испытывает путешественник, приближаясь к первоклассному хребту: столь красивый и ясный за несколько верст, по мере приближения он становится неохватным, его формы расплываются и глаз не в силах долго фиксировать свое внимание на общих контурах хребта; в глазу даже чувствуется какая-то боль, и путник в конце концов должен ограничиться рассмотрением или вершины, или скатов, или впадин, словом, наиболее интересных деталей.

Конечно, люди поступили бы правильнее, если бы к войне они отнеслись так же, как теперь в Италии относятся к Ве-

зувию: ставят у его вершины обсерваторию и рабски следят за пульсом горы, не пытаясь разобраться ни в причинах, ни в оценке вулканической работы кратера. Статистика цифр сама скажет о будущем.

К сожалению, а вернее, к счастью для прогресса науки незнание фактов никогда не мешало созданию той или иной гипотезы... даже наоборот, люди гораздо чаще объясняли и более строили теорий тогда, когда у них было меньше фактов и наблюдений.

Глубина войны как явления в связи с ее грозной внушительностью была причиной того, что наблюдатели, не разбираясь в целом, тем с большей решительностью увлекались частностями: одни остановили свое внимание на жертвах людьми или на экономических потрясениях и осудили войну; другие наблюдали великие подвиги храбрости, самопожертвования, риска... и пали ниц перед нравственной красотой войны; третьи были поражены ее деспотическим влиянием на судьбы царств и народов и были ею напуганы и т. д. Оттуда получался вывод в зависимости от того куска на фоне сложного явления, который оказался в поле зрения.

Второй причиной, что люди не сумели разгадать природы войны, была та, что она слишком отзывалась на впечатлительности людей и взывала более к их чувству или воображению, пугала их или восхищала. Разум и логика умолкали под гнетом войны, и выводами руководило прижатое к земле или вознесенное к небесам чувство. Припомните, как влияют на человека другие стихийные явления — чума, наводнение, пожар, человек склонен схватывать в них наиболее острые картины гибели людей, сноса водою жилищ, подвига храбрецов и т. д. и в этих бросающихся в глаза рамках трактовать все стихийное явление. Спокойного и общего вывода нет, его дает поздний рассказчик или даже историк, выбрав из сложной суммы нервного песка крупинки благородного металла. Особенно много тем доставляла поэтому война представителям искусств, давая обильный и разнообразный материал их впечатлительности и их

краскам, угнетая картинами страданий и мук одних, окрыляя картинами подвига и героизма других. Имена Байрона, Виктора Гюго, Аккермана, Гаммерлинга, Вальденбруха, Золя, Клэрети, Мопассана, Берты Зутнер, художника Артура Гротгера или у нас Л. Толстого, Немировича-Данченко, Гаршина, Л. Андреева, художника Верещагина много получили блеска от тех вдохновенных проклятий, которыми они осыпали войну, перед их добрыми пожеланиями и перед красотой их красок можно склониться, но не перед их философией и перед их анализом: небольшой сравнительно подсчет уронов и ужасов, причиняемых войной, с одной стороны, и эпидемией или экономическими потрясениями, с другой, заставили бы поэтов поставить в этом отношении войну на более скромное место. Так часто дети боятся таракана и беззаботно смотрят на начавшийся пожар или растущее наводнение. Но эти дети сделали свое дело, их читала масса и впитывала в себя яд их первых преувеличений.

Я привел пессимистические образчики военно-художественного творчества только потому, что они оказались ближе под рукой, но совершенно не согласен с Блюхом⁴², который хочет обрисовать художественную конъюнктуру под углом все большего и большего склонения против войн от прежнего преклонения перед нею.

Третьей причиной, мешавшей людям понять войну, была предвзятость мысли писавших или говоривших о ней. Военные воевали, то есть занимались войной практически, и им был недосуг говорить о войне, или они не умели говорить как люди грубые простые, с мозгами, запыленными пороховой пылью. А если они и оговаривались словом, то оно было, конечно, словом пристрастным человека, чаще всего восхищенного своим великим ремеслом, реже — обиженного неудачей капризной военной дороги. В результате о войне судили чаще и больше люди не военные, и если они не были государственниками по своей работе и миропониманию, то, естественно, каждый из них должен был переживать в жизни тот или иной нажим войны, очень часто тяжкий, и судить он мог только

отрицательно. Что он мог пережить от войны? Потерю сына, разгром добра, приостановку работы, недоверие или озлобление ближних, измену друга — и что он мог сказать о том явлении, которое посетило его таким неблагополучием? Конечно, что-либо дурное, придиричивое. Если война и несла блага, то они протекали широким масштабом, поздно и для понимания их нужно было владеть широким масштабом разума или дожить до притока благ. Немудрено, что гражданские писатели или по присущей им робости перед всем военным, или по побуждениям корпоративного или классового самолюбия, или, наконец, по свойствам дилетантизма, для них естественного, говорили о войне неумеренно придиричиво и вообще пристрастно отрицательно. Им так всегда хотелось свести значение войн к нулю, так рано хотелось вычеркнуть ее со страниц истории. Труд, увы, напрасный, свидетельствовавший скорее о научном суеверии, чем о научной прозорливости.

После сказанного, может быть, не будет неожиданным отметить, что о войне лучше и объективнее говорили философы, хотя и гражданские люди, а порою и глубоко кабинетные и методические, вроде Канта, по времени прогулки которого в Кенигсберге жители выверяли часы. Как искателям добра и гармонии, философам, может быть, надо было бы осудить войну, но привычка смотреть на дела мира под углом уравновешенного и умудренного разума заставила их взглянуть на войну здраво и глубоко и отвести ей надлежащее место в печалях и радостях нашей планеты. Не прав и здесь Блюих, говоря, что философы ранее поэтов пришли к заключению, что война безнравственна в самой своей основе. При этом он упоминает Монтеня и Паскаля, якобы сказавших в XIV веке то, что нашло отзвук в поэзии XIX века. Монтеню, как известно, принадлежит афоризм: «Ce qui est mal c'est tuer des hommes, non de les manger, quand ils sont morts» (убийство плохо, а людоедство хорошо).

Паскаль высказался, что войну, а с нею какое-то количество смертей решает один человек, в этом заинтересованный (то есть король), а надо бы этот вопрос предоставить незаинте-

ресованному лицу. То есть оба мыслителя особенно далеко не шли в осуждениях войны, не далее, например, Блаженного Августина, Сенеки или Эпиктета. Что же касается других философов, то я положительно не знаю из них ни одного, который резко подчеркнул бы безнравственность войны, скорее наоборот. А такие из них, как Платон, Спиноза, Гоббс, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Достоевский, Ницше и др., по вопросу о войне не впали ни в добродетельный сентиментализм, ни в научное фантазерство, а сказали о войне свое глубокое и уравновешенное слово.

Теперь я перейду к тем мыслителям, думы которых о войне имели большой исторический вес и легли в основание больших общественных сдвигов мысли. Надо прежде всего упомянуть о Гиппонийском епископе Августине, проповедовавшем в конце IV и в начале V века и имевшем исключительное влияние на судьбы и догматическую сторону христианского учения. Августин не был сторонником войны, что видно из таких его слов: «Пусть никто не говорит мне, что такой-то и такой-то является великим человеком потому якобы, что сражался с тем-то и тем-то и победил. Сражаются и гладиаторы, и они побеждают; и бесчеловечие этого рода вознаграждается похвалами. Но, по моему мнению, лучше кому бы то ни было понести наказание за бездеятельность, чем добиваться славы их подвигов». Но Августину принадлежит та коренная идея, которая на последующие века властно предопределила отношение к войне церкви. Нет сомнений, что влияние церкви на развитие войн, и в смысле их инициирования (крестовые походы), и в смысле их поддержки церковной идеологией (примеры неисчислимы), до XIX столетия было огромно. Но ведь война, как таковая, из слов Основателя христианства далеко не вытекала, скорее словом «убий» она осуждалась, почему необходимо было какое-то смелое, чисто реформаторское толкование слов или смысла Евангелия, чтобы вовлечь церковь в колесницу Марса. И таким толкованием является мысль Августина, что не всякое умерщвление на войне относится к «преступлению человекоубийства». Потом

он говорит уже более определенным образом, что заповеди «не убий» отнюдь не преступают те, которые ведут войны по полномочию от Бога или, будучи в силу Его законов, то есть в силу самого разумного и правосудного распоряжения, представителями общественной власти, наказывают злодеев смертью. Эти слова, поскольку Блаженный Августин являлся творцом судеб церкви, открывали широкий простор для ее последующего влияния на войны Европы, на их размер и на степень вложенного в них энтузиазма; и они должны быть ярко отмечены как руководящий фонарь в истории войн, как их религиозный внушитель и двигатель.

Мысль о прекращении войн имеет за собой глубокую давность, ее приписывают уже Платону, но только с конца XVII века появляются более ясные указания на пути, следуя которым человечество может сбросить с себя иго войны. XVIII век переполнен проектами и мечтаниями о вечном мире. Отметить людей, которые пытались распутать тугой узел этого бича человечества, представляет немалый интерес для философии войны.

Еще у Адама Смита⁴³ в его главном труде, среди множества всюду разбросанных интересных мыслей и наблюдений, мы встречаем как бы оброненную мысль, что успехи земледелия, неизбежно следующие за успехами прочих искусств и ремесел, способствуют потере народом воинственного характера. Основатель политической экономии не пошел дальше в своих заключениях, но открыл одну из дорог, «ведущих к вечному миру». Эта дорога с тех пор и многим другим рисовалась в виде естественного упадка в народах воинственного духа, до степени его полного прекращения; расходились только в вопросе, что именно ослабит воинственный характер народов. Но нужно отметить, что часто ускользало от внимания пацифистов, что к военному делу Адам Смит относился с полным уважением. В книге он говорит, что оборона страны важнее богатства; военное искусство он называет «самым благородным из всех искусств». Идеал военного устройства, поясняет великий шот-

ландец, заключается в целом народе, обученном употреблению оружия, с постоянным, профессиональным войском, служащим для него: в мирное время школой, в военное — опорой.

Еще раньше Гуго Гроций в своем трактате «De jure belli et pacis» («О законе войны и мира») требовал создания союзов христианских народов.

Вопроса о войне и связанной с ним идее вечного мира коснулся и Кант в сочинении⁴⁴, вышедшем в 1795 году. Как бы ни были восторженны пацифисты этой попыткой философа ответить на первую проблему, но попытка оказалась и бледной и нерешительной, а те шесть практических требований, которые Кант предъявлял к государствам в целях последовательного упрочения мира, поражают своей нежизненностью, своим фантазерством, например: «4. Не должно заключать займов на военные дела» или: «6. Государства не должны во время войны совершать таких действий, которые могли бы ослабить чувство доверия к ним во время мира». Но основная мысль Канта заслуживает внимания своею новизною, резко отличающей ее от идей французских философов⁴⁵ XVIII века. Кант исходит из того положения, что как отношения, между отдельными лицами, так и отношения государств к подданным и взаимные между государствами должны сообразоваться с началами справедливости; эти начала должны быть выше всего. Настоящее анархическое состояние между народами, по мнению Канта, есть отражение тех отношений, какие существовали между людьми в эпоху их дикого состояния, до соединения их в общественные группы и государства. Кант в сильных выражениях негодует на современную международную анархию, объясняя ее возмутительною способностью государств (и человека) проявлять при всякой возможности дикие инстинкты и нравственное падение. Подобное анархическое состояние когда-нибудь должно исчезнуть и мало-помалу замениться законным порядком. Как некогда единицы, так в будущем общества и народы создают единый общественный организм, государства государств, которое включит в себя награды земного шара.

Из этих слов видно, что мысль Канта — с одной стороны эволюционная, а с другой — веровая — сводится к тому, что идея вечного мира не может быть основанием для создания союза государств (как думали Генрих IV, Сюлли, Гуго Гроций, Лейбниц, Сен-Пьер, Руссо, Ваттель, Бентам, Законодательное собрание 22 мая 1790 года, Конвент 13 апреля 1793 года).

Вечный мир наступит лишь в виде конечного результата совершенствования международных отношений, то есть он явится тогда, когда царство силы заменится в них царством справедливости. Эта мысль легла впоследствии в основание выводов о будущем войны у многих мыслителей и свелась к тому общему выводу, что всеобщее разоружение, или всесветный трибунал, или союз государств должны явиться не причиной прекращения войн, а следствием такого прекращения, не стимулом мира, а его признаком.

Мысли Огюста Канта о войне довольно бессвязно разбросаны по всему его основному труду⁴⁶. Философ не занимался внимательно военными явлениями (исключая разве историю раннего периода жизни народов, когда таковая одухотворялась и развивалась религиозными и военными мотивами главным образом), но, очевидно, усвоил определенно некоторые мысли своих предшественников, вроде Фергюсона или Адама Смита (этого он упоминает), и старался их повторить, почти не подвергая дальнейшему развитию. Так, например, он решительно высказался против философов-биологов, и, в частности, против Галла, считающих якобы, что «военные тенденции человечества неизменимы», при этом Кант ссылается на сумму исторических свидетельств, «с очевидностью указывающих на постепенное ослабление воинского духа», и таковое ослабление, по мнению философа, вполне отвечает системе, и притом наиболее проверенный *argofondi*, основных законов человеческой природы.

Несколько более обстоятельно Кант остановился на антагонизме⁴⁷ между военным и промышленным мирами, причем подчеркнул постепенное одоление последнего из миров, обе-

щающее окончательное прекращение войны. Характерна оговорка Конта, что военный режим, когда-то господствовавший среди человеческих обществ, выполнил выдающуюся и незаменимую услугу, по крайней мере, предварительную в деле общего прогресса человечества (*rempli un eminent et indispensable office, du moins provisoire, dans la progression générale, de l'humanité*).

В другом случае эту же мысль он поясняет на примере рабства в древности, которое, будучи непосредственным результатом войны, сыграло крупную положительную роль на путях нравственного и экономического преуспеяния древних народов⁴⁸.

Вообще же Конт войну ненавидит и, говоря о ней, не забывает упомянуть о том «справедливом ужасе, который ему внушает теперь это учреждение, остающееся столь долго всеобщим (*La juste horreur que nous inspire aujourd'hui cette institution si long — temps universelle*)⁴⁹.

Но мысли, брошенные довольно осторожно Адамом Смитом, Кантом, Контом, в лице Бокля нашли более крайнего и сильного пропагандиста. На Бокле надо остановиться более внимательно, так как в свое время его мысли нашли горячий отклик в общественном мнении Европы, с одной стороны, и горячий отпор и критику со стороны военной среды⁵⁰. Теперь, когда большинство пророчеств и предугадываний Бокля потерпели полное фиаско, его понимание войны является уже только материалом для истории, но культурная роль этого понимания, конечно, далеко еще не изжита и находит своих последователей. Бокль⁵¹ отзываясь с похвалой о констатировании Контом уменьшения любви к войне, что он считает неоспоримым фактом, но обвиняет философа в недостатке знакомства с историей и политической экономией. Сам же идет уже много дальше Смита и Конта и в контовском антагонизме слова «промышленный мир» заменил словом «интеллигентный класс» (*intellectual classes*), продолжая настаивать на идее антагонизма. Но, противопоставив военный мир интеллигенции,

Бокль был вынужден военных людей сводить на степень каких-то исторических вырожденков, пережитков. Дорога получалась скользкая, но временный и шумный успех за такой мыслью был обеспечен: она, конечно, ответила больше страстям или честолюбиям, чем холодному разумению. Основное свое положение Бокль формулировал так: «Теперь антагонизм между этими классами⁵² очевиден: это антагонизм между мыслью и действием, между внутренним и внешним, между доводом и насилием (between argument and violence), между убеждением и силою (persuasion and force); словом, между людьми, которые живут, осуществляя мирные стремления, и людьми, которые живут войной».

Нужно заметить, что Бокль начал рассматривать войну (по его словам, варварское занятие — barbarous pursuit) как второе величайшее зло после преследований за веру, и, выставивши теперь приведенный хлесткий афоризм, историк поставил себя в очень щекотливое положение, прежде всего перед историей же. Положение усугублялось еще тем, что по своему основному воззрению на исторические факторы Бокль должен был исключить нравственные течения как причины уменьшения любви к войне.

Приходилось исторически доказывать, что в военном мире только в древности суровым ремеслом занимались выдающиеся люди, а позднее подбор становился все слабее и слабее. Для этого Боклю от военных людей Греции пришлось прежде всего сделать скачок через две тысячи лет к невеликим военным прошлого XVIII века, а затем, вымучивая свою параллель, он оказался вынужденным сделать «близорукими в делах мира» (shortsighted in the arts of peace) Густава-Адольфа и Фридриха Великого, «до жалости невежественным» (miserably ignorant) Мальборо и высмеять (хотя и с ехидными оговорками) национального героя Англии герцога Веллингтона. Понятно, на таких конях выдумки и злословия не мог далеко ускакать даже Бокль. Не смешно ли из Фридриха Великого сделать только военного рубаку. Вот что, например, говорит о Фридрихе Н. Кареев: «Ве-

ликие таланты короля-философа, доходящие до настоящей гениальности, его пронизательный ум и сильный характер, его знаменитые подвиги и сильные испытания, его популярность у подданных и слава у современников и потомков — все это уже само по себе достаточно объясняет восторженное отношение большинства историков к личности Фридриха». Выходка Бокля по его адресу напоминает мне другую выходку, русской царицы Елизаветы Петровны. «Он решительно дурной человек, — выразилась она⁵³, услышав дурной о себе отзыв Фридриха, — и не будь он королем, он прослыл бы за жулика, а кроме того, он никогда не ходит в церковь». Русская благочестивая царица была и наблюдательнее и правдивее английского историка.

А затем: почему же Бокль в своих нападках на военных XIX века лишь скользнул мимо Наполеона, не упомянув, об ученых и даровитых маршале Мармоне, генерале Клаузевице или о преобразователе России и одновременно же великом полководце Петре Великом⁵⁴. Да и вообще, если бы Бокль не был ослеплен собственным выводом об антагонизме, неужели он среди военных Европы не нашел бы таких, которые заявили себя в роли крупных писателей, философов, ученых и т. п.

Что касается до трех причин, вызвавших, по мнению Бокля, уменьшение любви к войне, как-то: изобретение пороха, открытия политической экономии и усовершенствование способов передвижения, — то первая из этих причин давно уже окончательно выветрилась, а вторые две еще теплятся в сознании экономистов, но в сильно измененном виде⁵⁵.

Но более всего высмеяла и обратила в ничто доводы и упования Бокля сама же история, его любимая специальность. Бокль умер 26 мая 1862 года, пережив Севастопольскую кампанию, разгар которой совпал с появлением первого тома его классического труда. В проистекавшей кровавой распре он усматривал некоторые утешительные для себя выводы. «Для характеристики современного общественного (It is highly characteristic) состояния, — писал Бокль, — в высшей степени важно, что мир беспримерно продолжительный (it unexampled

length)⁵⁶ прерван не так, как прежде, ссорой между двумя образованными народами, но нападением необразованной России на еще более необразованную Турцию». Значит, к основному своему убеждению, что «варварское занятие» (то есть война) быстро падает, Бокль присоединял еще другое: что время больших войн между цивилизованными нациями миновало.

Надежды Бокля оказались иллюзиями. Незадолго до его смерти образованная Франция напала на образованную Австрию, отняла у нее Ломбардию, отторгнув у своего союзника, объединяющейся Италии, две провинции, Савойю и Ниццу. Через два года после кончины Бокля пруссаки и австрийцы (тоже образованные) ворвались в Данию и отобрали Шлезвиг и Гольштейн. Два года спустя разразилась война 1866 года и железный канцлер высказал догмат, что великие вопросы должны решаться кровью и железом. Не прошло и четырех лет, и началась война 1870 года, началась под династическим предлогом, но обратилась в массовое столкновение двух народов... Словом, в течение пятнадцати лет после предсказания Бокля «об ослаблении воинского духа» Европа была театром четырех войн, из которых последняя по размерам опустошительного действия не уступает наполеоновским кампаниям, а по долговременности превосходит каждую из них, за исключением Испанской войны... В эти 15 лет не включена еще война Южных Штатов с Северными, в результате которой уничтожение рабства и укрепление целостности союза обошлось в миллион жизней и в несколько миллиардов долларов.

Если бы Боклю, говорит М. В. Аничков, суждено было достигнуть нормальных пределов человеческой жизни, то он, конечно, вынес бы много грустных разочарований. Его вера в умиротворяющую силу знания, быть может, поколебалась бы. Он увидел бы, что его несбывшееся предсказание — коллизия его учения с неумолимыми фактами — послужит видным аргументом против надежды на наступление поры вечного мира.

Нужно ли добавлять, что переживи Бокль минувшую мировую войну 1914 — 1918 годов, столь гигантскую по своим раз-

махам, по миллионам жертв и миллиардам золота, всколыхнувшую весь просвещенный мир народов и отозвавшуюся во всех углах земного шара, — он был бы придавлен тяжестью переживаемых разочарований и должен был бы радикально изменить свое сredo.

Упомяну, наконец, о взглядах на войну Спенсера и Джона Стюарта Милля как лиц, на которых так часто ссылаются и авторитет которых еще недавно был непоколебим. Взгляды Спенсера на войну примыкают к таковым же Бокля, но отличаются большей объективностью и осторожностью. В основной постановке вопроса он не самостоятелен. Первый социолог, подробно остановившийся на большом различии между «воинственными» и «коммерческими» народами, был Адам Фергюсон, выпустивший в 1767 году свой труд: «*Essay on the History of Civil Society*»⁵⁷. Сен-Симон сделал указанное различие одной из основ своей социологической системы, а Спенсер развил эту теорию далее⁵⁸. Он описывает, как в военной системе общества перевешивают и подавляют все остальное принуждение и интересы общего, в индустриальной или же мирной царит свобода, и индивиды следуют своим собственным интересам. Первый тип основывается на противоречии между народами и обуславливает его, второй есть продукт мира и нуждается в нем для своего процветания. Если индустриализм растет, границы между государствами, мешающие общению, разрушаются и выдвигается требование общего правительства⁵⁹. Чем более общество стремится к высшей хозяйственной деятельности, тем скорее оно должно перейти к индустриальному типу, гораздо легче приспособляющемуся к изменившимся условиям: постепенно тогда исчезают воинственные чувства и стремления, ставшие беспредметными, даже воинственный тип человека все меньше выступает вперед⁶⁰. Жестокость и насилие постепенно исчезают, независимость и самостоятельность индивидов увеличиваются.

Штейнмец⁶¹, анализируя эти мысли Спенсера, обвиняет философа в одностороннем индивидуализме, узком увлечении

современной фазой развития английского общества и в недостатке методизма; он замечает при этом, что та же самая Англия, успехами которой на пути чистого индустриализма так был увлечен Спенсер, лишь несколькими годами позже пережила вспышки джингоизма, захотела дорасти до «империи» и отгородиться от других стран.

Да и вообще Спенсер оказался, как и Бокль, плохим пророком. Политическое развитие Западной Европы, да и самой Англии в годы вооруженного мира приняло совсем не то направление, которое так улыбалось Спенсеру. Индивидуализм ослабел, государства менее сливались и даже ошетинились одно против другого, свободная торговля была ограничена, экономическая свобода потерпела стеснение, снова расширилась область принуждения. Власть общества над индивидом стала возрастать.

Да и в подробностях выводы Спенсера не оправдались. Идеально промышленная Америка показала себя лишь условно миролюбивой, так же как и остальные государства: пока это выгодно. Милитаристическая Германия оказалась солидным и даже опасным соперником Англии на всем поприще торговли и промышленности. Милитаристическая Япония развила сейчас же после войны столь же лихорадочную, как и продуктивную деятельность на поприще экономики. Словом, промышленные народы не так миролюбивы, как им приказывал Спенсер, а милитаристические народы экономически оказываются более деятельными и счастливыми, чем это им полагалось по теории социолога-философа.

Вообще Спенсер проглядел очень многое и слишком, как и Бокль, разделял опьянение своей эпохи образованием. На закате своих дней Спенсеру пришлось и лично убедиться в ошибочности своих посылок относительно войны и общественных соотношений, ею вызываемых; в одном из своих поздних трудов⁶² он говорит с естественной горечью «о все возрастающем проникновении в английскую жизнь военных идей, военных чувств, военной организации, военной дисцип-

лины». И Спенсер еще счастлив, что не дожил до мировой войны, которая окончательно похоронила бы все его пацифистские иллюзии, особенно же огорчила бы его старое философское сердце воинственно-упрямая, полная эгоизма и ослепления роль в этой войне его яко бы миролюбивой родины.

Милль касался войны мимоходом, более интересуясь экономическими последствиями войны; свою мысль он формулировал так: «Торговле, укрепляющей и размножающей личные интересы, естественно враждебные войне, мы обязаны тем, что война быстро у нас выходит из употребления»⁶³.

Как видим, мысли Спенсера и Милля сближаются с мыслями Бокля, Канта и др.; это одна и та же тенденция сопоставить военный и промышленный мир друг другу и сделать выводы о грядущем прекращении войны. Что военный и промышленный миры вообще враждебны друг другу, с этим еще можно согласиться: первый строит свои надежды, благополучие, успех, славу... на войне, второй скорее — на мире, но что второй мир, особенно если в него включить, что и нужно, также и купцов, враждебен войне или отказывается ее использовать, то фальшь этого положения пора уже вскрыть с полной убедительностью. Спенсер и Милль, наблюдавшие Англию после провозглашения принципа свободной торговли, по-своему, пожалуй, правы, считая торговлю провозвестницей мира, но уже Адам Смит не смотрел на купцов так розово и считал их источником разногласия и вражды между народами. Вот его слова по этому поводу: «Торговля, которая должна бы связывать, как народы, так и отдельные лица союзом и дружбою, стала неиссякаемым источником разногласия и вражды. Своенравное честолюбие государей и министров не было так пагубно для благоденствия Европы, как безрассудная зависть торговцев и промышленников. Насилие и несправедливость тех, кто управляет миром, составляют зло, которое идет испокон века и против которого природа людских деяний не дает надежды на верное средство. Но гнусная хищность, монопольный дух торговцев и промыш-

ленников, которые не владеют и должны владеть миром, хотя и составляют неисправимые, может быть, пороки, но не трудно воспрепятствовать, чтобы они не возмущали спокойствия кого бы то ни было, кроме тех, которые предаются им».

Прошрое столетие, да и новое лишь подтвердило дальновидность и глубину понимания великого шотландца. Да и тройка в лице Бокля, Спенсера и Милля, если бы она более внимательно смотрела вокруг себя и не забыла бы серьезно задуматься над судьбами Индии, английской жемчужины, едва ли при ее честности и искренности стала бы отстаивать мирные инстинкты торговых людей вообще, английских⁶⁴ в частности.

Недалекое от нас время грубо поколебало веру в миролюбие купцов. Южно-Африканская война, Боксерское восстание в Китае — разве они не продукты разгоревшихся купеческих appetitов? А наконец, недавно пережитая миром драма, называемая мировой войной 1914—1918 годов, — разве она не продиктована в глубине купеческими расчетами, слабо прикрытыми более расплывчатым термином империалистических интересов? Более этого и может быть, тяжелее этого: разве в этой борьбе не одолели английский и американский купцы в союзе с французским рантье немецко-австрийско-русских воинов?

Что же представляют в корне суждения о войне Адама Смита, Канта, Конта, Бокля, Спенсера, Милля, теперь поблекшие и растерявшие все свои красивые уборы? История их разбила вдребезги, а мировая война разнесла по ветру раздробленные остатки. Это было верование, подогреваемое чувством ужаса перед явлениями войны и верою, что когда-то этот бич человечества кончится. Но где этот путь, ведущий к храму вечного мира? Одни видели его в развитии земледелия, другие в улучшении международных отношений, третьи в развитии индустриализма, четвертые в просвещении и в усовершенствованных путях для сношение и т. д. И что же? Человечество дошло до высших ступеней во всех этих областях, якобы устраняющих войну, но, дошедши почти до ворот храма мира, люди вцепились в самую жестокую и длительную схватку и этой

схваткой выявили полную эфемерность и недостижимость упований тех хороших и умных людей, которые во многих областях человеческой мысли сказали свое вешнее слово, но мимо войны скользнули лишь добрым, но наивным благопожеланием.

Этим мы и кончаем вопрос о том, как понимали и мыслили войну крупные люди. Мы видели, что самые основные вопросы существа войны, то есть о том, естественна она или нет, а также отвечает ли она нравственным требованиям человечества или противоречит им, эти вопросы не нашли определенного ответа. Коллективное решение мыслителей, ученых и художников оказалось разрозненным и противоречивым, оно пошло по двум различным руслам и великому явлению в жизни народов не вынесло определенного приговора.

Так же и на более частный вопрос о том, долго ли будет продолжаться война, или она вечное явление, имеющее потухнуть с потуханием нашей планеты, голос людей ясно не ответил, что, правда, и нужно было ожидать при нерешительном ответе на вопрос о естественности войны.

Что касается до тех авторитетов, которых мы коснулись подробнее и к мощному голосу которых в свое время прислушивался весь мир, каковы Адам Смит, Кант, Бокль и др., то в их гаданиях о войне мы не нашли властных решений, наоборот, их мысли были верованиями людей, запуганных образом войны и ожидающих ее смерти с горячностью и фантазерством юношей. Ожидания были разные, но все они теперь историей высмеяны и брошены в Лету забвения. Только некоторые варианты этих упований, в области экономическо-государственных преобразований или грядущего трудового передела вселенной, еще сохранили свою сочность и силу и, может быть, так же, как и родственные им тенденции, ждут только своего исторического приговора.

ГЛАВА III

ВОЙНА

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Выявляя войну на историческом экране, некоторые писатели склонны начинать свой анализ слишком рано; им мало начать его с рассмотрения войн у современных дикарей или в доисторическом периоде, они готовы углубиться в геологические периоды или начать с анализа войны даже у животных. К последнему часто прибегают те, что хотят в войне видеть явление преимущественно биологическое. Нельзя спорить, что в существе войны есть элементы и биологические, но взять войну в целом и вместить ее в биологическую рамку не представляется ни возможным, ни целесообразным. Несомненно, в природе чувствуется⁶⁵ всемирный закон борьбы за существование, определяющий жизнь и развитие всего органического мира, и человеческие общества находятся под каким-то его воздействием, но также несомненно, что в то время, как весь органический мир, включая в него и человека, борется за существование, приспособляясь, подбираясь и преобразовываясь в этой борьбе, воюет только один человек.

Поэтому явлением войны в животном мире и разбором этого явления я заниматься не буду, отсылая интересующихся к соответствующей литературе⁶⁶. Мне хочется только оговорить, что среди воюющих животных наиболее интересными являются пчелы и муравьи, интересными по сложности, обстоятельности и специализации ведения войны. В мире, например, муравьев, если верить наблюдателям, вы можете натолкнуться

на методически веденную войну, хорошо организованную, говорящую чуть ли не о целом плане. Перед вами будут и каста воинов, специально приспособленная для борьбы, производящая маневры в мирное время и занимающаяся гимнастическими упражнениями, и отряды передовых разведчиков, исследующих неприятельскую позицию, и авангард, и главные силы, и сложный штат военных носильщиков... словом, многое из существенного, что вы видите перед собою в войне людей. Трудно только понять, кто же руководит у муравьев подобной войной, кто начинает и кончает ее — какой-либо муравей главнокомандующий или неуловимый и не выясненный еще источник социального самосохранения и самообеспечения.

Приступая к разбору, как война выясняется в истории народов, очень интересно и поучительно выяснить, какова могла быть роль войны на первых ступенях человеческой жизни при медленном и, вероятно, трудном восхождении человека от ступеней животного до форм разумных человеческих обществ.

Что человек воевал непрерывно в доисторические годы, об этом нам говорят антропологические изыскания⁶⁷ и тот сложный ассортимент оружия, который находится на всех углах мира, во всех глубинах, отложениях, наносах и т. п. и который свидетельствует, что человек вел непрерывно борьбу и с человеком, и с животными, и с силами природы. Где человек оставлял свой след, он неизменно оставлял два главных вида своей деятельности: орудия прокормления и орудия борьбы; то, что доставляло ему художественное удовлетворение, является элементом третьим, но сильно уступающим двум первым по площади распространения и по количеству.

Но какую роль — благотворную ли в смысле прогресса или отрицательную играла война на первых ступенях жизни человечества? Этот вопрос я изложу по Штейнмецу, о котором я уже говорил и который хотя и является в общем вопросе о войне значительно пристрастным, но в антропологическом его разветвлении его доводы заслуживают внимания.

Автор «Философии войны» подражает Спенсеру, который, приступая к описанию первобытной религии и первобытного социального строя, пытался прежде всего охарактеризовать интеллектуальную и эмоциональную сущность первобытного человека⁶⁸, чтобы он стал бойцом защищающимся и нападающим; а затем двумя другими, из этого вопроса вытекающими. Почему первобытный человек оказал сопротивление первым живым существам, на него нападающим, то есть животным, и как он сам стал нападать на людей и животных?

«Обладай человек, — говорит Штейнмец, — природой зайца или характером Толстого, он обратился бы в бегство или даже отдал бы себя на съедение⁶⁹. В последнем случае возможны были бы два следствия: или безжизненное малоаппетитное мясо его опротивело бы львам и гиенам и человек был бы пощажен, или же... людей давно не было бы на свете.

Есть еще третья возможность: характер людей изменился бы и они, допустим, обратились бы в бегство. Мы увидим, что в таком случае многого не случилось бы, что наполняет всю мировую историю. Какова же была природа человека, что он не отдал себя на съедение тигру и вместе с тем не уподобился зайцу?»

Поставив эти вопросы, Штейнмец находит, что инстинкт самосохранения для человека был неизбежен, но его одного было мало. «Была бы только самозащита от нападения диких животных. Не трудно усмотреть, что на развитие человечества такое поведение могло оказать весьма скромное влияние; отсутствовало даже состязание с животными. Человек не преследовал их, не старался отбить у них добычу, не боролся с ними за лучшее место. Далее тот, кто самого себя защищает, находится в более невыгодном положении, чем нападающий. Будь такова природа человека, он никогда не возвысился бы над животными, ему даже не удалось бы удержаться на земле, а пришлось бы вернуться на первобытное свое обиталище — деревья».

Эти соображения заставляют голландского ученого сделать вывод, что кроме пассивного инстинкта самосохранения и сме-

лости первобытный человек, чтобы стать агрессивным, должен был располагать некоторой, по меньшей мере, отрицательной жестокостью и все возрастающей жадностью.

И вот, обладая этими свойствами, человек мог вступить в непрерывную борьбу за свое существование, развивая в этой борьбе до высокого совершенства все задатки своей природы. «Наслаждение борьбой и победой не могло не привести к развитию свойств положительных, чтобы сделать человека все более устойчивым в борьбе. Питание агрессивного плотоядного человека становилось обильнее, голод все менее грозил ему, его здоровье и силы все возрастали. Человек становился способным помериться силами с все более и более сильными животными».

Но судьба не остановила человека на этой ступени, обещавшей ему достижения только высокого типа животного. Исключительно полезным для него оказалось то обстоятельство, что первобытный человек должен был вступить в борьбу не только с животными, но и с себе подобными, это расширяло рамки его совершенствования до неизменности. В борьбе, например, со львом человек должен был побеждать одностороннего мало способного к развитию льва, — это было узкое поле для совершенствования, и, только когда человек сталкивался с многосторонним богато одаренным человеком, они оба должны были развиваться далее.

Эта борьба с себе равными, закаляя и развивая человека, делала его еще более агрессивным и принудила его вступать в союзы, в целях как защиты, так и нападения; первым зародышем такого союза была семья.

Таким образом, уже до фазиса создания семьи и тесных (чаще всего родовых) союзов человек прошел торную дорогу развития благодаря двум своим качествам, на внешний вид, пожалуй, даже отрицательным, а именно жестокости и жадности. Эти особенности в связи со смелостью делали человека агрессивным, а агрессивность побудила к непрерывной войне с животными и себе подобными.

Отсюда ясно, что война, и главным образом война, подняла человека от той пропасти его состояния, на которой он (или его родоначальник), по мнению лучших авторитетов вопроса⁷⁰, находился в более или менее близкой родственной связи с человекообразными обезьянами, и довела его до организации союзов, до семьи и вместе с ними до одухотворенного человеческого образа. И не будет большой смелостью высказать тот, может быть, парадоксальный взгляд: не будь первобытный человек агрессивным и не веди он непрерывных войн с животными и с себе подобными, он не развился бы из своего животное-подобного состояния.

Было бы излишним подробно останавливаться на культурной роли начальных малых союзов, в которые собрался первобытный человек. Несомненно, что в пределах этих союзов процессом отбора, путем приспособления или путем упражнения человек выработал в себе зачатки родственных и нравственных тяготений, зародыши моральных обязательств и навыков, большую сумму человеческих чувств и инстинктов.

Но человек не мог остановиться на этих малых союзах. Та же присущая ему агрессивность в связи с гнетом условий борьбы повела его опять же путем войны к расширению небольшой первоначальной группы в более крупные союзы. Эта большая группа лишь уширила и, может быть, ускорила процесс духовной и физической переработки человека, распространяя его духовные навыки и чувства от узкого круга семьи или родственных на более мощную группу людей, объединенных в союз и связанных между собою уже более сложной гаммой обязательств и сотрудничества.

Уже организованный союз и наличие семьи ввели принцип разделения труда и, с этой стороны, оказали несомненную услугу делу духовного преуспеяния человека, но только рабство явилось тем большим поворотным пунктом в судьбе человечества, который мощно двинул вперед экономику древнего человечества, и его приходится рассматривать как одну из величайших воспитательных сил мировой истории.

Что рабство было непосредственным результатом войны, это едва ли требует пояснений. Уже Боссюэ слово «невольник» (eselave) по этимологическому его смыслу толковал, как означающее пленника, жизнь которого пощажена, то есть который не был съеден или принесен в жертву богам. Что война являлась первоисточником древнего рабства, об этом категорически говорил и Конт⁷¹; он же подчеркнул, что возможность появления рабов говорила о большом прогрессе в психике человека, который в пылу битвы мог уже сдерживать свои враждебные страсти (или свой аппетит) и даровать жизнь⁷² побежденному, полезную ему и семье.

Конечно, побуждением для такой пощады не были еще какие-либо такие чувства вроде жалости, сострадания или вообще человечности, а скорее чувства более дальновидного расчета или хозяйственных побуждений⁷³, но довольно было уже и того, что жизнь пленника была пощажена и тем была дана победителю производящая сила.

Второй вопрос, связанный с инстинктом рабства в древности, это вопрос о его огромной экономической роли. Конт, не один раз возвращается к этой теме, подчеркивая, что рабство в древности было радикально необходимым для экономики или что оно же давало единственный исход для экономического развития человечества. В Новейшее время этот вопрос подробно выяснил Нибур⁷⁴.

Как бы ни возмущалось ныне наше чувство при мысли о рабстве, но оно как экономический фактор древности очевидно до несомненности. Исследователи (Лебон, Ферреро) отмечают, что древнему человеку как современному дикарю глубоко свойственны лень и непривычка к постоянному и интенсивному труду, почему нужны были века культуры и борьбы, чтобы человечество в этом отношении получало необходимую тренировку и нужные навыки. Первобытные народы еще могли работать в мере нависающей необходимости — голод, нападение врага, наводнение, но они были почти не в силах работать про запас, свыше меры нужного и всеми силами старались уклониться от

всякой тяжелой работы, которая была не похожа на игру или забаву. И эта инертная беззаботность человека была немалым препятствием на пути его развития и грозила опасностью не продвижения человека дальше очень скромной линии совершенствования. Оставался один исход — переложить работу на плечи других, и война в лице пленных доставила большой людской материал для легкомысленно покинутого труда. Печально, но в историческом факте переложения обязательной работы на плечи рабов, женщин, животных, рабочих машин коренился огромный фактор экономического, а с ним и культурного преуспеяния человечества.

Но при посредстве института рабства не только значительно усиливалась плодотворность труда, но и были найдены новые пути, были открыты новые способы работы, а главное, было достигнуто новое и более плодотворное разделение и объединение труда. Благодаря последнему стали возможны высшая роскошь и комфорт, да и всякая высшая культура. В частности, когда тяжелая работа была взвалена на плечи рабов, освободившиеся от нее женщины стали пользоваться большим почетом, и у мужчин, по крайней мере знатных, явился досуг для более благородной работы⁷⁵.

Таковы некоторые последствия рабства, благоприятствовавшие культуре. Но не будь войны, не было бы и этих последствий.

Обрисованной нами картины влияния войны на судьбы и культуру первобытного человека достаточно, чтобы сделать тот вывод, что это влияние было благотворно; мало того, можно утверждать, что без войны и вытекающих из нее институтов человек никогда не сделал бы тех шагов, какие он сделал в действительности, а может быть, и совсем не поднялся из глубины своего полуживотного состояния. Этот вывод никогда не вызывал возражений, настолько он ясен сам по себе. Даже яркие враги войны находили в себе достаточно искренности, чтобы указать на ее культурную роль на заре жизни человечества.

Прежде чем перейти к рассмотрению роли войны в древних монархиях, остановлюсь на изложении ее проявлений и влияний в жизни современных дикарей и у народов доисторической грани. К сожалению, литература этого вопроса очень бедна или, точнее, не систематизирована⁷⁶, труд же Летурно, собравший много фактического материала, грешит двумя недостатками: 1) большим пристрастием автора, нервного пацифиста, и 2) его очевидной неподготовленностью в выяснении явлений, связанных с войной⁷⁷.

Нехорошо, когда о религии начнет рассуждать или атеист, или слишком религиозный человек, получается одинаковое пристрастие. Летурно слишком завзятый пацифист, чтобы он мог толково описать войну хотя бы у современных дикарей. Но придется пользоваться главным образом им, что для наших целей достаточно.

От анализа войны у современных дикарей мы не вправе ожидать того результата, который нам доставил чисто антропологический анализ состояния жизни первобытного человека, но наблюдение войны у дикарей даст нам свои не менее интересные наведения. По существу, это будет наблюдением стационарного состояния войны, состояния для данного момента жизни дикой группы, почему судить, что внесла война в эту жизнь хорошего и что дурного, в высокой степени трудно. Для этого надо было бы сравнивать разные группы дикарей, стоящие на разной степени развития, но и в этом случае было бы трудно выделить особенности, которые можно было бы ошибочно приписать влиянию войны, а не каких-либо других факторов. Сделаем те заключения из обзора войны у дикарей, которые напрашиваются сами собою и представляют для нашего предмета несомненную ценность.

Летурно рассматривает войну у дикарей на огромной площади земного шара, а также у древних народов Востока, у греков, у Рима и в Средние века до Крестовых походов. Дикарей он приводит колоссальный перечень, располагая для этого в качестве секретаря антропологического общества

и профессора антропологической школы и огромной начитанностью, и огромным книжным материалом. И при таком исчерпывающем материале автор только в одном случае натывается на небольшие группы эскимосов (у Берингова пролива), которые не только не владели никаким оружием, но которые никак не могли уразуметь, что такое война⁷⁸. Капитан Пэрри (Parry) упоминает о других эскимосах, не могших понять ранга и положения офицеров английского экипажа. А одно племя эскимосов, живущее в Гренландии, оказалось абсолютно взаимно равноправным, без старших и начальников.

Из этих трех примеров только первый может нас заинтересовать как выявляющий определенно факт чистого антимилитаристского состояния группы дикарей. Какое же заключение мы можем из этого сделать? А то, что на всем земном шаре война наблюдается у всех дикарей, что она существенно связана с судьбой диких племен земли, является их неотъемлемым спутником и что против такого вывода говорит только один-единственный случай эскимосов северо-востока Азии, да и то если Росс правильно понял этих дикарей, что по наблюдению Лебона не всегда географам удавалось. И конечно, Летурно только смешон, когда этот одинокий случай считает достаточным для доказательства, что состояние войны не свойственно человеческой природе, каковую претензию ему так часто приходится слышать (*ce fait suffit à prouver, que l'état de guerre n'est pas essentiel à la nature humaine, comme nous l'attendons si souvent prétendre*).

Какие же причины вызывают войну между дикими? Эти причины многочисленны, и их никак нельзя привести к какой-либо системе. Начиная от простой охоты на людей (острова Австралии или в центре Африки) в целях добычи себе пропитания, от потребности захватить женщин или чужой скот, проходя через серию других причин — суеверие (например, естественная смерть как результат колдовства соседей), голодовка, пререкания, кражи, провокация, честолюбие вождей — и кончая более государственной — защита прав

и доброго имени того или иного племени, — мы встречаем необыкновенно пестрый ассортимент причин. Их нельзя объединить под типом чего-либо порочного, нельзя жадность или потребность своровать назвать главнейшей из причин, но нельзя на эти причины набросить и общий покров благодетельства.

Например, у краснокожих, каковы гуроны и ирокезы, жадность или любовь к воровству никогда не фигурируют в качестве причин, вызывающих войну; во время своих экспедиций они не искали добычи и даже не прикасались к одежде мертвых. Из похода они приносили некоторые предметы, но как трофеи и охотно отдавали их тем из своих товарищей, которым эти трофеи приходились по сердцу. Что же было причиной войн? Оскорбление вождя (или племени, или женщины), нарушение неприкосновенности территории, страсть к военным экспедициям (охота за скальпами) и т. д. Во всем этом вы видите хотя нечто дикое и примитивное, но не лишенное государственного и спортивного колорита.

Другую картину представляет перечень причин войн у чернокожих Африки. Очень часто одно племя нападало на другое, чтобы использовать побежденных в качестве пищи, и притом проделывало все те же манипуляции с тем же оружием, как при охоте на животных. Убивалось и съедалось не все, сохранялись женщины, особенно молодые, чтобы согреть ложе победителя. В иных углах Африки пленных не ели, а делали из них пленников для домашнего труда или для продажи, и захват этого трудового материала являлся наиболее частой причиной войны. Среди тех дикарей, где имелись зачатки культуры и приручения животных, войны велись для захвата накопленного добра или домашнего скота. Словом, среди черных Африки — таковы же многие из жителей островов Индийского океана — причины войн примитивно грубы и узко-животны. Вождь австралийцев Ра-Ундри-Ундри вокруг своей хижины в течение своей королевской жизни собрал 900 камней, по числу съеденных им людей; по свидетельству сына Ра-Вату, отец съел их всех сам и ни с кем не поделился... все это были жертвы войны.

Как начинались войны? И на этот вопрос книга Летурно дает разнообразные ответы, но сложная совокупность способов может быть сведена к двум главным типам: или войны начинались без предупреждения, замаскированно, животным наскоком тигра, или началу их предшествовали объявления, предъявление конечных требований, что-то вроде ультиматума. И при этом нельзя сказать, что какая-либо из этих форм объявления войны соответствовала более высокому или более низкому типу дикарей; скорее можно было какую-либо из форм связывать с расовыми особенностями группы, с наличием в ее характере приращков горделивого и нравственного порядка или большей примеси низменного, хитро-животного, жадного.

Среди дикарей Африки или жителей островов Индийского океана, как правило, войны не объявлялись, успех часто строился на внезапности, группа нападала на другую, подстерегая ее, как животных. Нельзя ли этот способ, лишенный всякого благородства, связать с расовой особенностью черных племен, не имеющих надежды на высокую культуру? Правда, такие же способы нападения внезапно, невзначай мы находили у семитических народов, но в этом случае это скорее является исключением, чем правилом. С другой стороны, очень часто, пожалуй, чаще, чем противоположные, встречаются образцы предвещения соседа о войне, сопровождаемые ритуалом, торжественной обстановкой, назначением сроков. Великие народы, создавшие потом длинную историю, на заре ее всегда начинали войну благородно. Мы знаем фразу Святослава: «Иду на вы». Рим в первые, розовые годы своей истории никогда не начинал войны без предварительного объявления и даже без известной церемонии бросания дротика на территорию будущего врага⁷⁹. Потом, с годами ослабления своей силы, Рим иногда забыл благородную манеру своей юности и иногда склонялся к лукавой мысли подпереть свою дряхлеющую силу лукавством.

Древние мексиканцы никогда не начинали войны внезапно⁸⁰. Наоборот, они предварительно предлагали противнику покориться, давали срок в 20 дней, обрисовывали ужасы войны

и т.д. Если все уговоры не действовали, то за ними следовало торжественное объявление войны, сопровождаемое подарками, и в этом случае малейшее оскорбление или отказ от условий знаменовали собою начало военных действий.

Благородно и красиво объявляли войну некоторые краснокожие Америки. Кабилы строго блюли обычай не открывать огня без предуведомления противника.

У одного из племен австралийских, очень дикого и примитивного, наблюдалась манера не только предупреждать о начале войны, но выработывался ряд предварительных условий: день битвы назначался за несколько недель вперед, определялось число бойцов с каждой стороны, состав вооружения, чуть ли не манера боя⁸¹. Это племя, правда, было одиноким и было окружено другими, которые воевали и на манер хищного животного, практиковали антропофагию и были вообще очень жестоки, но оригинальная манера вести войну и начинать ее заслуживает упоминания⁸².

Как протекали войны? Внимательный и подробный осмотр процесса войны, если бы это нам позволяло время, выявил бы многие зародышные формы будущих стратегий и тактик. Такой угол исследования может дать богатую тему для людей, увлекающихся колыбелью человеческих учреждений; вообще нам достаточно подчеркнуть наиболее типичные формы, которые отчасти могут пригодиться и для нашего последующего изложения.

В военной экспедиции всегда бывает определенный ее начальник, это будет или король, или лицо, им назначенное, или, наконец, человек, выбранный (или сам себя выбравший) на время войны. В случае короля или лица, им выбранного, руководящие причины назначения довольно тусклы, но в случае временного захвата власти или выбора на время войны в лице вождя выявлялся чаще всего человек опытный, авторитетный, привыкший начальствовать, требовательный, часто жестокий. Как правило, власть вождя была не ограничена, но только на время войны, до нее это мог быть человек общего круга, а после

нее он становился на старое положение. Этот вождь носил особенности или в своем костюме, или в характере своих украшений, изобличавшие его высокий ранг, его власть и выделявшие его среди подчиненных.

Такие выбранные или самозванные вожди с особенным париком на голове — или со сложным плюмажем, или с особым кольцом в носу, или с причудливо разукрашенным телом — фигурируют в очень многих диких группах, и власть их на полях битвы обычно полная. То же самое мы наблюдаем у отдаленных предков Европы. Вожди у Гомера только на полях сражения располагают жизнью и смертью людей своего отряда⁸³. В Риме диктатор в дни войны облакался полнотою власти и возвращался к своему плугу или огороду, когда кончалась его задача. Вождь скандинавов⁸⁴ (Sackong, король моря) был вождем только в период морской экспедиции и с концом ее становился в ряды обычных воинов. Воле его повиновались с самоотвержением, потому что он признавался храбрейшим из храбрых; он никогда не спал под дощатой кровлей, не пивал чаши перед очагом, прикрытым постройкой. Таких примеров много. Они говорят одно, что власть вождя на войне у дикарей или у древних народов понималась как нечто исключительное, квалифицированное, отходящее от условий мирной жизни. Принцип военного единовластия и полновластия чувствовался народами очень рано как нечто безусловное.

Что касается до подробностей войны, то мы, несомненно, можем на их пестром фоне найти зародыши тактики, стратегии, артиллерии, фортификации и т. п. Летурно в этом роде мало замечал, но это надо объяснить его неподготовленностью к таким наблюдениям. Но и у него мы можем найти попытки организовать походное движение, применение разведки ближней и дальней⁸⁵, управление боем посредством свистков (для атаки) или сигналов (для отхода), укрепление населенных пунктов с особой цитаделью внутри, применение и метательного оружия разнообразнейших типов и т. д. В одном случае Летурно упоминает, например, как у краснокожих протекало на-

чало боя⁸⁶. Отряд при первом натиске открывал огонь из ружей или пускал тучи стрел, а затем, взявши в руки топоры (томагавки) или надев кастеты, шел в рукопашную⁸⁷. Если вспомнить, что римские легионеры сначала метали дротики, а затем брались за мечи, что попытка потрясти врага огнем (современная артиллерийская подготовка), а затем переход в атаку составляет особенности современного боя, то надо согласиться с тем, что природа боя от начала веков остается глубоко неизменной, хотя подробности его хода, обуславливаемые техникой и обстановкой, претерпевали большие изменения и колебания⁸⁸.

Повторяю, очень жаль, что Летурно слишком не любил войну и мало знал ее, ибо это помешало ему наблюсти многое в областях первобытной тактики народов.

Как кончались войны? Обыкновенно полным разгромом врага и уничтожением всяческих средств его существования. В этом отношении природа первобытных войн существенно отличается от современных, первые стремились к одолению и потом — уничтожению врага, а последние только к одолению его воли для достижения поставленных политических задач. Летурно с исключительной, часто совсем ненужной подробностью останавливается на картинах невероятной жестокости и истребления, которые были свойственны древним народам и современным дикарям. «Военная история евреев, — говорит он, например, — представляет из себя историю народа жестокого, жадного и фанатичного в одно и то же время». «Ассирийские монархи — коронованные тигры». «В Багдаде он (Тимур. — А. Н.) приказал возвести пирамиду, и на нее пошло 90 тысяч людских черепов» и т. д. Конечно, все это безнадежно преувеличено и притом часто взято из очень сомнительных источников, но дело не в этом. Войны древности и дикарей были, несомненно, жестоки и разрушительны, но также несомненно, что подобные приемы подсказывались какими-то государственными соображениями, теперь для нас утерянными. Нам теперь не ясна ни эта жестокая мудрость, ни эта кровавая прямолинейность, какими отмечены далекие войны, и потому, переводя

все в плоскость нашей слишком впечатлительной восприимчивости, мы все это осуждаем. Но не похожи ли мы на людей, которые стали бы осуждать ампутирующего ногу больному хирурга только потому, что он отрезает почему-то нужную часть человеческого тела.

Внимательное и подробное изучение, например, походов Чингиса и Тимура⁸⁹ прежде всего отбрасывает массу неудачно надуманных свирепостей⁹⁰, будто бы совершенных этими большими полководцами, а во-вторых, выявляет неизбежный смысл некоторых из этих жестоких актов; например, хотя бы того классического по своей полноте — до вспахивания плугом площади прежнего города — разрушения и истребления Герата, которое было совершено по приказу Чингиса в дни его операций в Индии⁹¹.

Разбираясь в жестоких актах военной древности и дикарства, мы не должны отказать им в некоторой доле государственности. Если взвесить дикость нравов того времени, неукротимую жестокость человека, полную ненадежность его заверений, невероятную слабость центральной власти, которая не могла ни за что ручаться, то очень часто единственной гарантией обеспечения мира, купленного ценою победы, могло быть полное истребление народа или, по крайней мере, ограничение его размножения. Древние знали и глубоко должны были чувствовать роковой смысл пословицы «недуробленный лес вырастает». Отсюда перед нами или картины поголовного истребления народа, сопровождаемого иногда актом массовых переселений в другие страны. Например, при взятии Титом Рима, по словам историка Иосифа Флавия⁹², погибло в бою и казнено после боя 1 100 000, а остаток в 90 000 человек был продан в рабство. Тимур, завоевав Сеистан, приказал истребить все население, а чтобы лишить остатки такового возможности жить, велел сверх того разрушить плотину на Гельменде... Цветущая некогда страна на много столетий превратилась в пустыню. Или принимались решительные меры, чтобы надолго задержать рост населения, и к таким мерам относились пого-

ловное истребление мужского населения, разрушение существенных источников пропитания вроде Сеистанской плотины, явление фаллотомирования⁹³ и т. п.

О последнем, столь кровавом и для нашего мирозерцания глубоко возмутительном акте скажу несколько слов. На стенах Карнака⁹⁴, от времен победы фараона Менефта (XIX династия около 1300 до Р.Х.) над либийцами и среднеазиатами, сохранился следующий суровый подсчет кровавой добычи победителя:

| | |
|---|-------|
| Либийских генералов убитых, фаллосы отрезаны и доставлены | 6 |
| Либийцы убитые, фаллосы отрезаны | 6359 |
| Сикулы, фаллосы отрезаны | 222 |
| Этрусски | 542 |
| Сардинцы | (...) |
| Ахейцы, фаллосы принесены фараону | 6111 |

Барельефы и надписи в Фивах, восхваляющие успехи Рамзеса II над азиатами, изображают писцов, считающих и записывающих правые руки и отрезанные фаллосы. Надпись указывает, что пленных была тысяча, а фаллосов 3 тысячи. На другом рисунке исчисление рук и фаллосов дает сумму в 2525⁹⁵.

Несомненно, фаллотомирование имело место и у евреев, судя по одному стиху Второй книги царств⁹⁶ или судя по договору царя Саула с Давидом, в котором царь предлагал Давиду в жены дочь свою Микаль за доставление ста филистимлянских фаллосов⁹⁷.

Одна из од Тиртея намекает, что этот кровавый обычай практиковался и в Древней Греции, по крайней мере в Спарте.

Наконец, интересный пережиток этого обычая наблюдался еще в кровавых расправах Средних веков. Например, в 1402 году в Шотландии, после поражения Мортимера, женщины бегали по полю битвы, фаллотомирова трупы⁹⁸.

Как известно, абиссинцы через многие тысячи лет донесли этот обычай до наших дней.

Что мы можем сказать теперь по поводу этого жестокого суда над побежденным? Он ужасен, и человечество его изжило окончательно, но в далекие дни он не был только актом злого мщения или чистой жестокости, в нем, несомненно, лежала мысль возможно полного ослабления врага в целях долгого обеспечения страны от внешних угроз. Недаром кровавый подарок приносился самому фараону, и исполнение сурового акта контролировалось им лично. И подобная, хотя бы кровавая, государственность указывает нам путь более спокойного разума даже самого жестокого из институтов древней войны и тем избавляет от ненужных сентиментальностей, не выясняющих, не помогающих делу.

Во всяком случае, войны древних и дикарей были жестоки и всеокрушающи и в этом отношении далеко не похожи на современные войны. Что они создавали царства, на то мы имеем много примеров, но что они их разрушали в еще большем количестве, об этом история говорит скупно, особенно о тех десятках и сотнях мелких государственных телец, которые от нас отодвинуты на слишком далекие тысячи лет и не уловлены историей, столь слепой на мелочи.

Таким образом, благодаря ли жестокости или разрушительному размаху, это не важно, но война далеких дней нашей истории или войны дикарей являются первопричиной созидания или разрушения государств, эта их крупная роль выявляется с полной очевидностью.

Эти же войны, несомненно, вызывали большие потери жизней человеческих, чем современные, относительно всегда... Вообще закон последовательного уменьшения в войнах человеческих жертв можно считать достаточно установленным. Как ни кровавы были Канны⁹⁹ или Каталаунские поля¹⁰⁰, но они, конечно, меркнут¹⁰¹ перед древними битвами, влекшими не только поголовное истребление людей на полях сражения, но и последующее истребление во всей стране всего живущего. А так называемые кровавые поля наших дней вроде Цорндорфа, Пресиш-Эйлау, Бородино, Верта, первой Плевны или

Мукдена¹⁰² являются просто-напросто детскими, малодушными играми.

Но, возвращаясь к жесткости древних войн или войн дикарей, кроме уловленной нами в этой жестокости государственности, мы должны подчеркнуть и другие элементы. Жестокость и суровость войны являлись врожденными ей особенностями, они вплетались в ее существо как нечто неотъемлемое. Люди считали, что война и все, с нею связанное, должно быть жестоким и иным быть не может. К этой жестокости все были готовы, к ней воспитывались. Вспомним, как сурово было воспитание в Спарте, где все физически убогое бросалось со скалы, а крепкое поколение подвергалось суровому воспитательному режиму¹⁰³: на войне шуток не предвиделось. Нечто подобное наблюдалось у краснокожих, где приучение к страданиям, терпению и голоду, к выношению боли было одним из крупных параграфов воспитательной системы, матери стыдились во время родов испустить стон из опасения родить труса¹⁰⁴. И на войне жестокости никого не удивляли и устрашали очень немногих. Пленник не должен был обнаруживать ни уныния, ни слабости, хотя бы он переносил целый ряд страданий и пыток. «Мстить, — говорили индейцы по этому поводу, — можно лишь путем медленной пытки. Если бы на войне приходилось бояться только одной смерти, то и женщины так же хорошо воевали бы, как мужчины»¹⁰⁵.

Конечно, иногда суровый жребий ожидал пленных не тотчас же после пленения. У дикарей Бразилии с пленными сначала обходились с полнейшим вниманием: кормили их до отвала, давали им женщин для наслаждения, но приходил их час, и после пыток их разрезали и съедали. И в момент пыток жертвы издевались над победителями, пели боевые песни или песни смерти, грозили мстостью и не обнаруживали ни стоны, ни жалобы. Если случайно затесавшийся белый падал духом и молил о пощаде, то это вызывало чувство негодования у всех присутствующих победителей и побежденных. Такого труса убивал тотчас же ближайший из победителей со словами: «Прочь, ты не достоин умереть почетно, в хорошей компании»¹⁰⁶.

Итак, войны древних и дикарей были разрушительны и жестоки, но в этих их особенностях, столь нам теперь чуждых, можно увидеть некоторую долю смысла в форме своеобразно понимаемой государственности и еще более своеобразного военного мирозерцания.

Нужно отметить, что на фоне приведенной жестокости древних войн и очень уже рано история наблюдает проблески облагораживания и смягчения суровых форм, те проблески, которые позднее находят свое дополнение и развитие в различных теориях военного права. Например, согласно Плутарху, у спартанцев признавалось актом недостойным ни доброго сердца, ни благородной и великодушной нации, какова греческая, убивать тех, кто были расстроены, обратились в бегство, потеряли уже всякую надежду на победу¹⁰⁷.

В индусском сборнике законов Ману, хотя и созданном в IV и V веках по Р.Х., но существом своего содержания являющимся очень древним источником, приводится ряд правил, поражающих своей гуманностью. «Воин, — говорит один из параграфов¹⁰⁸, — не должен убивать того, кто просит о пощаде, кто с мольбой протягивает руки, кто сам отдается ему во власть, говоря “я твой пленник”, ни безоружного, ни обнаженного, ни раненого, ни бегущего». Другими правилами воспрещается употребление яда и отравленного оружия.

Фукидид¹⁰⁹, один из наиболее ранних мыслителей, осудил убийство врага, безоружного и умоляющего о пощаде.

После него подобные же мысли мы находим у многих: у Диодора Сицилийского, Цицерона, Тита Ливия, Тацита и др.

Таким образом, анализируя войны у современных дикарей или у народов доисторической грани, мы можем сделать ряд интересных для последующих выводов: совершенно несомненен факт, что война свойственна всем дикарям, а также, по-видимому, и всем древним народам, представляющим в этом отношении большую с дикарями аналогию. Единственное исключение — эскимосы северо-востока Азии — лишь подтверждает правило. Значит, война глубоко свойственна человеку на пер-

вичных ступенях его развития, постоянная, незаменимая его спутница.

К добру или злу ведет это постоянное сопутствование, разбор явлений у дикарей обнаружить не мог, как это и предвиделось при начале анализа. Войны как у дикарей, так и у древних народов отличаются решительностью своего размаха, большой разрушительностью и жестокостью. Но, как мы видели, это не была жестокость или мстительность без разумности, во имя одной лишь дикости и разгула, а в основе ее лежали некоторые государственные расчеты, вытекавшие из осмотрительного анализа хищной неукротимой природы человека и неурегулированной государственности, всегда грозной и мстительной для всякой соседней страны. Обеспечение мира в старые или нынешние дикие времена не приобреталось международным актом с печатью и подписями или ценой торжественных уверений, а лишь путем предельного ослабления врага, а еще надежнее — путем полного его исчезновения, а такие перспективы могли быть нарисованы не нежными масляными красками, а только густою и обильною кровью.

Кроме того, та же жестокость и крутость расправы на войне отвечали духу эпохи, царившему тогда мировоззрению, крепким нервам и спокойной впечатлительности прочного и глыбообразного полудикого человека — смерть не была страшной, а скорее отрадной и спокойно ожидаемой, страдания же были не страшнее смерти.

В итогах войны фигурировали воскресение или исчезновение царств, а для отдельных людей смерть или рабство, и что предпочтительнее, сказать было трудно. Война была грозна и проста, к этому привыкали, с этим мирились, и в этом духе вырабатывалось людьми своеобразное полуфаталистическое, полугеройское мирозерцание.

Наконец, войны дикарей и древних были сильны своим размахом и большими результатами и своим влиянием на судьбы государств, они разрушали старые, одряхлевшие государства и вводили в храм истории юные. Эта творческая или губящая

роль войн была отчасти результатом их жестокости и разрушительности, но еще более результатом присущего этим войнам жизненного импульса чувства исторической правды, инстинкта углубленной правомерности. Войны являлись судьями, карающими царства, виновные перед историей, и награждающими тех, что поработали перед нею; они расчищали дорогу для свежих народов, полных силы и творчества, и вели их на вершину славы, увы, по трупам народов, павших жертвою старости и пороков¹¹⁰.

Что касается до других более частных выводов, какие нами получены при анализе войны у дикарей и древних, то эти выводы более интересны для стратегии или тактики и только отчасти для философии войны. Эти выводы показали нам в зародыше те нормы и порядки, которые потом стали достоянием стратегии, тактики и других военных наук и были предметом мучительного и долгого творчества народов и полководцев. Так, мы видели образцы организации военной власти с ее неотъемлемыми атрибутами, те или другие тактические приемы до боя, построюку и взятие укрепленных пунктов, ведение самого боя. Как ни примитивны и ни наивны эти формы, но в их содержании чувствуется принципиальная сторона, проходящая затем вечным зерном через все последующие тактические формы до битвы у Вердена включительно. И вечность тактических принципов, столь часто оспариваемая и еще чаще не понимаемая, лучше всего выясняется на простых до ребячества и наивных до ясности формах ведения войны, какие приходится наблюдать у дикарей или древних народов. Историк тактики или преподающему ее доставит много интересного и поучительного пестрый ландшафт примитивного войноведения у дикарей и древних.

Теперь мы можем продолжить наш исторический анализ рассмотрения войны, начатый с антропологического этюда и прерванный разбором войны у современных дикарей и древних народов.

Свой антропологический этюд мы довели до того момента в развитии человечества, когда оно подошло к созданию больших союзов и государств.

На заре общей истории народов мы находили четыре «всемирные монархии»: Ассиро-Вавилонскую, царство Кира и Ахеменидов, Македонскую и Римскую. Мы берем эти монархии как типичные, наиболее яркие и наиболее выясненные. Сравнивая их в их преемственности, мы находим постепенное расширение их внешнего объема и постепенное упрочение и совершенствование их внутренних основ. Ассиро-Вавилонское царство, творение «коронованных тигров», по выражению Летурно, не выходило из пределов Передней Азии, поддерживалось бесправными опустошительными и крайне жестокими походами и законодательствовало лишь жестокими и узкими военными приказами. Царство Кира и Ахеменидов присоединило к Передней Азии значительную часть Средней и, с другой стороны, распространилось на Египет; изнутри оно опиралось на светлую религию Ормузда, узаконивавшую нравственность и правосудие, и по отношению к подвластным народам оно проводило более терпимые и примирительные основания. Монархия Александра Македонского и его преемников впервые исторический Восток соединяет с историческим Западом, и обе эти культуры монархия спаивает не только силою меча, но также идейными началами эллинской образованности. Наконец, Рим расширяет монархическое единство до Атлантического океана и вместе с тем дает монархии крепкое политическое средоточие и твердую правовую форму.

Но во всем этом миротворящем и просветительном прогрессе война являлась постоянным непрерывным средством и вооруженные силы — необходимой опорой. Можно сказать более: без войны не было бы этих огромных государственных организаций и без войны не было бы конца для тех из них, которые, изжив свою культурную и миротворящую миссию, делались ненужным и вредным балластом в общекультурном росте народов.

Но и помимо этой культурной, последовательно умиряющейся роли монархий само наличие большого государства, созданного войною, знаменовало собою в истории народов несо-

мненное движение вперед. Без государства был бы невозможен культурный прогресс человечества, основанный на сложном сотрудничестве многих сил. Такое сотрудничество в сколько-нибудь широких размерах было недостижимо для разрозненных родов, находившихся в постоянной, кровавой вражде между собою. В государстве являются впервые солидарно действующие человеческие массы. Война уже удалена внутри этих масс и перенесена на более широкую окружность государства. Если в родовом быту все (взрослые мужчины) всегда находятся под оружием, то в государстве воины или составляют особую касту, или профессию, или, наконец, военная служба (при всеобщей повинности) составляет лишь временное занятие граждан.

Организация войны в государстве есть первый шаг, великий шаг на пути к осуществлению мира. Особенно это ясно в истории обширных завоевательных держав, какова приведена выше. Каждое завоевание здесь было одновременно расширением мира, то есть расширением того круга, внутри которого война переставала быть нормальным явлением и становилась лишь преступным междоусобием, то есть редкую предосудительную случайностью.

И эта идея мира, несомненно, хотя, может быть, и полусознательно, чувствовалась в основном стремлении всемирных монархов дать мир земле, покорив все народы одной общей власти. Недаром величайшая из этих завоевательных держав, Римская империя, прямо называла себя миром — *Pax romana*.

Открытые в XIX веке надписи ассирийских и персидских царей говорят нам не об одних победах и потоках крови, пролитой победителями; они также не оставляют сомнения, что эти суровые завоеватели считали своим настоящим призванием покорять все народы для установления мирного порядка¹¹¹ на земле, хотя представления их об этой задаче и о средствах ее выполнения бывали обыкновенно слишком просты и подчас очень не мирны.

Более сложными и плодотворными оказались всемирно-исторические замыслы Македонской монархии, опиравшейся на

высшую силу эллинской образованности, глубоко и прочно проникшей в покоренный восточный мир¹¹². Следы этого влияния можно наблюдать во всей Средней Азии даже и в наши дни.

Но более полной ясности идея всеобщего и вечного мира достигает у римлян, твердо веривших в свое призвание покорить вселенную под власть одного закона. Вергилий в «Энеиде» неоднократно возвращается к этой идее, выражая ее вдохновенными и красивыми строфами¹¹³.

На фоне древнего мира с особой наглядностью выявлялось, что война сильнее всего объединяет внутренние силы каждого из воюющих государств или союзов и вместе с тем служит условием для последующего сближения между самими противниками. Это, например, ясно выступает в истории Эллады. Она всеми своими городами и общинами три раза соединялась для общего дела и все три раза вела войну — Троянская война в начале, Персидские войны в середине и поход Александра Македонского. И вот каковы результаты этих наиболее крупных войн Эллады.

Троянская война утвердила греческий элемент в Малой Азии, где он затем, питаясь другими культурными стихиями, достиг своего первого расцвета в поэзии Гомера и в древнейших школах философии (Фалес из Милета, Гераклит из Эфеса). Подъем соединенных народных сил в борьбе с персами вызвал второй, еще более богатый расцвет духовного творчества (расцвет литературы: Софокл, Еврипид, Аристофан, скульптуры — Фидий, философы — Сократ, Платон, Аристотель). А завоевания Александра, бросив эти созревшие семена эллинизма на древнюю почву культурной Азии и Египта, произвели тот великий, эллино-восточный синтез религиозно-философских идей, который вместе с последующим римским государственным объединением составил необходимое историческое условие для распространения христианства.

Без греческого языка¹¹⁴ и греческих понятий, так же как без «римского мира» и римских военных дорог, дело евангельской проповеди не могло бы совершиться так быстро и в таких

размерах. А греческие слова и понятия стали общим достоянием только благодаря воинственному Александру и его полководцам; и Рах готапа был достигнут многими веками войны, его охраняли легионы, и для этих легионов строились те дороги, по которым прошли апостолы. Обширная площадь возвещения христианства была только тем широким кругом, который очертило вокруг Рима его кровавое железо.

Таким образом, войны и только войны создали когда-то четыре последовательные всемирные монархии, которые заключали в себе цепь начал, помогавших культурному росту народов и которые войною же пролагали дальнейшие пути человеческого преуспеяния и общей культуры. Путем же войн на фоне этих монархий создавалась более широкая связь народов, намечались горизонты грядущего мира и выковывалась огромная площадь, в пределах которой затем были слова Евангельского благовеста.

Но кроме того, военная история древности представляет нам важный прогресс в сторону мира еще и в другом отношении. Не только посредством войн достигались мирные цели; с дальнейшим ходом истории для достижения этих целей требовалось все меньше и меньше действующих военных сил, тогда как мирные результаты становились, напротив, все обширнее и обширнее.

Для взятия Трои нужно было почти поголовное ополчение греков в течение года, между тем как для завоевания Александром Востока и выполнения при этом огромной культурной миссии потребовался лишь трехлетний поход пятидесятитысячного отряда... правда, руководимого военным гением. Персидская монархия, которой миллионные полчища не могли обеспечить военных успехов в борьбе с маленькой Грецией, едва продержалась под защитой таких сил два столетия, а римская держава, в три раза более обширная и заключающая в себе не менее 200 миллионов населения, для охранения своих необъятных границ держала под ружьем не более 40 легионов¹¹⁵, около 41 тысячи действительного состава каждый, то есть не

более 160—200 тыс., и продержалась втрое больше, чем царство Дария и Ксеркса. И как неизмеримо выше были для человечества те блага культуры, которые охранялись этими многочисленными легионами, сравнительно с тем, ради чего собирались несметные полчища царя царей.

Говоря в подробностях, можно отметить, что даже прогресс военного дела, представляемый преимуществами македонской фаланги и римского легиона над персидскими полчищами и знаменующий собою перевес качества над количеством и формы над материей, был вместе с тем великим прогрессом нравственно-общественным.

Роль войны в создании четырех всемирных монархий и культурная роль последних нами изложена по В. Соловьеву, историческая осведомленность которого и философский кругозор не подлежат сомнению; нельзя также подозревать покойного философа в том, что он готов петь дифирамбы войне и стать ее сторонником. Кроме того, его точка зрения более или менее разделяется и проводится наиболее крупными историками, каковы Гиббон, Моммзен, Нибур, Курциус, Белох и др., у нас Грановский.

Но конечно, встречаются и исключения в этом совпадающем хоре мнений. Так, Ферреро¹¹⁶, враг войны и большой парадоксалист, дает резко отрицательное объяснение возникновению восточных монархий и Рима. Относительно последнего Ферреро¹¹⁷ говорит, что, кроме тщеславия и энергии, Рим не может научить человека никакой добродетели, ни характеру, ни любви к справедливости, ни служению идеалу. Этот упрек в корне может быть опротестован, так как едва ли у какого другого народа, как не римского, последующие поколения Европы очень много восприняли и высоких образчиков характера и не менее высоких примеров служения идеалу¹¹⁸. Как странно подобное презрение к Риму итальянского социалиста сопоставить с увлечением его же Юлием Цезарем¹¹⁹, который представляет из себя воплощение и римских достоинств, и римских недостатков, является великим и наиболее типичным сыном Рима.

Ферреро вообще историк плохой, и его, например, параллель между Наполеоном и Атилой только говорит о полном непонимании слов Приска, а его исторические экскурсы в наш отечественный год войны поражают массой ни на чем не основанного фантазирования.

Перейдем к рассмотрению роли войны в Средние века. Нужно сказать, что Средние века являются наименее благодатной почвой для всякого обобщенного изложения. Будете ли вы рассматривать историю какой-либо науки за время этого сложного и спутанного тысячелетия, попытаете ли выяснить преемственность тех или иных идей, вы одинаково встречаетесь с большими затруднениями. В целом Средние века трудно уловимы для общего освещения, хотя отдельные периоды или некоторые эпохи допускают очень связанное и исчерпывающее изложение, таковы, например, Крестовые походы или история арабских завоеваний.

Войны в Средние века велись непрерывно, почему и закон непрерывности войн находит себе в периоды Средних веков не возражение, а только новое подтверждение. У А. С. Лазинского в его хронологии¹²⁰ в перечне войн Средних времен (476—1453) мы находим упомянутыми 651 войну, то есть на 10 лет приходилось почти 7 войн. Войны были вообще кратковременны, но годовых войн было немного, а с другой стороны, были войны, длившиеся по двадцати лет, например Двадцатилетняя война между Данией и Норвегией (1288—1308), войны Сербии и Венгрии с Мурадом II (1428—1448) или войны Иоанна II в Испании (1430—1452). Были войны почти столетние, как, например, христиан с сарацинами в Испании (1309—1394). Если высчитать общую длительность войн в Средние века, то получится огромная сумма годов, в течение которых народы Средних веков пребывали в состоянии войны.

Нельзя, конечно, признать какую-либо научность за таким приемом подсчета, но его наглядность несомненна и поучительна: народы Средних веков воевали упорно и непрерывно. А это говорит, что к войне государства и народности прибе-

гали как к жизненному и надежному средству и в искании своих путей и прав чаще всего руководились войною, а не другими средствами.

По этому поводу можно было бы много говорить о дикости или отсталости народов, об их даже суеверии, о взаимном отчуждении отдельных народностей и т. д., но Средние века прошли так, как они прошли, и запоздалые сетования или упреки в умерших народах не найдут ни отклика, ни возражений. Перед нами только незыблемый факт непрерывности войн и их большой жестокости как фактора в жизни народа.

Установить общую картину причин, которые вызывали войну, было бы тщетной попыткой; они были разнообразны и в систему не укладываются. Точно так же трудно набросить какую-либо общую оценку, положительную или отрицательную, нравственную или безнравственную, которая обнимала бы войны Средних веков. Но конечно, философия войны на этом безотрадном выводе остановиться не может и должна искать какого-либо выхода, хотя бы в виде частных и случайных обобщений.

И в этом смысле является возможность войны Средних веков подразделить на следующие группы, объединяющие каждая в себе какую-либо общую идею.

Прежде всего, войны, воплощавшие в себе идею переселения народов. Это переселение народов или их утоптывание в континенте Европы продолжалось, строго говоря, более тысячи лет, начиная с первых столкновений (в конце II века до Р.Х.) кимвров и тевтонов с римлянами и кончая перебросом в XI столетии волны норманнов на острова Великобритании. Отдельные обратные волны народного движения, вроде немецких, направленные на славянский мир, наблюдаются и много позже. В некоторые моменты переселение народов выливалось в очень яркую форму, как, например, в IV—VI века по Р.Х., и тогда официальная история и придает этим векам специальный термин, но колыхались народы по территории Европы не менее тысячи лет.

Как бы мы ни смотрели на этот процесс народных гуляний, как бы он ни был внешне случаен, но одно несомненно, что в нем сказывалось яркое народное тяготение к тем или иным территориям, более обещающим благ, чем прежние, и к более привилегированным социальным позициям (франки на фоне галльского мира во Франции, норманны на фоне англосакского в Англии); в сумме же это были искания обстановки, более отвечающей народным дарованиям и сулящей лучшие перспективы для его последующего культурного хода. История показала, что народы Европы разместились на ее углах очень разумно и Европа пошла вперед по дороге развития, увлекая за собою в качестве шлейфа весь остальной мир.

Каким же орудием пользовались народы в их исканиях лучших мест и лучших позиций? Войной исключительно. Других средств не было, или история их для нас не уловила. За блага народы бились мечами, много излишествовали в своей злобе, были подчас отвратительны в своих жестокостях, но других дорог для завоевания счастья или не умели найти, или не хотели искать. Быть может, народам было бы возможно распределиться по углам Европы каким-то иным способом, жребием, разговорами, поединком, предоставив дело случаю, и, может быть, картина распределения народностей получилась в таком случае совершенно иная, но это не вышло, и гадать об этом поздно.

Во всяком случае, несомненно, что на территории Европы все эти народные группы — галльские, кельтские, германские, славянские — властной рукой распределила война, и в конечном результате распределила к благу этих народов. Отказать войне в этом отношении было бы несправедливо, хотя ее культуротворчество было обогрето кровью и увито массовыми людскими страданиями.

Вторая группа войн приурочивалась к установлению порядка и к окончательному закреплению за одной или несколькими народностями определенной территории. Уже в период переселения народов и еще долго после его окончания внутри го-

сударств велась длительная борьба. Боролись между собою или племена, волей судеб принужденные жить вместе, и боролись за привилегированные места в государстве; или растущая центральная власть, в поисках объединения страны и введения общего покоя, боролась с отдельными частными властями, чаще всего феодалами; наконец, уже началась и борьба горожан или крестьянства с феодалами, то есть той части населения, которая слишком была понижена на социальной лестнице и пробовала поднять свою отяжелевшую голову.

И вновь в этой внутренней борьбе разных видов мы видим войну, выступающую готовым фактором. Вновь, но теперь уже не народы, а отдельные племена и разные группы населения не находят других средств для решения своих споров и домогательств, как прибегнуть к войне — средству жестокому и кровавому, но, увы, решительному и обещающему прочные плоды.

Конечно, в этих внутренних состязаниях мотивы и конечные цели были разные: и стремление владык к большей и большей власти, может быть иногда, и не отвечающей благу большинства, особенно когда такие притязания преследовались излишне честолюбивыми феодалами; и более чем естественное притязание темного люда добиться большего простора и света... Подвести смысл данных войн под определенный нравственный или положительный стимул не представляется возможным, но только во что бы то ни стало осудить эти войны также нельзя. Если бы был найден статистический способ учета положительных и отрицательных сторон разбираемого вида войн, то, может быть, скорее чаша весов, их восхваляющая, перетянула бы чашу осуждения, так как исторический смысл объединения государств и закрепления в них прочной власти, несомненно, был крупный и положительный. И опять-таки войны были суровы, много было жестокостей, и много было крови, но... люди воевали, как умели, к сожалению, не по нравственному трафарету или людским добродушным пожеланиям... с этим уже ничего не поделаешь.

Третья группа войн сводилась к ряду войн с надвигавшимся врагом с востока; восток Европы и весь юг ее долго были охвачены длительным и упорным соперничеством. Европа в этом случае боролась с Азией за первое место в мире и за первое кресло в храме культуры. На востоке на плечи России лег главный нажим монголо-татарской войны и давил эти плечи более двух столетий. С юго-востока старательно просачивалась турецкая волна, пробуя одновременно овладеть океаном Средних веков — Средиземным морем, и против этой волны боролись византийцы с другими народностями Балканского полуострова и приморские республики, главным образом Венеция и Генуя. Наконец, с юго-запада Европы угрожала первая по времени арабская волна, и только трудолюбивым и длительным усилием испанцев и народов Франции удалось откатить эту волну к ее исходным местам.

Философский смысл этих войн прекрасно определяет В. Соловьев в следующих словах¹²¹: «А постоянная борьба между христианским и мусульманским миром (в Испании и Леванте), несомненно, имела положительный культурный и прогрессивный характер не только потому, что отстаивание христианства от наступательного ислама спасало для исторического человечества залог высшего духовного развития от поглощения сравнительно низшим религиозным началом, но еще и потому, что взаимодействие этих двух миров, которое хотя и было враждебным в основе, но не могло, однако, ограничиться одними кровопролитиями, со временем привело к расширению умственного кругозора с обеих сторон, чем для христиан была подготовлена великая эпоха возрождения наук и искусств, а затем и реформации».

Философ упустил еще одну сторону дела. Что было выгоднее для Европы и всего культурного мира, окончательное ли одоление монголо-татарско-арабского мира или одоление народов Европы? Я думаю, что ответ может быть один, и определенный: именно удержание Европой своих позиций означало сохранение уже нажитых благ человечества и предопределение в бу-

душем всего того культурного этапа, который затем с таким блестящим успехом был пройден человечеством. Победа Европы над Азией была победой культуры и гарантией последующего прогресса народов мира. И эту божественную победу Европа получила войной... подобного культурного плюса от последней никак отнять нельзя.

Еще могло бы быть сомнение относительно преимуществ европейского мира над арабским — была эпоха преобладания последнего над первым, была наличность феерического завоевания арабами¹²² и дальнейшее совершенствование ими культурных начал, но арабский мир скоро потух, стал тем, чем был раньше, и поет небу унылую песню прадедов... Культурная жизнь арабов оказалась скоропреходящей. И вероятно, Европу ожидал бы с их властью быстрый, но не прочный культурный успех.

Что же касается до мира монголо-татарского, то его эфемерность, непрочность, а теперь отсталость и раздробленность ярко выявлены историей, и охранение Россией востока и юго-востока Европы, а народностями Балкан юго-востока от полчищ Азии является большой услугой на алтаре грядущих судеб Европы и мира.

Наконец, есть еще одна группа войн — это войны религиозные. Сюда войдут войны для обращения в христианство, Крестовые походы, гуситские войны и т. п. Во всех этих случаях отношение церкви к явлению войны было руководящим, и о нем необходимо упомянуть. Церковь очень рано отошла от слов своего Основателя, заповедью не «убий» осудившего всякое убийство, а вместе с этим, очевидно, и войну. Если бы этого формального запрещения было недостаточно, то можно было бы указать на безусловное осуждение Христом всякой ненависти и вражды, каковое, очевидно, в принципе, в нравственном корне упраздняло войну.

А между тем замена римского мира христианским не произвела в положении вопроса о войне никакого существенного изменения со стороны внешне исторической.

Я уже говорил, как Гиппонийский епископ Августин, проповедовавший в конце IV и начале V века и имевший огромное влияние на судьбы церкви¹²³, один из первых обошел прямой смысл заповеди «не убий», и обошел по соображениям государственным. Августин еще оставался в плоскости того понимания, что указанной заповеди отнюдь не преступают те, которые ведут войны по полномочию от Бога или, будучи в силу Его законов представителями общественной власти, наказывают злодеев смертью. Но затем его последователи расширили рамки Божественного уполномочия до пределов всякой вообще власти, светской или духовной, как бы она ни была велика или мала. Создалось то толкование правомочности государства, которое при поддержке церкви вылилось в форму особого священнодействия в случае ведения войны. Церковь последовательно стала не врагом войны, а ее покровительницей, освещением, часто факелом для зажигания боевых костров. В этом сказало-сь присущее христианству чувство государственности, столь чуждое, например, кроткой религии Шакьямуни, и затем сознание преемственности, которая выпала на христианский мир по замене им римского мира. Церковь ясно понимала, что ей не по силам свалить ни государства, ни войны, да и заменить их было нечем, почему оставался один исход: во-первых, смягчить, насколько возможно, их суровый облик и, во-вторых, использовать эти начала для распространения по свету идей христианства.

Последняя цель и явилась первоисточником религиозных войн.

Разбираясь в этих войнах и по возможности обходя те неприглядные жестокости, невероятную страстность и ненужные страдания, которыми полны они были и которые, пугая нашу впечатлительность, лишь способны туманить в наших глазах существо религиозной войны, мы не можем не признать за этими первыми войнами значительного культурного смысла. Не говоря уже про гуситские войны, которые явились крупным раскрепощением народных групп от религиозного и еще более со-

циального гнета и которые составили видную эпоху в истории, открывая ворота, с одной стороны, реформации и, с другой, по-колачивая в боях феодалов; даже Крестовые походы, эти сумбурные, бестолково ведомые, переполненные чудовищными жестокостями¹²⁴ (в Константинополе, Иерусалиме, на дорогах между ними) войны, и они в своем итоге принесли миру большую сумму культурных подарков. Историки давно уже бросили ошибочную мысль оценивать смысл исторических событий по тем проявлениям страстей и ненормальным частностям, которые часто заполняют эти события, и о Крестовых походах их общий вывод скорее положительный, чем отрицательный. Раскрепощение народных масс, нашедших выход из неволи путем участия (действительного или мнимого) в Крестовом походе, объединение рыцарства и привитие ему некоторых общих правил и взглядов, более широких и менее кастовых, расширение кругозора крестоносцев, дотоле темных, но после похода собравших множество новых сведений и привычек, культурное сближение Востока с Западом, ведущее к взаимному примирению и синтезированию двух мирозерцаний, ослабление христианской нетерпимости и начала критического отношения к церкви, ослабление Византийской монархии и возрождение к жизни Венеции и Генуи и т. д. и т. д.

Может быть, нам труднее осмыслить то христианское рвение монархов, которое заставляло их мечом и кровью прививать вечные заветы Спасителя. Нам теперь так трудно понять Карла Великого, наказывавшего смертью за покушение на жизнь священника или диакона за отступничество от христианской веры или казнившего в один день 4500 саксонцев за их вероотступничество; трудно понять и других монархов, не менее рьяных в насаждении и укреплении христианства, чем Карл Великий. Конечно, это форсированное ускорение событий едва ли фактически давало реальные результаты, и народы, надевшие на шею крест и научившиеся в праздничные дни посещать церковь, в душе, в подробностях жизни и обычаях еще многие десятилетия оставались первобытными язычниками;

с этой стороны, с точки зрения массовой психологии, насильственное обращение было часто жестоким и еще чаще бесполезным актом. Но это была своего рода ускоренная педагогика, прививавшая начала высокие, обещавшие общее смягчение нравов, усвоение начал гражданственности и привычку к повиновению. А это было для народов, на их тогдашней ступени, необходимой и глубоко полезной школой. Кроме того, в данном случае низкое и грубое религиозное начало, то есть язычество в разнообразных его формах, заменялось началом высоким, которое являлось залогом последующего высшего духовного развития наций.

Мы можем осудить манеру, так сказать, технику внедрения христианства и, конечно, можем лишь негодовать перед жестокими подробностями этой техники, но сама идея не чужда была положительности, и дала она миру Европы обильные благие плоды.

Новиков, принадлежащий к категории особенно горячих пацифистов, сводит цель войн Средних веков к захвату возможно больших территорий¹²⁵. Конечно, это неправда, и об этом не стоило бы и говорить, но тот же автор в погоне за опорочиванием войны во что бы то ни стало высмеивает и культурный смысл государства. «Воевали, — говорит он, — чтобы создать 24 независимых государства. Но к чему? Счастье людей не зависит от политических организаций»¹²⁶.

Но хорошо, что таких авторов, как Новиков, не нужно опровергать, а нужно лишь запастись терпением и читать дальше; всегда найдется место, где автор будет опровергать сам себя. Такое находится и у Новикова¹²⁷. Говоря о возможности прекращения войн на всем земном шаре, он подчеркивает тот факт, что они прекратились внутри государства, причем дополняет, что с прекращением этих войн борьба другого порядка, то есть экономическая конкуренция, борьба адвокатов, организация партий, парламентские споры, митинги, научные общества, конгрессы, брошюры, журналы и т. д. остались в полной своей силе. Вот и ответ на недоуменный вопрос автора, зачем строи-

лись 24 государства, которые якобы не приносят блага. Они строились хотя бы для того, чтобы прекратилась война внутри их территорий и была отнесена на их периферию... Та война, которую Новиков считает величайшим несчастьем человечества и уничтожение которой (внутри государств) не откажется, вероятно, считать большим благом, доставленным 24 независимыми государствами... О других благах поучать автора пока не стоит.

Сделав указанную оговорку, подведу итог сказанному о войне в Средние века. Мы разбили ее на четыре категории и рассмотрели каждую из них, сделали вывод, что независимо от присущей этим войнам жестокости и мстительности все они имели за собою известный культурный смысл, который мы нашли возможным найти даже в религиозных войнах. Что же касается до войн, охранявших Европу от угроз Востока, то их культурный смысл и несомненен, и крупен. Кроме того, мы нашли, что война в Средние века являлась единственным решительным орудием для достижения тех благ, которые в тот или иной момент народы считали для себя насущными. Для нас подобные блага теперь изжиты и подчас только наивны, но когда-то они одухотворяли массы и доводили их до эксцессов. Не будем осуждать их за это, чтобы в будущем нашей снисходительностью купить таковую же у наших потомков, когда придет их черед посмеяться над нашими идеалами.

ВОЙНА В НАУЧНОМ ОТРАЖЕНИИ

Новые века открываются циклом войн, вызванных реформаторским движением и новым типом войн колониальных; последние вышли на сцену истории с открытием Америки и вступлением европейцев на территорию Индии. Религиозные войны для моралиста должны представить тягостное явление; ему трудно принять ту картину, на фоне которой люди или власть стараются мечом или насилием вбить в совесть человека сумму таких начал, которые могут явиться только свободным излиянием свободного религиозного чувства. Но, как я уже говорил, историки все более и более отходят от приема эмоционального выяснения исторических событий и стараются их расценить по окончательному взвешиванию на широких весах исторической ценности. Страшно, конечно, читать, что в результате Тридцатилетней войны некоторые местности Германии совсем опустели¹²⁸, население питалось травой и кореньями, были случаи, что ели человеческое мясо; люди одичали и пали духом; в некоторых областях погибли две трети населения¹²⁹, но ясно также, что в основе борьбы пролегла здоровая идея освобождения народов от оков религиозного гнета и первый подход к общим началам свободы через религиозный порог мысли. Как и раньше, у людей не было иного способа для раскрепощения, как обращение к прозаическому мечу.

Что люди пробовали договориться до желанных результатов путем переговоров, на это указывают многие попытки: Кон-

станцкий собор, Базельский собор, Вормский сейм, Аугсбургский мир, Нантский эдикт и т. д., но во всех этих попытках было допущено столько вранья, лицемерия и желания надуть своего противника, что искренно им никто не верил и попытки эти лишь подкрепляли неизбежность и надежность примененного меча.

История права в том, что указанным религиозным войнам вынесла свой не только оправдательный, но и одобряющий приговор. Она нашла, что завоеванная войной реформация оказала большое влияние на духовную жизнь Европы, внесла в народ новые идеи, вызвала к свету начала индивидуализма и свободы, дала свободу науке, выдвинула вперед светские интересы... Великий разум реформации был защищен и укреплен войною, оправдывая тем глубокий смысл слов Лассалья, что «разум есть содержание истории, однако формой ее вечно остается насилие».

Что в основе религиозных войн XVI и XVII веков лежали идеи раскрепощения масс, начатые с религиозного угла, показывает тесная и органическая связь с этими войнами крестьянского восстания 1525 года. В предъявленных крестьянами 12 статьях требований рядом с церковными уже стоят и политические требования об уничтожении крепостной зависимости, об уничтожении частной собственности на охоту или ловлю рыбы, на леса, а затем позднее — даже требование раздела имущества. Конечно, эти требования были слишком большим прыжком вперед, объединили против себя временно католиков и протестантов и напугали даже самого религиозного новатора Лютера; восстание было подавлено. Но не в этом дело — реальных шансов у крестьян и не было; важно и ясно то, что в основе реформации лежала идея раскрепощения, и не одного лишь религиозного, что в ближайшие года она дала исход крестьянскому движению, а через несколько столетий она выявила на сцене истории своего прямого правнука — революцию.

Несколько обособленно в истории войн стоят войны колониальные XVI — XVII веков. Если обнажить их содержание от

всяких мешающих и излишних факторов, то в основе войн останется грабительский поход некоторых из государств Европы на дикие, или отсталые, или слабые народы Америки, Индии и других стран с целью обогащения. Конечно, эти войны с нравственной точки зрения заслуживают одного штемпеля — войн отвратительных. Исчезновение целых народностей в Северной Америке, уничтожение целых культур, богатых содержанием и прошлым, каковы мексиканская и перуанская, неслыханное грабительство испанцев в Америке и англичан в Индии, практика многомиллионного невольничества, слабо замаскированная лицемерным законодательством и наемной прессой, неисчислимые суммы зла, грехов и падений и т. д. и т. д. — вот обычный фон этих колониальных войн. Указывают и в этих войнах некоторые положительные стороны, но таковые могут быть очень и очень оспариваемы.

Представители биологического толкования войны упирают на то, что при столкновениях более высоких рас с более низкими последние обычно уступают и затем вымирают¹³⁰ и что это совершается к общему плюсу в истории человечества. Здесь нужно указать, что подразделение народов на высокие, средние и низкие расы пока не научно и опровергается, например, явлением японцев, или древних ацтеков, или инков. Естественное вымирание низших рас при столкновениях с высшими также сомнительно. Наконец, благо человечества, гарантированное исчезновением целых народностей, является только стилистическим фокусом, не более. Культура ацтеков и инков была столь высока, указывала столь поучительные параллели с умственными явлениями в Европе¹³¹, что еще вопрос — выиграл ли мир от того, что европейцы пережили эти народы, а не они европейцев, и во всяком случае уничтожение двух культур испанцами непростительный грех этого народа, уже понесшего свое историческое возмездие. Дрэпер говорит по этому поводу: «Огромность вины (*L'énormité du crime*), которую содеяла Испания, разрушив мексиканскую и перуанскую цивилизации, никогда точно не учитывалась Европой. Внимательно изучив факты, я

пришел вместе с Карли (Carli) к заключению, что к эпохе завоевания человек в Перу в нравственном отношении превосходил европейца... и прибавлю — в умственной также».

Попутно Дрэпер разбивает испанцев, утверждающих, что нацию, которая практиковала каннибализм, нельзя считать вышедшей из состояния варварства и что народ, посвящающий своим умершим великим людям человеческие гека-томбы жертв, надо признавать еще диким. Дрэпер разбивает эти самооправдания историческими справками: в Америке человеческие жертвы составляли часть религиозных церемоний и в страстности и жестокости сильно уступали аутодафе в Европе; справедливый и передовой перуанец мог глубоко покраснеть за свою нацию, видя жертвоприношения, но не в той мере, как европеец, который видел какого-либо еретика, у которого муками вырвали признание и которого тащили на костер одетым в рубашку без рукавов, изукрашенную рисунками ада и других мрачных тем. При этом Дрэпер напоминает, что за время с 1481 по 1808 год инквизицией было осуждено 340 000 еретиков и около 32 000 из них были сожжены.

Словом, попытку оправдать колониальные войны в их наиболее темной стороне, а именно со стороны факта покорения и истребления целых народностей, нужно признать гнилой.

Более сильным оправданием этих войн можно считать экономическое воздействие на отдельные государства и Европу. Об этом я скажу подробнее в своем месте. Европа в целом, а вместе с нею и культура европейских народов немало выиграла от притока золота и всяких богатств из Америки и Индии, в частности выиграла Англия. Значит, плюс от этих войн чувствуется, но не без возражений.

Наконец, несомненно, колониальные войны явились тем первым и решительным толчком, который объединял народы мира в одно целое, сводил все умственные сокровища земли в одну сумму, в одно общее достояние человечества, давал исход для общемирового экономического сотрудничества — являлся всемирный рынок; войны были первым стимулом к братскому

единению народов. Может быть, на первых шагах колониальные войны скорее напугали, разъединили народы, но это было лишь первичным нездоровым зерном, последующие зерна были обильные и благодатные.

Итак, колониальные войны были отрицательны в большинстве случаев и типов своего проявления, и только в сфере своего экономического влияния на Европу и как проводники мировой общности народов они могут вызвать к себе наше оправдание.

Мы можем пройти мимо цикла войн, имевших задачей укрепление центральной власти или расширение государственных организмов, каковы войны Франции XII и XIII веков, войны растущей Пруссии XIII века, войны России XII и XIII веков и т. п. Существо этих войн нам было обрисовано при обозревании таких же войн в Средние века. Нужно заметить, что смысл многих из этих войн будет окончательно выявлен разве только в будущем.

Рост Пруссии, например, завершился в 1871 году объединением Германии и выдвиганием ее в семью великих государств мира. Что дала миру эта Германия, для создания которой пролито много крови и пережито много высоких страниц истории? Стоило ли, говоря грубо, строить это крупное здание? История еще молчит с ответом. Она могла бы назвать плюсы в виде немецкой культуры, философии, Гете, Канта, Лейбница, в виде трудолюбивого, патриотичного и передового народа, но и минусы в виде неуравновешенного империализма, доведенной до пафоса военщины, злого и амбиционного культуртрегерства, национального самообожания, столь грозного для других народов, и т. д. Теперь, когда всемирная война 1914–1918 годов низринула Германию с прежних государственных высот и, может быть, поставила лицом к лицу перед прежней разрозненностью и партикуляризмом, вопрос о смысле войн, принесенных на алтарь германского строительства, становится еще более неопределенным.

Явление Наполеона в истории войн является самобытным и обособленным. Если до сих пор, несмотря на огромную ли-

трату, даже техническая сторона его войн не выяснена с полной подробностью и точностью и один из главнейших источников для изучения Наполеона в военно-техническом отношении, его мемуары, являются достоянием лишь единиц из специалистов, то что же можно сказать про философский смысл войн этой бушующей и неугомонной эпохи? Не слишком ли крупна фигура Наполеона и не требует ли она несколько большего удаления от себя в ходе истории, чтобы было возможно взвесить и расценить его завоевательные устремления?

Никто как этот военный гений не вызывал вокруг своей фигуры столь бурных и противоречивых течений мысли, столь много дум, и всегда неизменно страстных. Блестящая характеристика Наполеона, оставленная нам Тэном¹³², принадлежит, пожалуй, к числу наиболее спокойных и объективных. Приводить другие — значило бы делать из читателя маятник, и притом имеющий большую амплитуду. Такое же сложное, запутанное и часто противоречивое отношение мыслителей было и к войнам наполеоновским. Обобщая, можно сказать, что они, как продукт единоличного эгоизма, властолюбия, даже каприза человека, стоившего Европе 3 миллиона жертв¹³³, конечно, подлежат осуждению, но, увы, объяснить их происхождение индивидуальной, хотя бы и гениальной волей невозможно. Наполеон был детищем Французской революции, и он не только опирался на нее как на свое основание, но и умел использовать и далее развить ее идеи. Например, идею действия большими массами, идею рассыпного строя и глубокого порядка он почерпнул из революционного багажа, хотя в корне переработал и дополнил их. Наполеон гениально использовал подвижность и воодушевление революционных войск, подкрепив эти качества продуманной организацией и строгой дисциплиной. Наконец, штамп революционного идеала очень долго являлся тем фонарем в руках Наполеона, которым были освещены многие и многие этапы его стратегических странствований по Европе.

Достаточно напомнить о смерти маршала Ланна под Экмюлем — любимца Наполеона, которого он, по его же словам,

получил пигмеем, а потерял в нем гиганта — и о его последнем свидании с императором. Предание, связанное с этим драматичным эпизодом, заставившим Наполеона пролить много слез, говорит, что будто бы Ланн, пылкий и искренний республиканец, умоляя своего императора вернуться к революционным заветам, которые им, как догадывался умирающий, уже покинуты. Этот рассказ характерен в том смысле, что даже Ланн, этот соратник Наполеона с первых дней боевой его карьеры¹³⁴, только на тридцатом году общей работы — да и то, может быть, в момент предсмертного просветления — понял, что его владыка порвал с идеалами великой революции и ведет свою единичную и полную эгоизма линию.

Эта связь Наполеона с революцией проливает некоторый свет на существо его войн и дает понять их отрицательные и положительные стороны.

Войны Наполеона потрясали народы, несли с собою ту сумму бедствий¹³⁵, которая свойственна каждой войне, они несли с собою страшное истощение и разорение, всяческие унижения и насилия, сокрушали право и национальную самостоятельность. Все это, пожалуй, больше терпела Франция, сыны которой так победоносно маршировали по Европе, — терпела, по крайней мере в смысле истощения народной массы.

Но все эти теньевые стороны не так густы и массивны, чтобы затмить то положительное, что имелось в войнах Наполеона. Прежде всего они распространили по Европе гражданский строй, выработанный революцией, и идеи последней.

В этом отношении великий корсиканец был верным, хотя, может быть, невольным распространителем идеалов революции и посеял те зерна, которые много десятилетий после оплодотворяли культурными посевами всю Европу. Эта сторона походов Наполеона еще не нашла своего историка.

Далее. Появление французских войск приводило к уничтожению крепостного права, привитию веротерпимости, устранению феодальных привилегий, замене громоздких и устаревших законов Кодексом Наполеона, наконец, ко введению

французской бюрократической системы. Этот коренной переворот совершился не только в местностях, прямо присоединенных к Франции, но и в таких странах, как, например, Бавария, которые, оставаясь независимыми, подпали тем не менее под французское влияние.

История еще не сказала своего решительного слова о войнах Наполеона — они слишком близки к нам, и их сложное существо еще слишком давит нашу впечатлительность и стесняет простор работы разума. Но если обратить внимание на то обстоятельство, что между походами Александра Македонского и Наполеона пролегает большая аналогия и в смысле идеологии, и по техническим соотношениям, то нужно думать, что далекий суд истории над Наполеоном будет такой же, какой она вынесла Александру: история отбросила многие из личных недочетов македонца, крайности его увлечений, его капризы и произвол, отринула мучительство масс, таскаемых по необъятным углам Средней Азии, и выявила на свет почти одни положительные стороны в виде конечного вывода о плодотворном синтезе европейской и азиатской культур как основном результате походов Александра, а на челе последнего сохранила наименование Великого.

В XIX веке интересны и заслуживают быть отмеченными два цикла войн — войны революционные и войны национальные. Войны революционные — это бурные и кратковременные этапы на дороге достижения народами социальных идеалов. Эта их особенность является их оправданием. Народы идут вперед, работая непрерывно и терпеливо, но иногда их прорывает, терпение их истощается, и скрытая энергия их пожеланий вырывается наружу, как извержение Везувия, в форме революционных устремлений. Большею частью революционные войны¹³⁶ являются войнами внутренними, гражданскими, и, как таковые, они отличаются чисто бессистемностью, случайностью и жестокостью. Жестокость является одной из отрицательных сторон революционной войны, как результат присущей ей страстности и как войны чаще всего гра-

жданской¹³⁷. Но относительно этой жестокости и сурового излишества можно привести еще более объяснительных и, пожалуй, оправдательных мотивов, чем по отношению внешних войн. Революционная война, оставаясь войной по существу, то есть коллективным насилием, и грозя смертью и уничтожением врагам, кроме того, остается деянием в высшей степени нервным, ненадежным, всегда полным риска, торопливым. Она часто создается из ничтожных ресурсов, живет движением вперед, пылом, большим устрашительным нажимом, часто доходящим до террора. В этой войне «сегодня ты, а завтра я», и успех за теми, кто дерзче, живее, кто претерпит до конца.

При такой психологии войны жестокость неизбежна, и если ее придется оправдать, то прежде всего потому, что нельзя рекомендовать народам какого-либо другого эквивалентного средства.

Конечно, существо революционных войн ясно только со стороны общих мотивов, но очень смутно и противоречиво в своих подробностях. Возьмите Великую французскую революцию — прочитайте Тэна или Карнейля, и вы получите впечатление, что перед вами две разных картины, резко не похожие одна на другую. Возьмите одну из подробностей этой революции, например характер и действия революционных войск, и расхождения в описаниях еще более поразят читателя. Подобная туманность и противоречие в подробностях революционных войн лишает возможности сказать определенное слово об этих войнах, и его скажет разве какое-то далекое поколение¹³⁸.

Во всяком случае, отказать этим войнам в культурном влиянии никак не возможно. И если это влияние, как думают некоторые мыслители¹³⁹, и сводится сначала только к перемене вывесок над прежними пониманиями и учреждениями, то это меняет лишь положение вещей во времени, относя реализацию влияния к более поздним событиям; но влияние остается, как и его прогрессивная сила.

Национальные войны являются наиболее ярким типом в XIX веке; некоторые из них разлагаются на длительный ряд

войн, как, например, войны, веденные Германией. Таковы — война 1813—1814 годов с Наполеоном, 1864 года — германо-датская, 1866 года — прусско-австрийская и 1870—1871 годов франко-немецкая. К этому же циклу надо отнести для Германии и всемирную войну 1914—1918 годов

В основе смысла этих войн лежит национальный вопрос¹⁴⁰. Как принцип объединения народных групп по кровному родству в целях более полного осуществления культурных, бытовых и хозяйственных задач национализм в наше время представляет сильную и разумную форму. Говорим в «наше время», так как в будущем народы, может быть, так же переживут этот способ государственного строительства, как мы пережили родовое начало. Мы не мыслим при этом извращения национализма в форме, например, чрезмерного эгоизма наций, презрительного или злобного отношения к другим нациям, отрицание нравственных обязательств к чужим народам и т. д. Мы разумеем уравновешенный и вместе с тем жизненный национализм, который может быть характеризован фразой: «Люби все народы, но прежде всего свой собственный».

Подобный национализм является такой формой объединения народов, которая в эпохи своего наиболее естественного развития дала максимум культурного преуспеяния. Например, Италия, первая в Европе достигшая национального самознания, дала миру св. Франциска, Чимабуэ (начало итальянской живописи), Данте, послала в Монголию и Китай Марко Поло, трудом и отвагой Колумба открыла Америку, гением Джордано Бруно возбудила философскую мысль в Англии и в Германии, дала Шекспиру сюжеты и форму для его драм и комедий.

Высший расцвет английского народного духа выпадает на XVI—XVII столетия и может быть отмечен пятью именами: Бэкона, Шекспира, Мильтона, Ньютона и Пенна. С этими именами связано то, что важно и дорого для всего человечества, чем все народы обязаны Англии.

В национальном развитии Франции кульминационный пункт представляет та эпоха (великой революции и наполео-

новских войн), когда всего яснее выразилось всемирно-историческое значение этой страны.

Великое напряжение национального духа Германия обнаружила в Реформации, а затем в Новейшее время (с половины XVIII и до половины XIX века) приобрела в области высшей культуры — умственной и художественной — первенство, характеризующее именами Гете, Канта, Гегеля.

Эта справка дает нам право считать национальные войны в государственном и нравственном смысле оправданными.

Если не все в германских войнах может найти наше оправдание и трудно, например, похвалить Германию за разбойничий налет на слабую Данию, но конечный итог, достигнутый монархией Гогенцоллернов в результате национальных войн, был крупный во всех смыслах. Точно так же большие культурные результаты приобретены были в итоге войн Италией, и не только для нее, но и для Европы. Вот как говорит об этом умный и спокойный М. В. Аничков: «Освобождение и объединение Италии совершилось между Виллафранкским миром 1859 г. и занятием Рима в 1870 г. Итальянцы получили отечество, из географического термина Италия стала обозначать великую державу.

Мировое значение события выразилось прежде всего в уничтожении светской власти пап, преимущества малополезного для целей религии, но прямо превращавшего великую силу католицизма в постоянное орудие угнетения, тяготевшее над христианскими народами более тысячи лет. Громадное значение для Европы получило слияние многих мелких областей, служивших добычей могущественных соседей и случайных династий, в одно государство.

В течение шести веков постоянные переделы Италии служили вечным источником неразрешимых политических коллизий, а области, служившие объектом завоевания, мены наследства, завещаний, купли и продажи, были населены племенем, имевшим живое национальное чувство и одушевленным одинаковой ненавистью к разношерстным чужеземным и туземным деспотам. Бедствия и угнетения Италии служили источ-

ником вражды для других народов. Европа до 1859 г. и Европа после 1870 г. — две разные части света¹⁴¹.

Объединение Германии дало не меньшие последствия. Страна между Рейном и Вислою более тысячи лет служила то приманкой завоевателей, то сама высылала армии, нападавшие на французов, итальянцев, славян. Впредь до того дня, когда германский рейхстаг собрался в 1871 году в Берлине, германские государи начиная с Фридриха Барбароссы попеременно играли то роль страдательную и унижительную, подобно итальянским правительствам, то стремились создавать смешанные государства из небольших осколков немецкой земли и крупных захватов за рубежом. Начинания династий Саксонской, Франконской и Гогенштауфенов погибли. Священная Римская империя, существовавшая до 1806 г., была, как верно замечено, ни священной, ни римской, ни империей.

Если сравнить сборное государство, павшее под ударами Наполеона, с тем зданием, которое воздвиг Бисмарк, то нетрудно уяснить весь объем совершившейся перемены. Законное право всех и каждого было сохранено — от короля Баварии до князя Рудольфштадского, от графа до берлинского поденщика. Во главе государства стал монарх, владевший наибольшей долей немецкой земли. В союзном совете мелкие государства преобладали. Фикция личной унии земель имперских и внеимперских более не существовала. В рейхстаге большинство, конечно, имела Пруссия, но рейхстаг был представителем народа, где консерваторы, католики, радикалы и социалисты сидели на одних скамьях.

Победа, создавшая единую Германию, облегчила прочное водворение правового порядка в Австрии. Дух терпимости, свободолюбия, невмешательства укрепился в той столице, где находилась издавна власть, считавшаяся присяжным врагом всяких либеральных начинаний. Канула в вечность та политика, цель которой заключалась в поддержании лютой реакции везде и повсюду — от Петербурга до Буэнос-Айреса. Образовавшееся дуалистическое федеральное государство свое право

на существование выводит из прав народностей, его составляющих, на широкую автономию, объединяющая же власть основана на парламентском начале. Полное гречение произнесено относительно Италии и Германии. С этой стороны никто не ожидает ни агрессивных поползновений, ни вмешательства. Габсбурги в несколько лет отrekliсь от вековых традиций»¹⁴².

Автор или забыл сказать, или умышленно обошел общеизвестный факт гигантского экономического движения вперед Германии с 1871 года. Конечно, тут главную роль сыграла не пятимиллиардная контрибуция, пошедшая большею частью своего содержания на покрытие расходов и прорух в самой Германии после тяжелой томительной кампании, а подъем объединенного народа-победителя, подъем энергии, всегда следующий за войной, чувство спокойствия охватившее все массы населения. Между Германией до войны и ею же десять лет спустя пролегает целая пропасть. Развитие небывалое промышленности, рост торгового флота, расширение колониальной политики, завоевание Германии рынков, еще так недавно прочно принадлежавших другим народам, — все это вывело дотеле бедную и растрепанную страну на степень одной из наиболее богатых и передовых промышленных стран. Это имело и свои теневые стороны, вызывало тревоги Англии и ряд крупных политических шагов с ее стороны (виде союза с Японией в 1902 году, соглашения с Францией в 1904 году и соглашения с Россией в 1907—1919 годах, коренным образом менявших прежнюю политику Англии *splendid isolation*).

Европа скоро разделилась на два больших союза, в будущем чувствовались силуэты новой гигантской войны, но в этом виновата была не столько недавно победившая Германия, как Англия¹⁴³, прочно стоявшая на страже своего мирового господства и ревниво загораживавшая дорогу к благам мира новой стальной по исторической жизни сопернице.

Конечно, пацифисты иначе смотрят на результаты Франко-прусской войны, и, например, Блюх¹⁴⁴ видит в войне 1870 года исторический момент, с которого началось обострение в отно-

шениях народов, чувства гуманности ослабели и стал заметен поворот к духу той беспощадности в борьбе, которая некогда считалась военной добродетелью. Изувеченная и приниженная Франция стала с тех пор нечувствительной к общечеловеческим призывам и занялась исключительно мыслью о возмездии. Новая Германия, созданная торжеством оружия, сплоченная кровью и железом, должна была основать все свои надежды в будущем на силе милитаризма.

Вы видите, что Блюх освещает результаты войны 1870—1871 годов с одной-единственной точки зрения — с той, что война эта удалила человечество от вечного мира и тем разрушила приятную дрему пацифистов. Других сторон, например, соображений приведенных выше Аничкова, сказочный экономический рост, да и культурный Германии, необыкновенно скорую поправку Франции от пережитого испытания и ее исключительный расцвет — все это для Блюха невольный пустяк, о котором не стоит говорить. Пусть так, но ведь народы ведут войны не с тою единственной целью, чтобы удовлетворить чьи-то мечтания и тем получить от мечтателей одобрительный отзыв. Это во-первых. А затем исторически неверно, что война 1870—1871 годов создала какой-то перелом в сознании народов, отвергнув их от мира. Те, которые до войны 1870 года любили потолковать о розовых горизонтах, когда перекуются мечи на орала, не переставали заниматься этим и после войны. Напомню о посылке американским «Обществом мира» в 1873 году (два года после войны) секретаря Майльза для установления общения с европейскими пацифистами; о докладе Блюнгли на съезде в Гааге в 1875 году касательно всеобщего разоружения и посланиях на этот же съезд Лабулэ и Франка; об устройстве на Парижской всемирной выставке 1878 года конгресса 15 обществ мира различных стран (было предложено учреждение постоянного международного трибунала); о воззвании к народам с предложением мира постоянного бюро конгресса перед съездом 1891 года в Берне; о Международном конгрессе мира в 1893 году на Всемирной

выставке в Чикаго; о таком же Конгрессе мира в 1894 году в Антверпене и т. д. Словом, мечтания людей о мире нисколько не были подорваны войной 1870 года.

Наконец, неправильно уверение Блюха, что эта война отличалась какой-то особенной жестокостью. Война была, пожалуй, страстнее других (боролись вековые враги), упорнее (народы были равносильны и однокультурны), но и только.

Таким образом, на примере двух национальных войн (или ряде таковых), давших объединение Италии и Германии, мы видели, что результаты их по существенным признакам были положительны и положительные результаты сказались не только по отношению к самим объединенным странам, но и к другим странам, даже ко всей Европе. Критику одной из этих войн мы должны были признать узкой и предвзято отвечающей одному и притом чисто условному признаку.

Но что характерно, что даже изувеченная и приниженная, по терминологии Блюха, Франция поразила мир быстрым воскресением после своего поражения. Свою контрибуцию, якобы наложенную немцами с умыслом окончательно разорить Францию, последняя выплатила без труда и до срока, а затем таким же темпом страна восстановила свое благосостояние, развернула свои духовные и экономические силы и скоро превзошла Францию до войны 1870—1871 годов. Франция удивила мир, проявив при этом что-то невероятное и неожиданное. В действительности замена обветшалой власти новой, пробуждение народной гордости, трудовой подъем нации и более реальное обеспечение свобод, упрочение благосостояния среднего класса — все эти и другие результаты войны принесли свои добрые плоды... В войне, даже проигранной, есть такие пути, несущие с собой возрождение... Это один из секретов истории.

К числу национальных войн нужно отнести и Русско-турецкую 1877—1878 годов. В основе ее лежала добрая идея освобождения славян Балканского полуострова от турецкого ига. Конечно, дипломатия, особенно английская, опорочи-

вала эту идею и цели России усматривала в желании захватить проливы и водрузить православный крест на Святой Софии. Может быть, казенные дипломаты России и честолюбивые из военных и питали такие пылкие пожелания, но народ в массе мыслил и мирился с войной, только как ведомой для избавления братьев от басурманского ига.

И как будто в прошлом России мало было войн из-за интересов чужих народов и даже дикарей. Возьмите освободительные войны против Наполеона, против которых предупреждал Кутузов незадолго до своей смерти, или Венгерский поход 1848 года — одна из неудачных выдумок Николая I. Почему же в семидесятых годах и не повоевать за балканские народности, которые по сравнению с немцами, итальянцами или императором Австрии Иосифом имели преимущество родственности?

Но что придаст более положительный штамп войне 1877—1878 годов — это то, что она являлась одним из этапов борьбы России с Востоком. Россия завершила круг борьбы Европы с Азией; юго-западный авангард Европы — балканские народности — ослабел в длительной борьбе, его заменяла Россия. Миссия, несомненно, положительная.

Особняком от других войн стоит гражданская война Северо-Американских Штатов 1861—1865 годов. В этой войне, может быть, преобладающим элементом был экономический, но как общий фонарь, зажженный над этой войной, была задача освобождения черных рабов; она была достигнута после многих лишений и жертв, и война явилась блестящим шагом к общему преуспеванию страны, с одной стороны, а с другой — завершилась красивым подвигом предоставления черным массам когда-то отнятых у них элементарных человеческих прав.

И в XIX веке велись колониальные войны. Их подноготная цель сводилась к одолению более отсталых народов, чтобы воспользоваться богатствами их природы и их мускульной энергией. Поэтому существо этих войн может вызвать только осуждение, градации которого имеют широкую лестницу, начиная, например, от завоевания Англией Индии, из которой она тянет

вот уже более 150 лет неисчислимые блага¹⁴⁵, и кончая завоеванием Россией Туркестана, ради чего до последних лет метрополия отдавала немалые суммы.

Есть одна сторона в войнах XIX века, которая должна быть выделена. Это заметное расширение площади их воздействия¹⁴⁶. Войны XIX века уже войны государственные, массовые; это действительно вооруженный народ, по правильному определению фон дер Гольца. О прежних наемниках, милициях, долгосрочных солдатах нет и помину. Прусская система, с которой связано имя Шарнхорста по преимуществу, мало того что постепенно воспринята другими государствами, но уширена и углублена, предусматривая для войны не только всю мужскую массу, способную носить оружие, но и в значительной мере предназначая и участие женской половины государства. Но этого мало. Война пошла дальше и не только наложила свою тяжелую руку на финансы, на воспитание страны в определенном тоне, но запустила свои щупальца в глубины экономической жизни, выдвинув в жизнь принцип мобилизации промышленности, иначе говоря, такой же принцип милитаризации экономики и капитала, какой по отношению к душам людским проведен был в системе воспитания, а отчасти и образования.

Ни Средние века с их частными войнами, ведшимися небольшими войсковыми группами с применением скромных капиталов, ни Новое время до начала XIX века не видели чего-либо подобного. Война являлась частным и узким делом или, по крайней мере, скромным по своим размерам, а в XIX веке это грозное явление стало огромным чисто государственным явлением. Всемирная война 1914—1918 годов показала, что эволюция пошла еще дальше, до столкновения больших союзов, которое выдвигает на арену борьбы десятки миллионов воюющего люда и многие миллиарды теряемых рублей денег; а параллельно с этой гигантской войной весь мир земной трепещет в волнении, и нет на нем ни одного уголка, который так или иначе не участвовал бы в этом диком шоке народов¹⁴⁷...

И что характерно: в то время как войны ширятся и растут до колоссальных размеров, надежды народов на вечный мир становятся более упорными и радужными. Кто здесь ошибается: сама ли война, доходящая по своим размерам до безумия, а по своей страстности, разнообразию приемов поражения и нравственной бесцеремонности до дикости давно забытых времен, или мечтающие о вечном мире люди, которые тем более надеются спасти дом от пожара, чем больше последний и чем он ближе к их жилищу?

Итак, мы сделали обзор войн на протяжении длинного прошлого народов, стараясь оценить и осмыслить их под тем углом, который отвечает нашей науке. И мы уже несколько раз делали вывод, хотя и по отношению к отдельным циклам войн. Почему скажем кратко. Войны всегда и несомненно играли огромную роль в жизни народов и царств как довлеющий фактор поступательного хода истории; они выводили на сцену истории молодые народности и сбрасывали в глубины прошлого народности старые, изжитые, утомленные исторической работой. Упомянутая роль с культурной точки зрения во многих случаях (если не в большинстве) была ролью положительной, культурно-созидательной; некоторые же войны носили яркий культурно-двигательный колорит. Все войны были более или менее жестоки, разрушительны и мстительны — это, несомненно, их злая сторона, но эти особенности вытекали как неизбежные следствия из существа войны. Но и в этой сумме жестокостей мы видели иногда объясняющие и даже оправдывающие элементы.

Наконец, мы подметили еще, что на пути своего развития войны от состояния частных явлений все более и более эволюционировали в сторону расширения своего объема, большего и большего огосударствления своих функций до пределов полного проникновения своими требованиями и влиянием в недра государственного тела...

Поэтому я считал бы совершенно допустимым закончить эту часть исторического обзора мыслями двух крупнейших людей

ХІХ века, Виктора Гюго и Лассалья, которых никто не обвинит в излишнем увлечении войной, тем более первого, бывшего когда-то председателем Всемирного конгресса мира и много лет красивым и сильным словом бичевавшего иго войны и природу войны.

Вступая в 1841 году во Французскую академию наук, в своей блестящей речи Виктор Гюго между прочим сказал: «...И я из тех, которые думают, что война очень хороша с той возвышенной точки зрения¹⁴⁸, с которой мы всю историю видим, как одну группу, и всю философию, как одну идею; битвы не являются более ранами, нанесенными человечеству, как борозды пашни не раны, нанесенные земле¹⁴⁹. Вот уже пять тысяч лет, как всякая жатва определяется плугом, а всякая цивилизация войной».

Лассаль сказал решительнее и более искренно: «Мечом распространилось христианство, мечом крестил Германию Карл, поныне называемый нами Великим. Мечом было низвергнуто язычество, мечом освобожден гроб Спасителя. Мечом изгнан был из Рима Тарквиний, мечом удален из Эллады Ксеркс, спасены науки и искусство¹⁵⁰. Мечом орудовали Давид, Самсон, Гедеон. Мечом было совершено все великое в истории, ему же в конце концов она будет обязана всеми великими событиями, которые когда-либо в ней совершатся».

Остановимся теперь на более частных выводах, вытекающих из рассмотрения войн на историческом экране. Уже из нашего предыдущего очерка мы могли сделать заключение, что война исторически велась непрерывно или, говоря иначе, война подлжит закону непрерывности. Этот закон пущен в оборот Одиссом Баро¹⁵¹ (Odysse Barot), который свой вывод формулирует так: «Если взять довольно продолжительный период из жизни народов, с 1496 г. до Р.Х. (год заключения первого трактата¹⁵²) до 1861 г., то есть период в 3357 лет, то увидим, что на 227 лет мира приходится 3130 лет войны, то есть на 1 год мира — 13 лет войны. Таким образом, на основании истории вся жизнь народов представляется в виде непрерывной войны;

последняя является как бы нормальным их состоянием, а короткие периоды мира между длинными периодами войны как бы только перемирием».

Конечно, в самом приеме подсчета чувствуется некоторая условность или даже передержка. Вывод Одисса Баро производит впечатление, будто вся масса рода человеческого на протяжении 3357 лет воевала 3130; на самом деле это не так. В общий подсчет автор включил отдельные войны, вспыхивавшие то в одном, то в другом углу мира, а главным образом в Европе, и когда в одном углу государства или нации дрались, во всех остальных углах мира народы оставались вполне спокойными, а между тем их, по закону Баро, надо считать также воюющими. Словом, Баро из каждой отдельной войны делает мировую — может быть, бессознательно или для убедительности — и получает указанный выше вывод; поэтому, чтобы уточнить его вывод, надо было бы сказать, что на общий период жизни народов в 3357 лет приходится 3130 лет войны в том или другом месте Земли и только 227 лет полного и всеместного мира, то есть наша планета на 1 год мира имела 13 лет войны в том или другом из ее углов.

Правда, наш антимилитаристский век производит впечатление, будто раньше войны были чаще, а теперь совершаются реже и реже¹⁵³, но это нужно объяснить ошибкой из-за перспективы во времени; так в поле телеграфные столбы кажутся тем ближе друг к другу, чем далее они расположены от наблюдателя. Да кроме того, за дальностью времен улетучиваются подробности, и длинный период войны до нас доходит только в форме заглавия. Например, войны египетских фараонов XIII династии обнимают период в 100 лет, XIX династии в 134 года, войны израильтян во время судий — период почти в 300 лет и т. п., а мы их представляем себе только как сокращенную вывеску.

Закон Баро при его уточненном толковании сильно теряет с точки зрения непрерывности или, как неправильно говорят, вечности войн¹⁵³, но нужно заметить, что подсчет Баро проведен

очень узко. В него, например, вошли лишь отдельные войны Азии, совсем мало войн Америки или Африки, ни одной из войн Австралии или войн дикарей. Во-вторых, к числу войн Баро едва ли отнес большинство внутренних войн, значительную часть колониальных, войны, вызываемые забастовками, народными движениями, стихийными несчастьями и т. п., а между тем подобные войны так часто, а иногда так тяжело потрясают современные государства, что непрерывность войны современным нам веком будет выявлена, пожалуй, с большей яркостью, чем когда-либо прежде, это с одной стороны, а с другой — значительно увеличит общую сумму пережитых человеческих войн.

Считать же войнами эти события мы можем с полным правом. Мотивы их обычно крупного порядка, так как очень часто имеют в виду перемену государственного строя, а иногда и всего современного миропорядка; экономические пертурбации, вызываемые этими явлениями, доходят нередко до колоссальных размеров (шведская забастовка 89 лет тому назад, забастовки в Англии или Америке), много превосходящих потрясения какой-либо греко-турецкой войны; и, наконец, число павших в народных движениях, не считая жертв скрытых, то есть пострадавших от голода и лишений, часто бывает значительно выше, чем почти в любой из английских колониальных экспедиций».

Если же взять все войны социальные и добавить войны других углов мира, менее привилегированных, чем европейский, то сумма войн будет значительно повышена и закон непрерывности войны будет более широко обнаружен. Во всяком случае, он выявляется со значительною убедительностью, и мы вправе сказать, что в прошлом человечество воевало непрерывно.

Укажем на другие иллюстрации закона непрерывности войн. Вальбер (M. Valbert) в своей статье¹⁵⁴ говорит: «Начиная с 1500 г. до Р.Хр. и кончая 1560 г. по Р.Х., то есть за время 3360 лет, было заключено более 8000 мирных трактатов, которые должны были сохраняться вечно (*devaient subsister*

éternellement), но средняя продолжительность которых длилась два года».

Согласно этому выводу на каждый год жизни народов приходилось два мирных трактата, то есть похоже на то, что человечество в том или другом углу земли никогда не отдыхало от военных тягот.

Наконец, упомяну еще о подсчете Лацинского¹⁵⁵. Он говорит, что общее число войн, вошедших в его хронологию, составляет свыше 1500 номеров. При этом он добавляет, что многие номера представляют собою не отдельные кампании, а целый ряд их, иногда целую эпоху однородных войн, например, кроме указанных уже нами египетских войн XVIII и XIX династий и израильских во время судий, Лацинский приводит: войны разных ассирийских, персидских, сирийских и др. царей; Крестовые походы 1095—1291 годов, войны христианских королей Испании и Португалии с мусульманами в XII столетии, походы Фридриха Барбароссы 1154—1186 годов, войны христиан с сарацинами в XIII столетии, азиатские походы монголов 1230—1283 годов, войны христиан с сарацинами в XI столетии, завоевания Тамерлана 1371—1405 годов, войны немецких городов с князьями 1372—1396 годов, восстания ирландцев и войны их против английского владычества 1572—1612 годов и многое др.

Если принять во внимание, что общая длительность наиболее продолжительных войн дает 1500 лет, а среднюю продолжительность остальных войн мы можем принять за три года, то получим тот вывод, что за время с 1500 года до Рожд. Христ. (приблизительно) до 1900 года по Р.Х., то есть за 3400 лет исторической жизни, человечество имело 6000 лет войны, значит, на 1 год общей жизни приходилось 1,7 года войны.

У Отто Берндта¹⁵⁶ мы находим цифры годов войны и мира, относящиеся к прошлому столетию¹⁵⁷ и составленные с большой аккуратностью. Берндт по 17 странам Европы подсчитывает количество годов войны и годов мира для каждой из стран в отдельности. Получается, например, для Турции 37 годов войны

и 59 годов мира, Испании — 31 и 65, Франции — 27 и 69, России — 24 и 72, Англии — 21 и 75, Швеции — 10 и 86; а при выбросе малых военных осложнений (*Kleineren Kriegerischen Verwicklungen*) подсчет (в другой таблице) дает такие результаты: для Франции — 21 год войны и 75 лет мира, России — 20 и 76, Англии — 19 и 77, Швеции — 9 и 87, что дало право сказать Штейнмецу¹⁵⁸, что число мирных годов в XIX веке значительно превосходит число годов войны... для 17 стран Европы и для каждой страны в отдельности, — добавим со своей стороны. Этот вывод как бы противоречит закону Одисса Баро, но если мы примем его метод подсчета, то противоречие исчезнет. Сложив общее число годов войны по первой таблице, получим 261 и, разделив на 2 (допустим, что наиболее типичным видом войны было состязание двух стран, а не 3 или 4), получим 130 лет войны в Европе на 96 лет, то есть в XIX веке Европа воюет непрерывно. Вторая таблица дает 93 года войны на 96 общих лет; это меньше, но противоречие также устраняется. Конечно, отдельные страны имели меньше годов войны, чем годов мира, но это, вероятно, было уделом всех стран в прежние времена — Греции, Рима, России и т.д. Может быть, какая-либо страна в одни из столетий больше воевала, чем жила в мире, но нужно думать, это было редчайшим исключением.

Таким образом, закон непрерывности войн выясняется с достаточным приближением к истине и только, вероятно, какой-то методологический недочет лишает нас возможности выявить закон с большей убедительностью и наглядностью. Но само собой разумеется, раз война с далеких дней старины и по наши дни течет непрерывно, составляя неотъемлемую принадлежность рода человеческого и не меняя своей интенсивности, то в этом уже можно видеть намек на закон вечности войны. Именно намек, так как факт непрерывности в прошлом является, может быть, только частным признаком в характеристике существа войны вообще. Он ценен лишь с той стороны, что раз какое-либо социальное явление выявляется как непрерывный спутник в жизни народов и притом за весь улавливаемый нами

огромный период времени, то, вероятно, это явление может оказаться и вечным спутником человечества, и еще более вероятно, что война не может внезапно под давлением каких-либо факторов, как бы они ни были сильны, покинуть нашу грешную землю.

Из других явлений, которые выясняются при обозрении войны на историческом фоне, достойно упомянуть о законе уменьшения военных потерь. Философское значение этого закона лишь подсобное, почему упомянем о нем возможно короче. Для многих соображений очень важно знать, падает или возрастает число военных потерь, которые иначе называются прямыми жертвами войны. Стали ли войны кровавее, чем раньше, или менее кровавыми. В литературе по этому интересному вопросу нет крупной основательной работы. А это обстоятельство обуславливается прежде всего и главнее всего тем, что цифровой материал вообще для всех социологических исследований, а особенно в области военных явлений крайне скуден и ненадежен. Сама психология и обстановка войны всегда такова, что точную цифру — особенно боевую — дать или получить очень трудно и по нервности обстановки, нарушающей духовное равновесие, и по разным бытовым мотивам, уродующим цифровой материал то в сторону его преуменьшения, то в сторону преувеличения. В этом отношении нет разницы между ассирийским царем Туглат-Габал-Ассуром, который, несомненно, преувеличенно покрывает поля сражений многочисленными жертвами своей победы, и нашим Суворовым, который также склонен увеличить число павших турок по соображениям, что нечего жалеть басурман.

Поэтому вопрос о военных потерях приходится решать не путем лишь сравнительной оценки цифровых данных, но и при помощи многих окольных путей и соображений.

Начнем с далеких времен. Мы видели, что битвы дикарей и древних народов были крайне кровавы и разрушительны. Штейнмец же говорит, что битвы австралийцев были не кровавы; они велись с другими такими же племенами, находящи-

мися на очень низкой ступени развития. Штейнмец пытается объяснить малое число жертв этой низкой ступенью, а затем очень бедной обстановкой, при которой воевать было нечем; при средней же и высокой степени развития дикарей, когда люди стали заниматься охотой, а потом обрабатывать землю и возвращать стада, войны приняли весьма жестокий характер. Я думаю, что войны были жестоки и у самых диких дикарей, а явление милостивых или скорее вялых австралийцев представляет собою только исключение, не более. Это мы видели и при нашем обзоре войн у дикарей, когда наткнулись даже на совсем не воюющих самоедов.

На островах Индийского океана войны были тяжки. На Новой Гвинее деревни разрушаются, некоторые совсем вымирают; жители островов Фиджи страшно жестоки, они воспитываются в чувстве мести и вечно воюют; жители Полинезии, по свидетельству Меренгута¹⁵⁹, только и думают, как бы убить и сожрать своих врагов; жители Новой Каледонии убивают всех на войне и очень редко щадят побежденных¹⁶⁰. Туземцы немецкой Новой Гвинее стремятся к полному уничтожению врагов¹⁶¹.

То же мы видим в Америке, где население ее до открытия ее Колумбом оставалось малым, каким было всегда, и это главным образом благодаря вечным войнам. Старые индейцы рассказывали Лоскиелю (1789), что их прежние войны были более длительными и жестокими; обычно гибло много народа с обеих сторон. Морган, знаток ирокезов, говорит о непрестанной войне, об ужасном и жестоком способе ее ведения; племена адирондак, атикамеу и эри были уничтожены почти поголовно. Таковы же были и другие народности. Племя алгоиквик в одной только войне перебило народ ирокезов так, что остались лишь очень немногие; у восточных индейцев главною целью войны было уничтожение врага; индейцы Фокса воевали с ирокезами до тех пор, пока чуть ли не окончательно истребили их...

В Африке мы видим ту же картину. Опустошительные войны зулусов общеизвестны. Племя масаев живет исключительно войной; перебив своих внешних врагов, они вступают в драку

между собою. Абиссинцы подвергали полному опустошению провинции, избивали мужчин всех до одного, женщин и стада уводили к себе. У племени галла в обычае «дина», то есть борьба до полного уничтожения противника, каковая война велась всегда.

Не продолжая более примеров, повторим свой прежний вывод, что дикие, вероятно, были всегда кровожадны и вели свои войны самым жестоким образом, с огромными потерями в людях.

Войны варваров были не менее кровожадны, чем войны дикарей. Татары и вообще кочевники Азии имели привычку подвергать полному избиению завоеванные города, походы их были полны жестокости. Войны Явы продолжались долго и поглощали много жертв, пока не явились голландцы. Таковыми же были войны древних египтян, ассириян и вавилонян: жатва врага уничтожалась, женщины и дети похищались и продавались в рабство, пленные уродовались и замучивались до смерти, города сжигались¹⁶².

Евреи были, как известно, не менее жестоки. Иисус Навин уничтожил все племя Гая, в один день были перебиты 12 000 мужчин и женщин; так он поступал со всеми завоеванными странами: ни одна живая душа не была пощажена¹⁶³. Судьи действовали не менее жестоко: Егуда перебил 10 000 способных носить оружие мужчин, вся армия тогда была перебита до одного человека. Самуил именем Иеговы приказал перебить всех амаликитян вплоть до женщин и грудных детей, и «Господь негодовал, что его приказ не был исполнен буквально»¹⁶⁴. Летурно говорит, и с ним придется согласиться, что евреи в древности ставили целью войны полное уничтожение противника¹⁶⁵.

На другом конце мира — у древних мексиканцев и перуанцев мы находим ту же манеру вести войны, как и у народов Старого Света. В истории королей Текскуке мы читаем, что при принце Икстликсихитле все пленные были отведены в храм Мексики и принесены в жертву богам; завоеванные города предавались избиению и грабежу; целые народы и провинции

подвергались таким мучениям, что «они не были в силах двинуться»¹⁶⁶. Брюль рассказывает, что после одной победы были перебиты все старики, женщины и дети. Племя чипха избивало всех побежденных, уводило в рабство женщин, а мальчиков и юношей приносило в жертву богам¹⁶⁷.

Только у перуанцев как будто проглядывают признаки более мягкого отношения к побежденным, да и это, может быть, придется приписать недостаточной расшифровке прошлого этого народа.

Наличность у китайцев и индусов гуманных военных законодательств ввело некоторых исследователей в обман относительно более мирного решения военных задач. Но это очевидная ошибка, как относительно индусов, так и особенно китайцев. Китайцы — народ очень жестокий, о чем свидетельствуют существующие у них наказания, а войны их были не менее жестоки и сопровождалась огромными потерями. Например, в одной великой войне 223—263 годов население от 50 000 000 уменьшилось до 9 000 000; в гражданской войне 754—760 годов население от 45 000 000 уменьшилось до 9 000 000; война с монголами отняла у китайцев половину населения, около 50 000 000. Как известно, восстание тайпинов было подавлено с невероятной жестокостью: генерал племени манчу Ии за один месяц истребил 70 тысяч мятежников, а сами манчу в одной битве около Нанкина потеряли 60 тысяч. Ужасно свирепствовали манчу, когда они в благородном союзе с англичанами и французами разбили тайпинов: все запасы были уничтожены, все деревни сожжены и все жители перебиты¹⁶⁸.

Что касается до истории войн в Индии в старые времена, то там можно найти образцы жестокости и потерь, мало уступающих китайским¹⁶⁹.

Обратимся к рассмотрению войн в Европе. Войны в Греции абсолютно не поглощали много жертв, но они свирепствовали непрерывно. Белох¹⁷⁰, например, на пространстве 85 лет насчитывает 55 крупных войн, не считая бесконечных малых, а кроме того, войны были относительно очень тяжки. Потеря 3900 у Ко-

ринфа не должна считаться малой, принимая в расчет малочисленное население, а в битве при Сиракузах афиняне потеряли 20 000 человек, имея всего в Афинах не более 30 000 взрослых граждан¹⁷¹.

В битве при Теламоне римляне перебили 40 000 кельтов. Моммзен сообщает, что во время войны с Ганнибалом число римских граждан уменьшилось почти до одной четверти; число павших в этой войне жителей Италии 300 000 человек он не считает преувеличенным, целый ряд цветущих городов был уничтожен или опустошен¹⁷². Нужно добавить, что население Италии было в то время весьма малочисленно.

Сами римляне были очень суровы в ремесле войны. В войне с Югуртой Метелл (правда, особенно строгий военачальник) перебил весь город Вакки; прошел огнем и мечом через всю Нумидию и перебил всех способных носить оружие мужчин¹⁷³. Цезарь проявил в Галлии большую суровость: город атуатов, насчитывавший 43 000 жителей, был после кровавой битвы предан в рабство; та же участь постигла город Венету, а в Аварикуме все народонаселение было перебито¹⁷⁴. Из 60 000 жителей города Нарви спаслось только 500 человек, Ариовист оставил на поле битвы 90 000 трупов. Плутарх говорит, что в течение десятилетней войны в Галлии Цезарь из 3 000 000 врагов перебил 1 000 000. А между тем Цезарь жестоким не считался¹⁷⁵.

Если прав Плутарх, то около трети врагов Цезаря легли на поле битвы, но авторитетные Белох и Дельбрюк относятся к цифрам Плутарха с некоторым скептицизмом¹⁷⁶. Особенно это сомнение справедливо относительно древних германцев, армия какого-либо кочующего германского племени не могла превосходить 15 000 человек.

Интересный образчик преувеличения военных сил указывает Дельбрюк в другом месте¹⁷⁷. Согласно одному нормандскому источнику англосаксонское войско Гаральда насчитывало в битве при Гастингсе 1 200 000 человек, между тем как в действительности оно вряд ли насчитывало более 7000 человек.

Средневековье оставило нам очень туманные данные относительно военных потерь. В битве при Креси, в которой, согласно хроникам, на английской стороне сражалось более 25 000 человек пехоты, на французской стороне пало около 3 800 человек. В битве при Азенкуре французская армия насчитывала 50 000 чел., а английская только 13 000; приводятся потери только первой и притом благородных рыцарей; их пало до 7 000; по-видимому, общие потери французов были огромны.

Особенно кровавыми были войны религиозные. Крестоносцы¹⁷⁸ страшно свирепствовали в Иерусалиме, все население было перебито, а женщины предварительно изнасилованы. С той же жестокостью поступили по приказанию папы Иннокентия III с альбигойцами¹⁷⁹.

Эпоха Возрождения знала, между прочим, страшные проявления военной ярости. Сфорца, завоевав Пиаченцу, разрешил своим войскам неистовствовать в городе в течение 40 дней: население совершенно перебито. Испанские войска обнаружили как в Америке, так и в Нидерландах исключительную жестокость. После битвы при Каглиари венецианцы перебили всех пленных генуэзцев¹⁸⁰.

Ужасные опустошения Тридцатилетней войны общеизвестны, население Германии, как я уже говорил, уменьшилось до одной трети¹⁸¹.

Но скажу еще раз, Средние века не оставили нам надежного цифрового материала военных потерь, и эта сторона дела еще ждет своего исследователя.

Более точные данные имеются о временах более к нам близких, и то лишь о некоторых эпохах или войнах. Например, в Семилетнюю войну армия Фридриха Великого за время с 1758 по 1763 год потеряла 1 500 офицеров и 180 000 солдат, а Австрия в течение той же Семилетней войны потеряла на поле битвы и от болезней 129 000 человек¹⁸². В весьма упорной и кровавой войне Северо-Американских Штатов за освобождение армия Северных Штатов потеряла убитыми, ранеными и больными 359 000 человек, из которых на полях битвы погибло 67 000.

В войне с Данией прусская армия насчитывала 39 200 человек, и из них погибло от ран, болезней и на поле битвы 1048 человек.

Уже пользуясь общим впечатлением, мы можем сказать, что XIII столетие в отношении ведения войн сильно отошло от прежних времен, а особенно от Средних веков в смысле жестокости, страстности и количества военных потерь.

Только XIX столетие дает нам возможность подойти к вопросу о военных потерях с большей уверенностью. Конечно, и здесь мы встречаемся с сомнительными, а еще чаще с преувеличенными цифрами, но таковые уже есть, а цифровой подсчет потерь, например, Франко-немецкой войны или Русско-японской дают уже очень приличную статистическую картину. Правда, Берндт, столь требовательный к военным цифрам, говорит с большим недоверием о числе приводимых военных потерь, вообще признавая, что в большинстве случаев нет надежных дат, особенно же относительно наполеоновских походов царит полная неясность (*Leider fehlen aber bei den meisten zuverlässige Daten, besonders betreffs der Napoleonischen Feldzüge, herseht volle Unklarheit*), но на это нужно смотреть как на каприз большого специалиста, не более¹⁸³.

В первую половину XIX столетия не было много войн, если не считать больших войн первых пятнадцати лет. Точных статистических данных о потерях нет, но данные различных авторов сходятся на огромном числе 3 000 000 человек для всей Европы. Но нужно отметить, что в эту сумму должны входить и сражения XVIII столетия, из которых некоторые были очень кровавы. Доктор Ланьо, член Академии, задавшийся задачей вычислить, сколько Франция потеряла от войн в последние сто лет, вычисляет, что в революционное время Франция потеряла 2 122 000, а в Наполеоновскую эпоху 2 000 000 круглой цифрой. По Бодарту, в Наполеоновскую эпоху погибло круглой цифрой 1 750 000¹⁸⁴. Далее в течение протекшего столетия культурные народы вели несколько важных войн и вне Европы, каковы: весьма кровавая война между Северными и Южными Штатами Америки, колониальные войны Англии и Голландии, кровавая

война Франции из-за Алжира и Мадагаскара, войны России в Средней Азии, Русско-турецкая война и Балканские войны. О большинстве этих войн нет точных данных о числе потерь.

За сравнительно мирный период между 1813 и 1863 годом Гаузнер дает такие цифры человеческих потерь в 113 войнах, веденных европейцами: 2 148 000 европейцев и 614 000 неевропейцев. Но эти цифры едва ли не преувеличены, что очевидно свойственно Гаузнеру. Например, число потерь в Крымскую войну он оценивает в полмиллиона, между тем как Левассер насчитывает не более 175 000 убитых и раненых; или число потерь в обе Итальянские войны он определяет в 200 000, а Левассер полагает, что в последнюю Итальянскую войну пало не более 9000 человек убитыми. Очевидно, Гаузнер любит сильно преувеличивать и, кроме того, судя по замечанию Берндта, считает всех раненых окончательно погибшими.

За вторую половину XIX столетия мы должны остановить наше внимание на пяти больших войнах — Крымской, Итальянской 1859 года, Прусско-австрийской 1866 года, Русско-турецкой 1877—1878 годов и Франко-немецкой 1870—1871 годов. Более мелкие в расчет не идут, да и цифровые данные потерь в этих войнах слишком ненадежны.

Цифру потерь убитыми и ранеными во время Крымской войны исчисляют в 175 000 человек¹⁸⁵. Берндт¹⁸⁶ высчитывает, что союзники потеряли убитыми 21 000 человек, умерло от ран 14 700 человек и от болезней 37 500 человек. Нужно добавить, что союзники отправили в Крым 428 000 человек, русские около 325 000 человек. По Берндту выходит, сумма убитых, умерших от ран равна 55 900 чел. В Итальянской войне общее число потерь французов, итальянцев и австрийцев вместе составляло 8 963 человек убитыми и 48 125 человек ранеными¹⁸⁷.

В Прусско-австрийской войне прусская армия потеряла 2910 человек убитыми и 15 554 ранеными¹⁸⁸. Кроме того, умерло от болезней 6427 человек, а из раненых умерли 1519 человек. Согласно более проверенным статистическим данным все потери убитыми составили 10 877¹⁸⁹ человек. Цифры ав-

стрийских потерь были, без сомнения, значительно больше. Принимая во внимание, что в сражении под Кенигрецем (Садовая) австрийцы потеряли убитыми втрое больше, чем пруссаки (первые 5793, а вторые 1935¹⁹⁰), можно с достаточной вероятностью принять и за всю войну число убитых австрийцев втрое больше, чем соответственное число пруссаков, и тогда получим число убитых австрийцев 32 631. Общая же сумма убитых в Прусско-австрийской войне будет равна 43 508 человек.

Общая сумма потерь немецких армий в войне 1870—1871 годов состояла из 24 031 человек ранеными, 14 138 пропавшими без вести, а всего была 127 897 человек, из которых умерло 40 881 человек¹⁹¹ (заметим, что эта цифра выражает одного человека на тысячу народонаселения Германии в 1871 году, или 2,03 на тысячу человек мужского населения).

У Блюха мы находим общее число потерь в 127 897¹⁹², так как он, по-видимому, считал убитых вместе с ранеными, что может ввести в заблуждение. Нужно сказать, что как цифра потерь Блюха, так и комбинации с этими цифрами заслуживают широкого недоверия, а вечное пацифистское резонерство и опасливость усиливают скуку при чтении этого огромного, но поистине bestолкового труда.

Ланьо говорит, что число французских потерь в войне 1870—1871 годов точно не установлено, но он считает общие потери армии равными 139 000 убитыми и 143 000 ранеными¹⁹³. Французский академик, взявшийся определять размеры военных потерь, упустил из вида общеизвестную норму между числом убитых и раненых, которая характеризуется отношением $1/3$ ¹⁹⁴ или, точнее, колеблется между $1/3$ — $1/4$.

Уже эта норма говорит о том, что цифра убитых 139 000 слишком велика и она должна колебаться между 47 и 28 тысячами, держась ближе к 47 000. Берндт решительно оспаривает цифру 139 000 как по соображениям явно нарушенной нормы, так и потому еще, что французы не могли, при потере немцами 40 тысяч убитыми, потерять более чем втрое больше,

особенно потому, что немцы преимущественно атаковали и при этих атаках должны были нести значительные потери. Считая число убитых французов по крайней мере вдвое меньше по сравнению с ранеными, мы должны допустить первую цифру, не более 70 000.

Таким образом, общие потери за всю войну убитыми французами и немцами могут быть выражены круглой цифрой в 110 000 человек.

Данные Русско-турецкой войны относительно военных потерь очень туманны, особенно для турецкой стороны и, в частности, для азиатского театра. По подсчету потерь в 25 больших и малых делах¹⁹⁵ русские потеряли убитыми и ранеными 71 300 человек, а турки 69 600. Кроме того, турки потеряли пленными 92 238 чел. Общие потери обеих сторон убитыми и ранеными 140 900, а допуская одного убитого на 3 раненых, общее число убитых получим в 35 225 человек. Если мы теперь просуммируем число убитых (присоединяя и умерших от ран, где это выступает отдельной рубрикой) в 5 больших войнах второй половины XIX столетия, то получим цифру в 253 088, или, округляя ее, 1/4 миллиона... Это очень далеко до жертв, причиненных Цезарем Галлии за 10 лет.

Теперь мы можем попытаться дать общую оценку всех потерь в войнах XIX столетия. Де Лапуж, очень остроумный и смелый, но слишком большой фразер и неспособный к критике, выражает¹⁹⁶ общую потерю культурных народов официально зарегистрированными убитыми в течение XIX столетия числом 13 000 000. Конечно, сопоставляя эту цифру с приведенными выше более или менее надежными данными, мы должны ее считать крайне преувеличенной. К разряду таких же фантастических цифр того же Лапужа относится 40 000 000, которой он определяет общие потери за столетие. Столь же прав и Толстой, принимавший число павших в войнах XIX столетия в 30 000 000¹⁹⁷.

Мы не последуем за врагами войны, создавая страшные суммы потерь, и укажем лишь на возможный метод подсчета

потерь за XIX столетие. Примем, что наполеоновские войны 1800—1815 годов дали потери в 750 000, считая здесь вместе с убитыми и ранеными. Допуская соотношение с убитыми и ранеными как 1 к 3, число убитых в наполеоновские войны определим в 440 000. Цифра Гаузнера, равная 2 000 000¹⁹⁸, по такому же соображению, даст 500 000 убитыми, и, наконец, потерю убитыми за пять больших войн будем считать круглой цифрой в 250 000 человек. Тогда общая сумма потерь убитыми в войнах Европы за XIX столетие выразится цифрой в 1 200 000 человек.

Конечно, и она будет несколько велика, так как мы в нее включили неевропейцев и европейцев, воевавших вне Европы, хотя, правда, мы выпустили жертвы небольших войн, но последние не должны превзойти нашей надбавки. Будем считать число убитых в войнах Европы за XIX столетие круглой цифрой в 1,2 миллиона. Но повторим, что мы показали лишь метод для предположительного подсчета, ни в коем случае не ручаясь за точность наших цифр. Полагаем, что этот подсчет едва ли когда и будет определен с достаточной надежностью, цифры, утерянные историей, чаще всего теряются навсегда. Во всяком случае, наша цифра, наверное, ближе к правде, чем вдесятеро большая цифра Лапужа, хотя и официально зарегистрированная, или в двадцать пять раз большая цифра Толстого, достойная его художественной фантазии и его пацифистского добродушия.

По поводу цифры 40 881 человек убитых в войне 1870—1871 годов с немецкой стороны я упомянул параллельно, что она выражает потерю одного человека на 1000 общего населения Германии в 1871 году, или 2,03 человека на тысячу лиц мужского населения. Интересно по этому поводу привести, что в Германии смертность в 1851 году с 25,5 на 1000 поднялась до 29,9 — в 1852 году; далее с 26,6 на 1000 в 1856 году до 28,7 — в 1857 году, с 24,8 на 1000 в 1860 году до 27,1 в 1861-м и с 21,7 на 1000 в 1898 году до 22,6 — в 1899 году¹⁹⁹.

В Европе смертность с 1821 до 1830 года составляла только тридцать на 1000, за период 1831—1840 годов она поднялась до 31,3²⁰⁰.

О чем говорят нам эти цифры? А о том, что потеря немцев в Франко-немецкую войну людьми в десять раз меньше обычной ежегодной потери этой страной в народонаселении, то есть является потерей скромной. В 1852 году, по сравнению с предшествующим годом, страна потеряла лишних 3,4 человека на 1000, в 1856 году против 1855 года лишних потеряно 2,1 на 1000 и т. п. Значит, бывают годы, когда Германия от каких-то естественных, пока неуловимых причин теряла вдвое и даже втрое больше, чем в войну 1870—1871 годов, когда она вела тяжкую борьбу за свое государственное достоинство и победив в которой она поднялась со сказочной быстротой во всех областях народной жизни.

Отсюда мы видим, что прямые потери от войн в ближайшие к нам времена объективно невелики и не только не могут равняться с величиной естественной смертности, но уступают потерям от многих других причин — болезней (чахотка), эпидемий и т. п. И значит, привычку говорить о военных потерях в возвышенных тонах и с ужасом на лице нужно относить к области психологии, а не логики. Ведь когда Германия в 1855 году потеряла 2,1 человека лишних на 1000 против прежнего года или в 1852 году на 3,4 человека более, кто-нибудь заметил это, кроме присяжных статистиков? Конечно, никто.

Таким образом, говоря объективно, если мы находим военные потери столь ужасными, то ужасно здесь не излишне высокое число умерших — объективно, как видели, оно очень скромно, а какие-то другие обстоятельства: прежде всего характер смерти, цветущий возраст умирающих, еще не достигших своей жизненной череды, множество умерших в одном месте и от одной причины — а это производит сильное впечатление, как, между прочим, и тот факт, что причиной этого возросшего числа смертей являемся мы сами с нашими решениями и с нашим видимым бессилием.

Если мы останавливаемся на факте преувеличения военных потерь, то, конечно, не с целью оправдания войны, чем философия ее не занимается, а для выявления в настоящем свете

природы очень многих мнений и переживаний, связанных с существованием войны...

Теперь мы можем сделать вывод относительно закона изменения военных потерь. Мы видели, что народы дикого состояния воевали жестоко, до полного истребления врага. Тут остатков не было, и число жертв войны, вероятно, нередко доходило до 100% прежнего народонаселения. Например, из краснокожих племен многие совершенно исчезли с лица земли или свелись к единицам в результате неудачных войн. У африканского племени галла был особый тип войны до полного истребления врага; этот тип назывался «дина». Кратко наш вывод выразим так: у диких народов войны очень часто велись до полного и фактического истребления врага, включая жен, детей и стариков.

Войны варваров были не менее кровавыми, но наличие института рабов, часто достигаемая большая добыча и проблиски государственного расчета умеряли размах этих войн, и полное истребление врага в них мы уже находим редко. Во всяком случае, женская половина населения, и старики, и дети были в большинстве случаев исключены из числа военных потерь, варвары сохраняли им жизнь. Конечно, были отдельные случаи, когда все гибло; в Герате, например, поголовно все население было перебито, город сравняли с землей и по земле прошел плуг. Иисус Навин истребил все племя Гая. Но такие эксцессы, приближавшиеся к подобным же у дикарей, были исключением, хотя, может быть, и не особенно еще редким... И если история Востока для Европы сохранила лишь образцы кровавой резни, то для себя она хранит много и иных образчиков победы. Что касается до мужского населения, способного носить оружие, то таковое в войнах варваров часто истреблялось до последнего человека. Фаллотомирование древних народов было таким институтом, который выкорчевывал вчистую недорубленный лес мужского населения. Правда, часть такового уводилась в плен, но там она гибла при излишне тяжелой обстановке жизни и труда или гибла для своей страны и в качестве производителя и в качестве орудия труда.

Значит, в войнах варваров жены, дети и старики в большинстве случаев щадились, но население способное носить оружие, часто было избиваемо до последнего человека.

В войнах классического мира мы видим уже определенный сдвиг к уменьшению военных потерь. Старый принцип истребления народностей или поголовно, или в лице воинов и производителей теперь совершенно оставлен, а с ним, конечно, значительная доля жестокости и истребительности. Классический мир в основе войны ставит ту или иную политическую задачу, и если она оказывается достижимой без особой кровавой расправы, то мир уже довольствуется такими достижениями. В этом отношении характерны переговоры Тита с еврейскими вождями при осаде Иерусалима²⁰¹, в которых Тит не в первый раз предлагает свои ультимативные требования и не один раз попадает на обман, после чего уже переходит к репрессиям.

Часть населения, не способная носить оружие, теперь совсем уже исключается из суммы военных потерь и входит в нее разве только как редкое исключение, притом распространяющееся на отдельные единицы. Что до мужского населения, способного носить оружие, то оно целиком гибнет редко, разве в отдельных сражениях, но общая его потеря за войну велика. При длительных войнах — например, 2-я Пуническая — сильно убывает и общее население. Если мы хотя бы приблизительно попробуем определить процент военных потерь в сражениях, то он в большинстве случаев окажется не ниже 50 % от общего числа сражающихся, а нередко доходит до 80 % и даже до 100 %.

В битве при Сиракузах афиняне потеряли 20 000 человек, имея всего в Афинах не более 30 000 взрослых граждан, то есть 66 %. Римляне при Каннах потеряли из 90 000 человек 70 000, то есть 77 %.

Войны Цезаря в Галлии показывают на очень высокий процент военных потерь галлами. Если Плутарх и не прав со своими миллионом, который будто бы был перебит Цезарем за 10 лет войны в Галлии, то потери, понесенные городами Венетой, Аварикумом, Нарви, были огромны и, по-видимому, до-

ходили до 80—90 % общего населения этих городов. 90 000 трупов, оставленных на поле битвы Ариовистом, свидетельствуют о таком же высоком проценте потерь.

При осаде Титом Иерусалима погибло 1 100 000 народу²⁰², очевидно, обоего пола, да 87 000 было взято в плен. Чтобы высчитать, какой это составит процент от населения Иерусалима, нужно воспользоваться объяснением самого же Иосифа. Он говорит, что к началу осады города собралась масса народа в город со всех областей для празднования Пасхи и число собравшихся, по количеству зарезанных пасхальных животных, он определяет в 2 556 000. Значит, число погибших (включая и пленных) доходило почти до 50 процентов.

Таким образом, в классическом мире военные потери замыкаются в пределах сражений, то есть распространяются только на сражающихся, а население страдает от войн (преимущественно длительных) параллельно не прямо от меча, а от злоупотреблений, грабежей, разгула и общих лишений, увы, спутников каждой войны. Что касается до процента потерь в сражениях, то он очень велик, как норма едва ли спускается ниже 50 % от числа побежденного и нередко доходит до 80—90 %.

Средние века и начало Новых схоронили от нас свои цифры военных потерь, или представили их в преувеличенном виде, или дали их нам однобокими. Здесь мы можем только догадываться, и наша догадка сведется к тому, что битвы Средних веков по сравнению с таковыми же классического мира показывают дальнейшее понижение. К сожалению, больше этого мы сказать не можем. Но отсутствие сражений с полным истреблением врага, нередкие уклонения воюющих или части их от полного завершения сражения говорят теперь о менее суровом настроении сражающихся. Что касается до страстности некоторых войн, особенно религиозных, то эти войны надо признать все же скорее исключением.

Но что важно было в войнах Средних веков и Нового времени — это то, что они велись малыми силами, почему даже большие относительно потери абсолютно оказывались малыми.

Худой их стороной была разнузданность наемной профессиональной солдатчины, которая являлась бичом населения и от которой страны страдали несказанно.

Но уже в войнах XVII столетия мы располагаем достаточным цифровым материалом. Фридрих Великий, например, за Семилетнюю войну потерял 1500 офицеров и 180 000 солдат, а Австрия за то же время на поле битвы и от болезней потеряла 129 000. Война Американских Штатов была более кровава, она стоила им 359 000 убитыми и ранеными. Но конечно, эти потери и в сравнение не идут ни с таковыми у галлов или евреев при Тите, ни с потерями Атиллы на Калаунских полях. В Новое время, а тем более начиная с XVIII столетия военные потери еще строже замыкаются в рамки сражений, воюют между собою только воины, а население страдает; кстати, с этого времени подсчет военных потерь, как правило, сводится к подсчету воинов. Война стала менее жестока, вообще локализуется в пределах так называемых театров войны, а потери людьми сводятся почти исключительно к потерям на полях сражений.

Начиная с Фридриха Великого, мы имеем уже подсчет процентов военных потерь для отдельных сражений и для цикла сражений, то есть для войн, и перед нами ясное подтверждение на пространстве 150 лет того, что мы видели на огромном протяжении истории, начиная с древнейших времен. Берндт²⁰³ приводит таблицу общих военных потерь за²⁰⁴ войны Силезские, наполеоновские, Русско-польскую 1831 года и т. д. до войны 1870—1871 годов, обойдя молчанием Русско-турецкую 1877 года. Если мы выбросим из этой таблицы небольшие войны, Итальянскую 1848—1849 годов и Австро-венгерскую тех же годов, то перед нами будет такая картина общих процентов военных потерь главнейших войн XIX столетия:

| | |
|------------------------------|-------|
| В Силезских войнах 1741—1763 | 23,5% |
| Русско-польской 1831 | 18,5% |
| Наполеоновских 1800—1815 | 19% |
| Крымской войне 1855—1856 | 15% |

| | |
|---------------------------|-------|
| Итальянской 1859 | 13,5% |
| Прусско-австрийской 1866 | 12% |
| Франко-немецкой 1870—1871 | 12,5% |

Более наглядного рисунка, изображающего закон уменьшения военных потерь, представить трудно. Нужно заметить, что кроме цифр за наполеоновские войны остальные (и даже за Силезские благодаря числу войск и характеру ведения операций) заслуживают достаточного доверия; кроме того, нелишне подчеркнуть, что за 150 лет число военных потерь уменьшилось вдвое, от 23,5% до 12,5%.

Из представленного нами обзора военных потерь выявляется почти с неоспоримой ясностью закон непрерывного уменьшения военных потерь, который может быть сформулирован так: на протяжении исторической жизни народов относительное число военных потерь как в войнах, так и отдельных сражениях имеет склонность к непрерывному уменьшению.

Мы сказали «относительное», потому что оно, собственно, и интересно, в нем-то и дело, а не в абсолютном уменьшении или увеличении, которое зависит от общей массы борющихся и которое еще не характеризует ни страстность, ни кровожадность сражения.

Указанный закон мы могли бы расширить дополнением об ослаблении жестокости и разрушительности войн на протяжении истории, но эта сторона пока лишь чувствуется, но не выявляется с достаточной очевидностью. И тому причиной Средние века и первые два столетия Нового времени.

Изучая войны на историческом экране, нельзя пройти мимо одной их эволюции в сфере влияния и проникновения войн в область государства. Об этом я уже говорил понемногу. За исключением периода дикого состояния народов и отчасти варварского (древние германцы, арабы до Магомета) война оказывалась сравнительно частным явлением в жизни народов в том смысле, что воевала всегда относительно небольшая группа населения и издержки на войну были невелики, на-

пример, в жизни Рима или Средние века они были под силу частным лицам. В Индии или Древнем Египте войны замыкались в особую касту, и притом небольшую: в некоторых государствах Древней Греции воевали только привилегированные классы, Карфаген довольствовался наемными войсками, Рим в период своего наибольшего разрастания, когда он имел до 400 миллионов, довольствовался 20—25 легионами, с которыми выполнял свою мировую миссию, то есть 2 — 2,5 % от всего народонаселения. В Средние века²⁰⁵ мы имеем разнородные типы войск в форме разного вида милиций, вербованных отрядов, наемников и т. п. Сохранялась та же особенность: войска представляли собой небольшие группы, часто даже чужих людей, а стоили они дешево.

Так продолжалось до XVII столетия, когда войсковые массы стали расти, как, например, во Франции XVII и XVIII столетий, задачи, преследуемые войнами, стали систематичнее и государственнее и финансирование войн из области случайных и частных удовлетворений перешло в область заблаговременной государственной предусмотрительности. Подобное расширение существа войн шло непрерывно, но развивалось слабо, пока с начала XIX столетия, по почину Пруссии, указанное расширение пошло темпом более быстрым. Началось оно с создания принципа всеобщей воинской повинности²⁰⁶ и проведения всего населения, способного к войне, через разные категории и степени обучения... С этого началась постепенная милитаризация всего населения страны в предвидении войн, и притом милитаризация в смысле способности мужской части населения (а в новейшие дни и женской) принять непосредственное участие на возможном театре военных действий. Как повелось в дальнейшем расширение и огосударствление войны и в какую форму этот процесс вылился в мировую войну 1914—1918 годов, нами уже говорилось, и сказанного с нас довольно. А вывод мы сделали тот, который и можем повторить, что войны на пути своего исторического развития от состояния частных явлений все более и более эволюционировали

в сторону расширения своего объема, большего и большего огосударствления своих функций до пределов полного проникновения своими требованиями и влиянием в недра государственного тела, в самую его толщу.

Наконец, еще один вопрос, и мы покончим с историческим обзором войн.

Есть что-то мистическое, что-то глубоко проникновенное в непрерывной череде народов, которые выступают друг за другом на арену истории и сменяют один другого, как часовые, стоящие на страже заветных дел человечества. И в этом молодом выступлении на сцену, и в усталом уходе с нее видную и роковую роль играет война.

Где-то в горах Персеполя ютится небольшой и молодой народ, полный интересных заветов и верований, любящий охоту и удаль, окруженный молодежью, которая должна уметь ездить верхом, стрелять из лука и говорить правду, ничего больше... И вот является среди этого народа Кир, говорит ему волшебное слово и с горных высот родины манит его в знойные долины Мидии. И путем непрерывной и победоносной войны растет этот народ, как лавина, катящаяся по склону гор в долину, и создает государство. А затем приходит и его черед, и македонский удачник одним стратегическим взмахом низводит мировую державу на ступень обыкновенного царства, которое еще долго будет тлеть под седым пеплом истории.

А за двести лет до роста Персии в одном углу Европы в районе вечного города волчица вскармливает двух близнецов, и они наперекор судьбе растут, становятся вождями кучки авантюристов; на этой кучке, как на основе, мотается клубок народов, растет и пухнет, захватывает всю Италию, а затем ползет через горы, реки и моря, расплзается в мировую необозримую державу. Прочное семейное начало, верность гражданскому долгу и задача даровать миру вечный мир — вот начала, окрылявшие рост этой державы. Великий и могучий Рим, создавший эпоху в жизни народов и положивший на всю последующую жизнь человечества печать своего дивного гения. Как он вырос?

Он вырос, опираясь на посох войны. Как он развивался и креп? Войною. Кто его, усталого и изжившего свою силу, толкнул в пропасть забвения? Меч варваров.

В пустынях Аравии с дней седой старины бродили кочевники — дикие, полные страстей и сумасбродного беспорядка; их вера была беспутна и убога, их жизнь была полна разгула и грязи, у них не было властей, и были они свободны и бедны как дети²⁰⁷. Но пришел в их среду Магомет²⁰⁸, сказал им вдохновенную фразу о Едином Боге и едином его пророке и зажег народ неукротимой страстью к власти и величию. Народ вырос сказочно, прошел огромные пространства земли с мечом в руках, а затем сделал такой же скачок в область культуры. А затем пришел его черед, сдал он свои побежденные позиции и на старости лет своей государственной жизни вернулся в порванную палатку бедуина, к унылой песне своих праотцов...

Если вы вдумаетесь в эти исторические примеры, говорящие вам убедительно о молодых и старых народах, или, говоря иначе, о двух полосах в жизни народа, об его утренней и вечерней зорях, вы усмотрите в этом явлении какой-то крупный исторический фактор, представляющий рождение государств или их смерть, но то или другое, как вам придется согласиться, делалось войною, пусть иногда сыгравшей роль только последней капельки пара, толкнувшей в движение дредноут.

Но нам ясно, что молодость и даровитость народа являются лишь одною стороною дела; может случиться, что такой народ навсегда останется небольшим, нигде не выйдет из пеленок. Например, некоторые из племен краснокожих обнаруживали несомненно богатые данные и для развития своего могущества, и для культурного преуспеяния, но... их нет теперь, они с лица земли исчезли. Нужна еще благоприятная обстановка, как она всюду и всегда нужна, как для духовного, так и для физического прогресса, а кроме того, нужна какая-то искра, или девиз, или символ. Природа такого символа полна загадки. Если вы рассмотрите ее содержание, она не даст нам ответа, почему этот символ когда-то оказал в истории свое магическое действие.

Возьмете ли вы нехитрый догмат Магомета, к тому же больного человека, несложную сумму нравственных разумений древних персов²⁰⁹, два-три нравственных положения древних римлян, какие-то, утерянные теперь историей символы Чингиса или Тимура, вы будете поражены наивной несложностью, простотою их содержания, но не спешите с насмешкой или осуждением²¹⁰. Огромное в свое время влияние этих символов или девизов говорит об огромной скрытой в них кинетической энергии, о какой-то глубокой их пригодности для молодой массы народа... Это символы-фонари, освещающие путь развития человечества, и на этом пути регистрирующей и решающей силой является война. Мы стоим перед загадкой, и философия войны разрешить ее пока не в силах, но указать на нее и подчеркнуть ее интерес она обязана.

НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВОЙНЫ

Осуждение войны с нравственной точки зрения давно сделалось общим местом в образованном человечестве. Кроме дикого язычества, все религии в принципе осуждают войну. Христианская заповедь любви к врагам или повторенная и разъясненная Христом заповедь «не убий» запрещают и войну как массовое убийство, и какое бы то ни было убийство вообще. Но и религии, не столь совершенные, как христианская, единодушны в своем осуждении войны.

Еще еврейские пророки проповедовали умиротворение всего человечества и даже всей природы²¹¹. Того же требует буддийский принцип, проповедующий сострадание ко всем живым существам. Даже воинственный ислам смотрит на войну только как на временную необходимость, осуждая ее в идеале. «Сражайтесь с врагом, доколе не утвердится ислам», а затем «да прекратится всякая вражда», ибо «Бог ненавидит нападающих» (Коран, Сура 2).

И между тем вопрос о нравственной оценке войны не так прост, как бы он казался на основании единодушного осуждения ее этикой. В природе войны чувствуется два элемента; один, характеризующий ее как проявление злой, или большой, или слабой воли народов, и другой, как отражение какого-то естества в природе, вроде хронической болезни человечества. Первый элемент подлежит нравственному осуждению, так как законам нравственности подвластны как отдельный человек,

так и группы людей, хотя последние уже в ослабевшей степени; но как осудить или оправдать то, что согласно повелению природы естественно (или пока естественно), что подлежит ее непреложным законам, как восход или заход солнца? Какой смысл нравственно осудить явление смерти, которая, положим, вырвет из семьи отца и тем обречет семью на нищету, несчастья, разврат?

Вот эта-то двойственность природы войны и является причиной того, что даже религии, которые, несомненно, в принципе ее осуждают, преломленные жизнью, не только практически перестают ее осуждать, но даже становятся в ряды ее поборников и защитников, каковы, например, религия Иеговы или ислам, и это во-первых. А во-вторых, религиозные тезисы, осуждающие войну, остаются какими-то добрыми, но очень скромными пожеланиями, которые будут в церквах или мечетях услышаны разве очень часто посещающими верующими, а в практическую толщу людской жизни эти пожелания не дают своих естественных ростков.

Указанная естественность войны, сковывая разум и волю человека, заставляет молчать и голос совести. Как перед землетрясением или наводнением человек стоит в ужасе и, забыв критику или проклятие, спешит спасти свою жизнь и достояние.

Но эта трудность осуждения или нерешительность такового наблюдается в итогах практической жизни, в области же чистого мышления или художественных восприятий нравственное осуждение войны находит себе полный размах и полный простор.

Мы уже приводили слова тех мудрых людей, которые нравственно осудили войну. С образцами художественного ее осуждения многие знакомы по трудам Зутнер, Кларети, Толстого и др.

Вот строки Мишеля Ревона²¹², которые выносят войне картинное, а в сущности красок нравственное осуждение. Автор вначале говорит, как ничтожна земля в пространстве миров и как жалки мошки-люди, уцепившиеся за свою быстро несущуюся крупинку. Но Бог дал им разум, они познали все кра-

соты и бездны природы, и они, конечно, должны напрячь все силы, чтобы любовно поддерживать друг друга и прожить в мире свой короткий сон жизни. Но, продолжает автор: «...Они дерутся. Они выковывают мечи, оттачивают копья, зазубривают стрелы, они призывают себе на помощь железо, огонь, яд; они вооружаются, выстраиваются, идут друг против друга и сталкиваются, захлебываясь в дикой ярости, счастливые, что могут резать и проливать кровь. И вот, в действительности существует эта ужасная злая ирония — война. Люди не могут жить как братья, им надо быть врагами. Их разум спит и видит смерть, сердце бьется для ненависти, воля стремится только к злему. Эту силу, которую им дал Бог, они не употребляют для борьбы со стихией; они упорно обращают ее против самих себя, и если пользуются дарами природы, то разве чтобы нанести себе вред; и человек режет человека, брат убивает брата; убийца восстает ликуя. Испокон века человечество вершит самоубийство, находя в том свое счастье. И незачем нам говорить о людоедах, которые за неимением пищи пожирают себе подобных: их извиняет голод²¹³. Мы говорим здесь о людях, называемых цивилизованными; тех людях, которые дерзают порицать дикарей и чрез минуту сами, без всякой нужды, без причины, из-за одной кровожадной страсти убивают друг друга. Разум оправдывает людоеда, но человека цивилизованного никогда, потому что его кровожадность не имеет основания. Что за безумие на этой несчастной земле? Чем дальше шагает просвещение, тем больше совершенствуется зло. Наука служит ненависти. Каждый день изобретаются новые орудия смерти, пушки, порох, разрывные снаряды, ядра, соединенные цепями, ядра каленые. Вдохновенные эти изобретения приходятся всем по сердцу и все между собою соревнуются в изобретении еще невиданных орудий смерти и страдания. Затем, во всеоружии своем, эти несчастные делят себя на лагеря и со слепым острвенением бросаются вперед; страшная свалка совершается; в этом побоище тысячи жертв, со скрежетом страдания падают, скошенные навсегда; над ними носится торжествующая смерть.

Окончена распря. Зловещие вороны вершат свою тризну над убитыми, и дипломатия расписывается под договором мира. Воюющие возвращаются на родину. И так как не было глубоких оснований для войны, все возвращается к прежнему состоянию. Живые люди, однако, подверглись истязанию; угасло столько священных жизней... а карта мира оттого не изменилась. Несколько взаимных уступок, и только. Никто и никогда не вспомнит более о погибших, разве лишь те несчастные, которые на всю жизнь сами остались без руки или ноги, те матери, которые лишились сына, и жены, у которых отняли мужей. Рядом — два государства надорваны, у двух наций скошено все, что у них было лучшего; но тем, кому приходится платить налоги и подати, нет дела до этих мелочей: если они победили — их утешает в этих бедах воспоминание о торжестве; если побеждены — надежда отомстить за себя в будущем. А между тем скажите им, что в это же самое время в глубине Африки еще приносятся людские жертвы, что дагомейские жрецы для почитания богов воздвигают алтари из глины, разведенной кровью рабов, они возмущаются, плачут о жертвах и проклинают варваров. Им не приходит в голову, этим безумцам, что собственные их герои создают такие же храмы, что слава их великих мужей покоится на грудах трупов и что их собственная кровь, кровь их холопов, служит цементом, связующим их дикие сооружения.

Так живут люди на отведенной им крупице мира».

Конечно, таких мыслей, может быть, еще более сильных и, во всяком случае, более свежих и менее пропитанных анахронизмами, мы можем найти много. И поэтому, не считаясь, ни с робостью людей или людских групп, ни с недостаточной устойчивостью или последовательностью религий, ни с малодушием и лицемерием людских учреждений, мы обязаны, а иначе и не можем, сказать, что со стороны общенравственной оценки войны нет и не может быть двух взглядов на этот предмет: единогласно всеми признается, что мир есть норма, то, что должно быть, иначе говоря, мир есть благо, а война — аномалия, то, чего быть не должно, зло.

Но дело в том, что этой общенравственной оценки еще не достаточно, чтобы вполне и широко *определить* с нравственной стороны такое явление, как война. Общенравственная оценка очень естественна, она есть последний итог общечеловеческих переживаний, но она не все. Конечно, каковы бы ни были мысли отдельных людей в наши дни, но как собирательное целое передовое человечество достигло той нравственной зрелости, того состояния сознания и чувства, которые начинают делать для него невозможным и даже возмутительным то, что было естественно и похвально в глазах древнего мира. Да и для отдельных людей, не отказавшихся от разума, имеет свою обязательную силу, если не в форме религиозной веры, то в форме разумного убеждения, тот нравственный принцип, который не допускает узаконения собирательных преступлений. Нравственно осудить войну затруднится только человек-фанатик и недостаточно выясняющий существо этого масштаба оценки.

Но повторим, война, врываясь всеми корнями в нашу грешную планету как ее естественное ответвление, много содеяв в прошлом и доброго и злого, нависая над человечеством как тяжкая неизбежная ноша, она — это широкое и сложное явление — и нравственную свою характеристику расширяет и углубляет далеко за пределы огульного риторического осуждения.

Это подметил В. Соловьев²¹⁴. Смысл войны, говорит он, «не исчерпывается ее отрицательным определением как зла и бедствия, в ней есть и нечто положительное — не в том смысле, чтобы она была сама по себе нормальна, а лишь в том, что она бывает реально необходимой при данных условиях. Эта точка зрения на ненормальные явления вообще не может быть устранена, и на нее приходится становиться не в противоречии с нравственным началом, а напротив, в силу его прямых требований». И далее философ иллюстрирует свою мысль очень наглядным примером: «Хотя всякий согласится, что выбрасывать детей из окошка на мостовую есть само по себе дело безбожное, бесчеловечное и противоестественное, однако, если во время

пожара не представляется другого средства извлечь несчастных младенцев из пылающего дома, то это ужасное дело становится не только позволительным, но и обязательным. Очевидно, правило бросать детей из окошка в крайних случаях — не есть самостоятельный принцип наравне с нравственным принципом спасания погибающих, напротив, это последнее нравственное требование остается и здесь *единственным* побуждением действий; никакого отступления от нравственной нормы здесь нет, а есть только прямое ее приложение способом хотя неправильным и опасным, но таким, однако, который, в силу реальной необходимости, оказывается единственно возможным *при данных условиях*».

Таким образом, нравственная оценка войны возможна под тем углом, что она бывает реально необходимой при данных условиях²¹⁵.

Наконец, есть еще нравственный вопрос личного отношения к войне, вызываемый налагаемыми его обязанностями и условиями. Но обратимся вновь к В. Соловьеву.

«По-настоящему, — говорит он, — относительно войны следует ставить не один, а три различных вопроса: кроме общенравственной оценки войны, есть другой вопрос — о ее значении в истории человечества, *еще не кончившийся*, и, наконец, третий вопрос, личный — о том, как я, то есть всякий человек, признающий обязательность нравственных требований по совести и разуму, должен относиться *теперь* и *здесь* к факту войны и к тем условиям, которые из него практически вытекают? Смешение или же неправильное разделение этих трех вопросов — общенравственного или теоретического, затем исторического и, наконец, лично нравственного или практического — составляет главную причину всех недоразумений и кривотолкований по поводу войны, особенно обильных в последнее время».

Первый вопрос мы уже решили определенным образом, как со своей стороны решил его и В. Соловьев, повторивший о согласии всех, что мир есть добро, а война — зло. Что каса-

ется до исторического способа выявить нравственную ценность войны, то мы сделали длительный обзор войны на историческом экране, и в очень многих случаях нам пришлось вынести для этой «хронической болезни человечества» если не полное, то хотя частное этическое оправдание. Мы видели, что слова Соловьева о реальной необходимости войны при многих условиях не только подтвердились, но вызывали даже тяготение направить их в сторону реальной нравственной ценности.

Что касается до исторического обзора войны самого В. Соловьева в целях ее нравственной оценки, то таковой был им сделан только относительно древних восточных монархий — Ассирийской, Вавилонской и Персидской и государств классического мира — Греции и Рима. И в этом анализе, сделанном высокохудожественно, философ с присущей ему искренностью и, скажем от себя, большой смелостью, подчеркнул большое значение войны как создательницы культурного прогресса народов, создательницы путей к грядущему миру и даже провозвестницы христианства. Такой вывод В. Соловьева как философа и человека высоконравственного облика глубоко ценен для философии войны и имеет за собою особый удельный вес.

Относительно дальнейшего исторического анализа в области новых времен В. Соловьев ограничился лишь эскизным наброском, и эта часть его анализа не представляет интереса ни с исторической, ни философской точек зрения...

Наконец: третий вопрос — лично нравственный или практический, как бы он ни казался скромным на вид, является очень серьезным по нравственному смыслу, в нем заложено, так как выявляет обязательное практическое отношение человека-гражданина к войне, а с другой стороны, имеет большую бытовую ценность ввиду явлений дезертирства, всяческих уклонений от войны, непротивленства, сектантства и т. п. Этот третий вопрос изложим, близко держась В. Соловьева, как в этом случае тонкого и глубокого авторитета.

Исходя из мысли, что мирное включение желтой расы в круг общечеловеческой культуры в высшей степени невероятно

и считать войну подлежащей немедленному и полному упразднению нет основания с исторической точки зрения, В. Соловьев задает вопрос, а обязательна ли эта точка зрения для нравственного сознания человека? И далее приводит одно из наиболее часто упоминаемых положений, осуждающих войну и указывающих путь к ее прекращению, а именно: каково бы ни было историческое значение войны, она есть прежде всего убийство одних людей другими, но убийство осуждается нашей совестью, и, следовательно, мы по совести обязаны отказаться от всякого участия в войне и другим внушать то же самое. Распространение такого взгляда словом и примером есть настоящий, единственно верный способ упразднить войну, ибо ясно, что, когда каждый человек будет отказываться от военной службы, война сделается невозможной. Философ представляет против этого нравственного положения такие возражения. Чтобы это рассуждение было убедительно, нужно было бы прежде всего согласиться с тем, что война и даже военная служба — не что иное, как, убийство. Но с этим согласиться нельзя. При военной службе сама война есть только *возможность*. За сорокалетний период между войнами Наполеона I и войнами Наполеона II несколько миллионов людей в Европе прошли через военную службу, но лишь ничтожное число из них испытали действительную войну²¹⁶. Но и в тех случаях, когда она наступает, война все-таки не может быть сведена к убийству как злодеянию, то есть к действию, предполагающему злое намерение, направленное на определенный предмет, на конкретного человека, который умерщвляется мною. На войне у отдельного солдата, такого намерения, вообще говоря, не бывает, особенно при господствующем ныне способе боя из дальнострельных ружей и пушек против *невидимого* за расстоянием неприятеля²¹⁷. Только с наступлением действительных случаев рукопашной схватки возникает для отдельного человека вопрос совести, который и должен решиться каждым по совести. Вообще же война как столкновение собирательных организмов (государств) и их собирательных органов (войск) не есть

дело единичных лиц, пассивно в ней участвующих, и с их стороны возможное убийство есть только *случайное*.

Не лучше ли, однако, продолжает философ, отказом от военной службы предотвратить для себя самую возможность случайного убийства? Без сомнения, это так, если бы дело шло о свободном выборе. На известной высоте нравственного сознания или при особом развитии чувств жалости человек не изберет, конечно, по собственной охоте строевую военную службу, а предпочтет мирные занятия. Но что касается обязательной службы, требуемой государством, то, вовсе не сочувствуя современному учреждению всеобщей воинской повинности, неудобства которого очевидны, а целесообразность сомнительна²¹⁸, должно признать, что пока оно существует, отказ от подчинения ему со стороны отдельного лица есть *большое зло*. Так как отказывающийся *знает*, что определенное число новобранцев будет поставлено *во всяком случае* и что на *его* место призовут *другого*, то, значит, он *заведомо* подвергает всем тяготам военной повинности своего ближнего, который иначе был бы от них свободен.

Помимо этого общий смысл такого отказа не удовлетворяет ни логическим, ни нравственным требованиям, ибо он сводится к тому, что для избежания *будущей* отдаленной возможности случайно убить неприятеля на войне, которая не от меня будет зависеть, — я *сейчас же* сам объявляю войну своему государству и *вынуждаю* его представителей к целому ряду насильственных против меня действий *теперь*, для того чтобы уберечь себя от проблематичного совершения случайных насилий в неизвестном будущем.

Цель военной службы обычно сводится прежде всего к охране того государственного целого, к которому принадлежит данный человек. Возможность для государства и в будущем, подобно многим случаям прошлой истории, злоупотреблять своими вооруженными силами и вместо самозащиты предпринимать несправедливые наступательные войны не может быть достаточным основанием моих собственных поступков в на-

стоящем: эти поступки должны определяться только *моими*, а не чужими нравственными обязанностями.

Таким образом, вопрос сводится окончательно к тому, *имею ли я нравственную обязанность участвовать в защите своего отечества?*

Те учения, которые безусловно отрицательно относятся к войне и вменяют каждому в долг отказываться государству в требованиях военной службы, вообще отрицают, чтобы человек имел какие-нибудь обязанности перед государством. С их точки зрения, государство не более как шайка разбойников, которые гипнотизируют толпу, чтобы держать ее в повиновении и употреблять для своих целей²¹⁹. Но серьезно думать, что этим исчерпывается и хотя бы сколько-нибудь выражается *истинная сущность дела*, — было бы уже слишком наивно. Особенно несостоятелен такой взгляд, когда он ссылается на христианство.

Далее следует ход рассуждений уже в духе не чисто философском, а скорее религиозно-нравственном, что мы для целиности изложения, приводим полностью:

«Со времени христианства нам открыто наше безусловное достоинство, абсолютное *значение* внутреннего существа человека, его души. Это безусловное *достоинство* налагает на нас и безусловную обязанность осуществлять правду во всей нашей жизни, не только личной, но и собирательной; при этом мы *несомненно* знаем, что осуществить такую задачу невозможно для каждого человека в отдельности взятого или изолированного, что для ее совершения *необходимо восполнение* частной жизни общей, исторической жизнью человечества. Один из способов этого восполнения, одна из форм общей жизни — форма главная и господствующая в настоящий исторический момент — есть отечество, определенным образом организованное в государстве²²⁰. Эта форма не есть, конечно, высшее и окончательное выражение человеческой солидарности, и не должно ставить на место Бога и Его всемирного Царства. Но из того, что государство не есть все, никак не сле-

дует, чтобы оно было не нужно и чтобы было позволительно ставить себе целью его упразднение.

Положим, страна, где я живу, постигнута каким-нибудь бедствием, например голодом. В чем состоит при этом обязанность отдельного лица в качестве существа, безусловно нравственного? И чувство, и совесть ясно говорят: одно из двух — или корми всех голодных, или сам умри с голоду. Накормить миллионы голодных у меня нет возможности, и если, однако, совесть не упрекает меня за то, что я остаюсь жив, то это происходит естественно оттого, что мою нравственную обязанность снабдить хлебом всех голодающих берет на себя и может исполнить государство благодаря своим собирательным средствам и своей организации, приспособленной к широкому и быстрому действию.

В этом случае государство оказывается таким учреждением, посредством которого может быть успешно исполнено дело нравственно обязательное, но физически — неисполнимое для отдельного лица. Но если государство исполняет за меня мои прямые нравственные обязанности, то как же можно сказать, что я ему ничем не обязан и что оно не имеет на меня никаких прав? Если без него я должен был бы по совести отдать свою жизнь, то неужели я откажу ему в моей малой доле тех средств, которые необходимы ему для выполнения моего же дела?

А если собираемые государством подати и налоги идут не на дела, польза которых очевидна, а на такие, которые мне кажутся бесполезными или даже вредными? Тогда моя обязанность — обличать эти злоупотребления, но никак не отрицать словами и делом самый принцип государственных повинностей, признанное назначение которых — служить общественному благосостоянию.

Но такое же, в сущности, основание имеет и военная организация государства. Если какие-нибудь дикари вроде недавних кавказских горцев или теперешних курдов и черных флагов нападут на путешественника с явным намерением его убить и перерезать его семейство, то он, без сомнения, *обязан* вступить

с ними в бой, не из вражды или злобы к ним, а также не для того, чтобы спасти свою жизнь ценою жизни ближнего, а для того, чтобы защитить слабые существа, находящиеся под его покровительством. Помогать ближним в подобных случаях есть безусловная нравственная обязанность, и ее нельзя ограничить своею семьею. Но успешная защита всех слабых и невинных от насилия злодеев невозможна для отдельного человека и для многих людей порознь. Собирабельная же организация такой защиты и есть назначение военной силы государства, и так или иначе поддерживать его в этом деле человеколюбия есть нравственная обязанность каждого, не упраздняемая никакими злоупотреблениями: как из того, что спорынья ядовита, не следует, что рожь вредна, так все тягости и опасности *милитаризма* ничего не говорят против необходимости вооруженных сил.

Военная и всякая вообще принудительная организация есть не зло, а следствие и признак зла. Такой организации не было и в помине, когда невинный пастух Авель был убит по злобе своим братом. Справедливо опасаясь, как бы то же самое не случилось впоследствии и с Сифом, и с прочими мирными людьми, добрые ангелы-хранители человечества смешали глину с медью и с железом и создали солдата и городского. И пока Каиновы чувства не исчезли в сердцах людей, солдат и городской будут не злом, а благом. Вражда против государства и его представителей есть все-таки вражда, — и уже одной этой вражды к государству было бы достаточно, чтобы видеть *необходимость* государства. И не странно ли враждовать против него за то, что оно внешними средствами только ограничивает, а не внутренне упраздняет в целом мире ту злобу, которую мы не можем упразднить в себе самих!»

Рассматривая войну под нравственным углом зрения, мы не можем обойти молчанием того крупного упрека по адресу ее, что война будто бы деморализующим образом действует на войска и население воюющих стран, а что в мирное время подобное же развращающее влияние на население оказывает главное орудие войны — армия. И на этом упреке особенно

нужно остановиться в России, где государственные задачи и цели были всегда достоянием узкого круга лиц, а не народа, где их сокровенный смысл и пружины для последнего оставались малопонятными, а потому часто малоинтересными и еще чаще вызывавшими глухую и открытую оппозиции. А отсюда вражда и недоверие часто переносились на армию как главное орудие государственных устремлений, а вместе с этим и на всякую войну, которая массам, к сожалению, очень часто преподносилась в форме самого неожиданного сюрприза. Затем, в России, стране отсталой, при ее народе, отгороженном глубокою пропастью от слабой численно интеллигенции, всегда чувствовалась антигосударственность, а отсюда и антипатриотичность массы, ее слабое реагирование на активные задачи политики и связанные с нею самопожертвования. Поэтому все, что говорилось против государственных дерзновений, особенно против войны, а затем и всего военного, находило в стране теплый отклик, приветствовалось и распространялось.

Только в России могла найти себе приют и поощрение такая компиляторская мазня — невежественная и нескладная, — как пятитомное творение И. С. Блюха «Будущая война»²²¹, а почему? — да только потому, что она всеми неправдами старалась доказать, что война, во-первых, дело в высокой степени мерзкое и что, во-вторых, она в будущем должна прекратиться по целой сотне мотивов, которые старательно вымучивал из своей банкирской головы почтенный автор и которые блестяще фактическим издевательством были разбиты в минувшую великую войну 1914—1918 годов. Пять книг едва ли кто удосужился прочитать, но главную мысль уловили, книгу одобрили и оказали ей приют. Затем, опять-таки только в России мог найти себе столь плодотворную жатву Л. Н. Толстой как художник, давший нам дивные образы военных и чарующие картины боевых столкновений, но как мыслитель, старавшийся все свои — с этой стороны небольшие — ресурсы приложить к тому, чтобы опорочить, высмеять и унижить войну и все военное²²². И многие ли насладились великим военным худож-

ником, но маленького военного мыслителя расценило и превознесло большинство. Теперь, когда мы перенесли так много и многое поняли из нашего прошлого, мы можем создать убежденное представление и о нашей всегда забронированной в тиши канцелярий политике, и об отсутствии патриотизма в массах, и о тех даровых развратителях, которые с красивыми нравственными фразами несли в руках факел Герострата...

Касаясь вопроса о деморализующем влиянии войны, философия войны — как я уже и говорил по этому поводу — не ставит себе задачей обеление войны во что бы то ни стало; но, имея дело со страстностью суждений, с их преувеличением и постоянными ошибками, она должна разобраться в материале с возможным беспристрастием и в результате склониться в сторону несомненной правды, как бы она горька ни была. Главное же в рассматриваемом случае — она должна попытаться отыскать метод для исследования вопроса, наиболее гарантирующий надежность и объективность вывода.

Уже à priori каждый человек склонен рассматривать войну как фактор, чрезвычайно деморализующий, и это естественно. То, что в обычное время считается преступлением, как убийство или поджоги, теперь позволено, стремление нанести ближнему или массе ближних вред вызывается необходимостью, жизнь и здоровье ближнего ни во что не ставятся. Грубость и жестокость культивируются самым тщательным образом, мораль получает содержание, совершенно противоположное обычному. Что же удивительного, что характеры столь портятся и действия становятся преступными. Самое худшее, злое и жестокое становится чем-то обычным, само собою понятным. Но ведь, с другой стороны, нигде, как на войне, мы не встретим таких картин самопожертвования, благородного дерзновения, вдохновенной находчивости для исполнения долга и бесконечного претерпевания до конца. Мирное время тускнеет, сползает в область филистерской наивности и самохвальства и по сравнению с возможностью красивых подвигов на поле боя представляется жалким и узко эгоистичным прозябанием существ,

способных только дорогой болтовни попасть в область дерзости и риска.

При такой антитезе, столь резко выступающей, при таком субъективизме суждений где мы найдем нужную середину, если дело в середине, или искомую правду?

Относительно деморализующего влияния нужно заметить, что в старинных войнах дело обстояло *несравненно хуже*. Нынешние войны должны становиться все менее грубыми и жестокими, и потому их развращающее влияние должно слабеть. Те многообразные обстоятельства, которые характеризуют современную войну, должны получать все большее и большее значение. Прежде всего, боевые столкновения вблизи становятся исключением, самые кровавые и наиболее частые сражения — те, в которых враги находятся на большом расстоянии друг от друга, и чем дальнобойнее будут наши пушки или наши ружья, чем губительнее станет действие газовых волн, тем дальше отодвинутся друг от друга враги. А такое сражение на далеком расстоянии не причает к жестокости.

Второе обстоятельство — ослабление настоящей ненависти между врагами²²³. Это чувство, эволюционируя от похищения врага через жажду его полного истребления, дошло в наши дни до духовного порыва, не лишённого, конечно, в своем содержании чувства вражды, но ищущего главным образом унижения и полного покорения воле противника. Сдавшийся в плен и, значит, *покоренный* с этого самого момента становится не врагом, а даже другом. А раз нет ненависти, то ее грубые проявления должны вследствие этого становиться все более редким явлением, так что этот источник преступных действий не усилится войной.

Затем, борющиеся армии не набираются из избытка населения или его отбросов, как в старину или как в Англии до последней войны составлялась наемная армия; мы находим в их рядах со здоровыми детьми народа сыновей знати и богачей; в рядах армии весь народ страны в лице какого-либо поколения. Мы видим целую пропасть между современной армией

и армией былых времен, насчитывавшей в своих рядах немало беглых разбойников, преступников, бродяг и других бывших людей²²⁴. А другого состава в современной армии и быть не может, так как иной состав противоречил бы коренным образом и самому духу народа, и тем глубоко государственным и народным задачам, которые одухотворяют современную войну. А те здоровые душой и телом молодые люди, цвет нации, которые наполняют ряды современной армии, не могут же превратиться на войне сразу в гиен; огромное — же большинство относительно хороших людей не может одним уже фактом своего присутствия не связывать меньшинство худших и пробуждать в них более добрые чувства.

В том же направлении уменьшения развращающего влияния войны действует обычное в наше время хорошее продовольствие армии. Главный повод к грабежам как собственного, так вражеского населения тем самым отпадает, вызываемое голодом и лишениями плохое настроение тоже отсутствует, люди не грубеют и не ожесточаются, почему бывшие солдаты-разбойники, грабители и мародеры постепенно отходят в историю²²⁵.

Наконец, лучший способ комплектования армии весьма содействует поддержанию дисциплины, а сложный и многогранный характер сражений, предъявляющий как к начальникам, так и к подчиненным более высокие требования, делает все более и более необходимыми внутреннюю духовную дисциплину, большее самообладание и самоподчинение определенной поставленной полководцем цели. Подобная же повышенная и облагороженная дисциплина сильнее других средств должна ослабить деморализирующее влияние военной обстановки.

Таким образом, причины ожесточения и развращения на войне все более и более слабеют, но они не исчезли еще, да и не скоро еще исчезнут совершенно, и мы должны сказать, что, не смотря на весьма ценные улучшения в этом направлении, война все же ведет, по всей вероятности, к огрубению нравов участвующих в ней лиц. Ведь они привыкают к картинам причиненных ими самими страданий, к смерти и разрушениям. Порой

им самим приходится заботиться о себе и при этом не щадить чужое имущество; собственные лишения, часто совершенно неизбежные, делают их бесчувственными к страданиям других. Известное огрубение неизбежно. Ужасы смерти недолго этому препятствуют, ибо к ним привыкают.

Итак, делая вывод из изложенного хода рассуждений, следует ожидать, что офицеры и солдаты, принимающие непосредственное участие в военных действиях, станут более грубыми и жестокими, готовыми не щадить ни чужого имущества, ни даже жизни, станут высокомерными и беспощадными в обращении с людьми и в особенности с женщинами, станут более безнравственными.

Но, сделав эту уступку в пользу тех, кто стоит за деморализующее влияние войны, мы должны чувствовать, что вопроса отчетливо не решили. Уступку будут приветствовать те, настроению которых она ответит, и найдут ее разумной и даже обоснованной, но противоположный лагерь с таким же правом признает ее неверной и, во всяком случае, голословной. Поэтому в страстных вопросах о войне надо искать фактов и строить выводы на более прочных методах. Поищем таковые.

Само собой разумеется, что последствия деморализующего влияния войны большею частью остаются скрытыми, да и вообще вполне объективное изучение их совершенно невозможно. Однако если эти дурные последствия, как этого следует ожидать по общему огромному масштабу всяческих влияний войны, принимают более или менее значительные размеры и идут в глубь народной жизни, то это должно обнаружиться хотя бы в виде роста преступлений, по крайней мере, некоторой категории их. И криминальная статистика должна дать нам возможность сделать кое-какие сравнения.

Здесь характерен тот факт, что два таких крупных авторитета по криминальной социологии, как Ломброзо и Ашаффенбург, неоднократно ссылаются в своих исследованиях на войну как на момент этиологический (этиология — учение о причинах болезней)²²⁶, но далее этого не идут, словно эти ученые забыли

о войне, так как она все же явление редкое. Зато очень определенно высказывается другой специалист по криминальной социологии Бонгер, страстный марксист. Он ожидает от постоянного насилия против личности и имущества значительного усиления и роста насилия вообще... В качестве примера он ссылается на убийцу, участника войны 1866 года, который в свою защиту высказал ту мысль, что на его глазах умирало много людей и одним больше или меньше — разницы не составляет²²⁷. Впрочем, и Бонгер признает, что войны, становясь реже и кратковременнее, должны оказывать все более слабое влияние и в этом направлении.

Таким образом, специалисты-криминалисты довольно сдержанны в своих выводах относительно деморализующего влияния войны... Обратимся к криминальной статистике. Ни одна война нам больше данных для решения этого вопроса не дает, чем Франко-прусская 1870—1871 годов, ибо криминальная статистика обеих стран дает нам необходимый материал в большом изобилии, а условия в обеих странах были весьма различны. Что же дают нам цифровые данные?

Мы должны ожидать, что преступления против личности должны значительно увеличиваться во Франции в годы, следующие за войной, конечно, по сравнению не с годами войны, а с предшествовавшими ей годами. В первые годы после войны развращающее ее влияние должно было сказываться всего сильнее. У Ашаффенбурга мы находим таблицу преступлений против личности за время от 1840 до 1886 года²²⁸. И правда, после 1870 года мы находим значительный рост преступлений с 1561 в 1871 году до 1669 преступлений в 1872 году. Но на 1869 год, когда эта война не могла, конечно, оказать своего развращающего влияния, а кроме нее Франция давно не вела крупной войны, по крайней мере в собственных границах, приходится 1658 преступлений против личности, то есть почти столько же, сколько на 1872 год. Население за это время вряд ли увеличилось или уменьшилось. Еще удивительнее то, что если, сравнить среднее число преступлений за 1872—1878 годы

со средним числом за период времени 1863—1869 годов, мы получим соответственные числа 1712 и 1708, то есть одно и то же число. Наибольшее число преступлений — 1849 — приходится не на 1872 или 1873 год, как это следовало ожидать, а на 1876 год, а числа преступлений за годы, непосредственно предшествовавшие годам войны и последовавшие за ними, весьма мало разнились между собою: на 1872 год приходилось 1669 преступлений против личности, на 1873 год — 1708, на 1869 год — 1658 и на 1868 год — 1697 преступлений.

Сопоставим эти статистические данные с несколько иначе полученными данными Ферри²²⁹; последние касаются тех преступлений против личности, по которым был вынесен обвинительный приговор судом присяжных. И вот среднее число за период времени с 1863 до 1869 года составляет 1765 преступлений, а за период времени 1872—1878 годы число это равно 1784; таким образом, и здесь ни роста, ни убыви.

В резко противоположном, сравнительно с приведенными здесь результатами, духе высказывается французский статистик Бурнэ. Он говорит о страшном годе, в который жажда крови была так сильна, что кривая убийств сразу поднялась с 162 до 224²³⁰. Бурнэ идет еще дальше и уверяет, будто кривая убийства рассказывает нам историю внутренних политических замешательств и войн страны. Но не окажется ли эта «история» в полном противоречии с действительной историей страны? Например, кривая увечий в 1866 году поднялась несколько выше, чем в 1870 году, — в первом до 324 и во втором — до 216. Непосредственно вслед за годами ужаса мы наблюдаем даже значительное понижение кривой до 154 в 1872 году и 136 в 1873 году. Как это примирить с фразами о развращающем влиянии войны?

Ферри совершенно не считает войну среди факторов, которыми он объясняет рост преступлений во Франции в течение XIX века. Такой же взгляд мы находим у Жоли, который, объяснив, как и Ферри, кажущуюся убыль преступлений в годы войны, усматривает рост преступлений за периоды 1867—1869 и 1872—1874 годов, а затем слабую убыль преступлений²³¹.

Таким образом, война 1870—1871 годов не подняла во Франции такого числа преступлений, в которых особенно должно было бы сказаться ее губительное влияние. Зато обнаруживается довольно значительный рост преступлений против собственности: за семилетний период до 1870-го приходится на год 2089, а за семилетний период после 1871 года — 2372 таких преступлений, то есть здесь наблюдается рост почти на 10 %²³². Но должны ли мы приписать эту перемену влиянию войны, если оно не сказалось в области преступлений против личности, где это было более естественно? В течение периода 1826—1857 годов было совершено гораздо больше преступлений против собственности: в среднем на год свыше 3000 и часто даже свыше 4000 преступлений, а близко большой войны не было. Не придется ли в этом случае искать иных объяснений и примкнуть, например, к догадке Ферри, который общий рост числа преступлений во Франции объясняет злоупотреблением спиртными напитками, усилением полиции, переменами в законодательстве, разрушением семьи, увеличением богатств, повышением заработной платы и улучшением всех условий жизни²³³.

А что говорит прусская статистика о годах после и перед войной 1870—1871 годов?

Здесь, прежде всего, бросается в глаза рост общего числа преступлений и проступков в старых провинциях Пруссии со времени 1871 года, но вместе с тем нетрудно заметить, что прирост этот лишь в 1876 году дает цифру, превышающую прирост в 1868 году. Рассмотрим теперь, как и в случае Франции, преступления против личности. В годы 1868 и 1869, то есть непосредственно до войны, приходился один случай убийства и увечья на 108 676 и 106 105 жителей, а в годы 1872 и 1873, то есть в годы, когда вредное влияние войны должно было обнаружиться наиболее ярко, один такой случай приводится лишь 118 402 и 119 523. Только в 1874 году, когда развращающее влияние войны должно было несколько ослабеть, начался сильный и длительный рост преступлений; очевидно, причину

этого явления надо приписывать чему угодно, но всего менее влиянию войны.

Та же картина выступает перед нами при рассмотрении тяжких увечий: в 1868 и 1896 годах приходится один случай на 35 764 и 35 831 жителя; в 1872 и 1873 годах один случай на 50 365 и 41 797 жителей, то есть понижение числа таких преступлений.

Если мы обратимся к Австро-прусской войне, продолжавшейся не более 36 дней, мы получим те же результаты. О глубоко моральном влиянии уже по причине этой краткости говорить не приходится. Правда, на 1867 год приходится несколько больше преступлений, чем на предыдущий, но почти то же самое число, что и на 1864 год, а число увечий в 1867 году было даже значительно меньше, чем в 1865 году; число тяжких увечий уменьшилось в слабой степени, но, во всяком случае, прироста не было.

Во всех приведенных здесь данных нельзя видеть ни малейшего основания приписывать рост преступлений в Пруссии деморализующему влиянию войны; напротив, изменения, которых здесь отрицать нельзя, наводят на мысль искать совершенно иные, более глубокие причины²³⁴. Последние вскрыл Штарке, относя к ним следующее: прежде всего, тяжелый экономический кризис 1873 года, обрушившийся на население с особою яростью после периода грюндерства и опьянения пятью миллиардами, затем плохие урожаи начиная с 1875 года, социалистическое движение и вообще известная эмансипация от традиционных моральных воззрений во всех слоях народа, значительные изменения в репрессиях, все возрастающее уплотнение населения, вздорожание средств к жизни и, наконец, постепенное нарождение крупной промышленности в Германии²³⁵. Только первые две причины можно еще рассматривать как косвенные следствия войны, все остальные к ней отношения не имеют.

Есть еще одна попытка со стороны криминалистов связать рост преступности с влиянием войны. Так, ученый Курелла ука-

зывает на то, что «в Германии наблюдается с 1887 года быстрый рост числа молодых преступников». Он делает предположение, что отцы этого поколения вернулись с кровавой войны ослабевшими и одичавшими, а оттуда и получилась часть молодых преступников. Курелла указывает на период 1830–1835 годов во Франции, когда достигло зрелости поколение, зачатое в худшие военные годы периода 1810–1815 годов, и с этим обстоятельством связывает среднее годовое увеличение числа преступлений против личности с 1824 до 2371²³⁶. Штейнмец²³⁷ находит этот взгляд слабо обоснованным и вряд ли продуманным; он легко его разбивает сопоставлением некоторых цифр, приводящих к противоположным Курелле выводам. Особенно же автор «Философии войны» упирает на тот факт, противоречащий гипотезе Куреллы, что увеличение числа молодых преступников есть общеевропейское явление и в Голландии²³⁸, например, не ведшей с начала XIX века ни одной войны, число преступников в возрасте от 16–12 лет возросло на 100%. Это печальное явление так легко поддается объяснению изменившимися общими условиями времени, что ни один знакомый с ними криминолог не почувствует нужды притягивать за ворот неповинную в грехе войну.

Из сказанного представляется ясным, что то мнение о деморализующем влиянии войны, о котором так много обычно говорится и которое высказывалось различными писателями, будучи переведено в плоскость проверки его статистическим материалом, решительно не подтверждается. Материал этот, поскольку он достаточен и полон, это другой вопрос, свидетельствует, что современные войны *не оказывают* ни прямо, ни косвенно *какого-либо сильного деморализующего влияния мужчин* и что войны вообще не являются заметным этиологическим фактором в сфере преступности. Теперь мы уже можем и не быть озадаченными, наткнувшись на подобный вывод. Голос людей о войне всегда нервен и полон преувеличения, и к этому мы должны уже привыкнуть. Напомним о тех исторических потерях в боях XIX столетия, о которых нам гово-

рили Де Лапуж или Толстой. Теперь перед нами вновь такое же явление. Война, по мнению многих, деморализует человечество, а в действительности научная цифра отказывает ей почти совершенно в каком-либо деморализующем влиянии.

Следуя примеру людей, навязывающих войне во что бы то ни стало развращающее влияние, можно было бы, наоборот, сказать многое о войне в противоположном смысле, то есть указать на весьма многие благоприятные воздействия войны на чувства и мысли ведущего войну народа, но мы отказываемся применять этот способ доказательств как недостаточно научный.

Не менее, чем самой войне, часто приписывается деморализующее влияние и армии в мирное время. Мысль эта, конечно, имеет за собою те или иные основания. Всякая армия представляет скопление многих, по преимуществу молодых людей для определенных целей.

Некоторые весьма опасные последствия этого могут быть указаны тотчас же. Влияние семьи сразу прекращается, и его *далеко не совершенно* заменяет влияние военной семьи, которое имеет в виду совершенно другие действия молодого человека и по своим средствам и отношению к вопросам нравственного порядка может сохранить лишь чисто внешний интерес. Затем, совершенно исчезает доброе женское влияние — раньше неизбежный спутник солдата в семье и родных местах, а без такого всякая жизнь, будучи односторонней, должна уклониться в безнравственное русло. Далее, из тесного круга привычной жизни молодые люди сразу без всякого перехода в очень чувствительном возрасте попадают в совершенно другие условия жизни; крестьянин, например, из деревни сразу переносится в обстановку большого города. В казарме истинными и постоянными воспитателями оказываются молодые люди, всего менее для этого пригодные, и далеко не возвышенная психология толпы оказывает свое влияние, действуя всеми ресурсами, этой толпе свойственными. Наконец, половая потребность молодых организмов, хорошо питаемых и не особенно

обремененных работой, тяготение к активности, приключениям и движению, тоска по своим местам, гнет казармы и необычного режима также дают исход и импульс для уклонений и грехов в области нравственного.

Таким образом, наличность развращающих влияний в казарме возможна, а что эта наличность перенесется в тех или иных формах на мир, расположенный вне казармы, само собой разумеется. Но тут прежде всего нужно оттенить, что главным деморализующим фактором, допущенным нами à ргіогі, является не принадлежность к *армии* или *не занятие военным делом*, а факт скопления большого числа молодежи вместе, молодежи, занятой лишь ограниченное время и затем предоставленной самой себе. Если бы казарма была скомбинирована иначе, например, люди по одиночке или малыми группами были размещены по домам и в свободное от военных упражнений время занимались определенным трудом систематически, то, несомненно, многое бы отпало, что вяжется с наличностью казармы, хотя люди оставались бы членами армии. Дело в собранной массе молодых людей, располагающих достаточным досугом.

И в других случаях подобного же типа мы натываемся на факты деморализующего характера. Возьмите вы фабрику, и вы найдете, что моральная жизнь фабричной молодежи вызывает много возражений, хотя бы ваш моральный масштаб был свободен от всяких предрассудков и фарисейства старых времен. Пауль Гере, не внушающий подозрений, дает яркие картины безнравственности фабричной молодежи и определенно говорит, что современная фабрика совершенно лишена каких бы то ни было начал, которые могли бы воспитывать фабричную молодежь в нравственном отношении²³⁹. Гере подчеркивает «поразительную» грубость, легкомыслие и мотовство фабричного рабочего, что он объясняет благоприятными условиями заработной платы и отсутствием надзора²⁴⁰.

Женская прислуга больших городов, некоторыми моментами своего комплектования и жизни напоминающая солдат гарнизона, также дает данные к обвинениям в моральном по-

нижении. Например, более трети внебрачных детей Берлина дает женская прислуга; две трети всех проституток того же города были когда-то в услужении²⁴¹.

Но приведенные группы населения, может быть, имеют некоторое право на снисхождение благодаря невысокому уровню образования. Возьмем в таком случае студенчество, в среде которого нравственность по многим причинам должна бы стоять на большой высоте. Ведь все эти молодые люди происходят из образованных семейств, получили хорошее воспитание если не дома, то, по крайней мере, в школе, живут под возвышающим влиянием наук и искусств... словом, все влияния, под которыми они находились и находятся, могут пробуждать, казалось бы, только одно доброе. И что же в результате? Очень высокая судимость, которую Ашаффенбург считает весьма грозной²⁴²; пьянство возведено в правило и чуть ли не в честь, и, наконец, среди студенчества наблюдается такой повышенный разврат, что, согласно сообщению Блашко, официальная прусская анкета констатирует среди солдат 4 %, а среди студентов 25 % больных венерическими болезнями²⁴³.

Наша справка показывает, что обвинение представителей казармы в безнравственности если и не найдет себе оправдание, то, по крайней мере, объяснение в факте скопления молодежи, а не в том, что эта молодежь занимается военным делом, и что грешна в указанном отношении не одна солдатская молодежь, но и всякая другая — фабричная, студенческая, — которая живет совпадающим укладом жизни. Штейнмец²⁴⁴ сводит общие причины, вызывающие моральные отклонения этих групп, к таким: освобождение не только от родительского надзора и любви, но и от всех традиций и контролирующих сил более тесной родины, слишком ранняя эмансипация без новых сознательных и одухотворяющих душевную жизнь обязанностей, сравнительно хорошая заработная плата (очевидно, для фабричных) и свободные условия жизни.

Итак, всякая молодежь, включая и казарменную, будучи оторванной от родины, предоставленная себе и собранная

в массах, уже тем самым обречена на нравственные прегрешения, это мы можем допустить. Теперь вопрос, насколько в действительности грешны этим армии в мирное время? Мы и в этом случае стоим перед вопросом, который общественное мнение склонно решить в определенном тоне — у нас в России в сторону осуждения армии, в Германии скорее в противоположном направлении, но который точному учету не поддается. Данных криминальной статистики относительно войск и соразмерности ее с общегражданской в нашем распоряжении нет, но думаем à priori, что в нормальных армиях и при нормальной обстановке она будет ниже общегражданской.

Что касается до статистики физического здоровья в тех его сторонах, которые соприкасаются с моралью, то приведенный выше процент венериков среди солдат по сравнению с венериками среди студенчества показывает на внушительную разницу, и притом в пользу солдат. Ограничимся этим скромным констатированием и скажем, что армия в мирное время по своим бытовым условиям и характеру занятий, несомненно, имеет данные для деморализующего влияния на своих питомцев, а через них и на внешний мир, но сказать, что в этом отношении она превосходит другие группы населения, нет никаких данных. А отсюда все те lamentации о деморализующем влиянии армии, которые столь часто бывают уделом пацифистских кругов, некоторых политических групп или общественных профессий, а в иных случаях даже целых стран, прочной и реальной почвы под собою не имеют.

Но если мысль о деморализующем влиянии армии мы можем отнести не более как к числу расхожих тем, находящихся себе ласковый приют в некоторых кругах общества, то есть другая мысль, связанная с тою же армией, которая может побить и то зерно правды, которое в первой мысли заключается. Дело в том, что жизнь армии более всех может быть подвергнута основательному и даже принципиальному улучшению, которое устранило бы, по крайней мере, много моральных опасностей. Решающим здесь является уже один только тот факт,

что только в этом случае все зависит от дирижирующей и направляющей воли государства. Условия других групп государство может исправить лишь отчасти с помощью тех или иных предписаний, лишь повлиять отдаленно. И это потому, что государство²⁴⁵ не может создать ничего такого, что относится исключительно к области внутренней жизни человека; нравственность, искусство, наука не могут быть созданы непосредственно государством, так как они никогда не могут быть вызваны к жизни внешними средствами, какими только и располагает государство. Государство может создать только благоприятные внешние условия для развития проявлений нашего духа, между прочим и в области нравственности. Иначе обстоит дело с армией. Она есть орудие государственной власти и по своим особенностям орудие своеобразное, точное и непреложное. Государство, будучи, вообще, условной и отдаленной воспитательной силой, по отношению к армии является силой большой и влиятельной; в своих молодых солдатах оно имеет наилучший и наиболее доступный воспитанию, к тому же наиболее нуждающийся в нем материал.

И государство, конечно, заинтересовано в том, чтобы в армии привить глубоко нравственные начала или, по крайней мере, искоренить те моральные опасности и колебания, которые по условиям обстановки могут найти себе в армии приют. Недаром, криминалист фон Лист с полным основанием назвал однажды армию «лучшим из всех образовательных учреждений для народа»²⁴⁶. Мы привели с умыслом это мнение Листа как лица гражданского и беспристрастного; мнений военных или государственных людей относительно армии как лучшей народной школы можно было бы привести сколько угодно. Государство заинтересовано в нравственном развитии армии в двух отношениях: во-первых, потому, что сыны армии возвращаются в мирное время в массу, которая их высылает, и могут явиться поэтому рассадником лучших начал, и, во-вторых, потому, что военное воспитание вне его технической стороны и мотивов политических является, несомненно, воспитанием нравственным.

Обе причины в действительности совпадают, так как хороший солдат должен быть в одно и то же время и нравственным человеком; но таким должен быть и хороший гражданин, то есть солдат, покинувший ряды армии и вернувшийся в народ.

И нужно искренно сказать, что ни одно образовательное учреждение не сможет оказывать столь сильное влияние на характер своих питомцев; никакое другое образовательное учреждение не сможет развить в своих воспитанниках в большой степени самообладание, смелость, готовность к вырубке и самопожертвованию, умение подчиняться, точность мысли и дела, любовь к порядку. И в армии не только этому обучаются, но и упражняются в этом, так что свойства эти становятся прочным достоянием характера человека. Глубоко верно сказал В. М. Соловьев, что война является практической школой любви к ближнему. А если это так, то двери в эту школу — армия мирного времени должна быть чиста сердцем, то есть нравственна. Ведь недаром советская власть, когда подошел роковой момент поднятия в стране производительности, не нашла для этого более подходящей какую-либо другую группу, как многострадальную, столь много поработавшую армию. И сделала она это не только потому, что армия ее слепое орудие, но и потому, что в армии, как таковой, всегда заложены начала и государственности, и глубоких нравственных устоев...

Наконец, нужно оттенить в этом вопросе еще одну сторону. В каком направлении эволюционирует современная военная подготовка? В сторону ли узкой муштры, сословного молодечества, в сторону забивания мысли и т. п.?

Наоборот. Чтобы победить в современной войне, солдату необходимы способность быстрого приспособления к крайне сложной обстановке, подвижная и находчивая мысль, значительная самостоятельность, бодрый и независимый дух — свойства, весьма полезные для всякого в современной жизни. Все, чему солдат учился раньше, как самообладание, повиновение, храбрость, знание дела и т. д., он должен усвоить теперь глубже и сознательнее, ибо он все более и более теряет

опору, которую находил раньше в компактной массе. Теперь солдат должен пройти гораздо лучшую и более просвещенную школу, глубже усвоить все названные выше моральные и военные свойства.

Сама техника современной войны повышает требования, предъявляемые к подготовке солдата, до исключительных размеров. Как усложнилось дело кавалерийской разведки, какое знание местности потребуется от современного унтер-офицера, как сложна стала стрельба в пехоте; а с другой стороны, какая масса возникла специальностей: радиосвязь, воздушная разведка, материальная и психическая маскировка, разные газовые волны, нарождающаяся угроза лучей... Какие мощные требования к современному солдату в смысле развития знаний, кругозора и духовной упругости предъявляет эта сложнейшая конъюнктура.

Командному составу — офицерам — еще более придется подчиниться всем этим настоятельным требованиям. Будущий вождь армии, сохраняя за собою всю старую сумму нравственного авторитета и нравственной ответственности, все более и более должен развиваться в технического вождя. Авторитет его должен чувствоваться уже в мирное время и будет опираться в государстве на его реальном, техническом, научном и моральном превосходстве. Все когда-то модные требования салонов, парадов и бытового удалства должны сделаться достоянием истории. Современные требования, предъявляемые к офицеру, станут столь серьезными с точки зрения моральной, как и военно-технической, столь необычайно положительными и просвещенными, что старые идеалы должны ныне принять совершенно другой характер²⁴⁷.

Словом, война все более и более становится серьезным делом, а потому подготовка к ней в мирное время должна становиться глубже, серьезнее и все богаче содержанием. Казарма будущего должна будет выработаться в образцовое воспитательное учреждение, офицеры и унтер-офицеры должны будут стать достойными учителями, вполне подготовленными к хоро-

шему выполнению и своей прямой задачи, и общекультурной. Тогда всякая молва о развращающем влиянии войск прекратится и армия мирного времени создаст друзей войны.

Нужно подчеркнуть еще одну сторону, которая также вносит свое влияние в дело расширения и облагораживания военного дела и военной подготовки. Современная армия представляет собою весь вооруженный народ и поэтому должна сбросить всякий отпечаток сословности. Теперь признается как догмат, что ни одно сословие не может и не должно претендовать на значение единственной опоры государства, так как последнее нуждается во всех сословиях, как в дворянстве, так и в фабричных рабочих, буржуазии, пролетариате и т. п. Это обстоятельство расширяет область требований, предъявляемых к военной подготовке, придает ей облик общенародной, выводит из прежних сословных теснин миропонимания. Армия тем самым сближается с народом, становясь его естественным детищем. А отсюда идеалы армии находят в народе естественного защитника и вдохновителя. Это дает гарантию все более правильного и широкого направления военно-воспитательной программы.

На этом мы можем кончить нашу главу о нравственной оценке армии. Обвинение ее в деморализующем влиянии мы можем считать огульным. Что касается до смысла и духа военно-воспитательной системы, то в корне таковой неизбежно должны быть заложены нравственные начала, а эволюция этой системы идет лишь к расширению и углублению как начал военно-технических, так и к большому обоснованию и упрочению моральных требований.

ВОЙНА И ГОСУДАРСТВО

Мы подошли в нашем рассмотрении существа войны к вопросу о связи ее с государством. Уже исторический очерк с несомненностью установил, что между государством и войной всегда существовала тесная и неразрывная связь. Почти все государства создавались войной, ею поддерживались на своей исторической дороге и очень многие войною же свергались в пучину забвения. Можно даже сказать, что другого цемента для сколачивания государства и нет, как человеческая кровь пролитая в боях²⁴⁸, что другие способы и средства — слово человека, любовное размежевание интересов, договоры, обещания, национальные связи, историческая привычка и т. д. — являются слишком слабыми, условными и скоро преходящими для постройки многовекового государственного здания. Как никто не подумает строить броненосец, увязывая его тело веревками или закрепляя деревянными шипами, точно так же и для скрепы государства нет других способов, как кровь и железо боевых состязаний. Это, может быть, очень печально и даже позорно для человеческой природы, но это то, что было и есть.

Как влияет война на судьбы государств, мы достаточно видели из исторического очерка. Но каково отношение государства к войне? И каково влияние первого на вторую? Об этом нам должны раньше других ответить государственники, и вот как говорит об этом авторитетный и осторожный Еллинек²⁴⁹: «Исключительно государству принадлежит защита общества

и его членов, а вместе с тем и своей территории против вторжений извне. Эта функция и соответствующая ей цель никогда не отсутствовали у государства, даже в самой его рудиментарной форме. Отражение общей внешней опасности во все времена служило важнейшим моментом к установлению могущественнейших союзов. Несмотря на то, были, однако, эпохи, когда эта функция защиты не была исключительной задачей государства, когда рядом с нею существовала самопомощь в форме мести, частных войн. Далее, в течение продолжительного периода одной из существенных целей государства признавалась не только защита, но и увеличение государства путем завоеваний или вообще расширение сферы его власти при помощи войн. Если теперь в теории обычно ограничивают цель государства в его отношениях к другим государствам только пределами обороны, то в сознании народов и в настоящее время имеются разнообразные направления на расширение государства или создание новых политических образований, целевые представления, и на основании современных политических, экономических, национальных воззрений такой наступательный образ действий не всегда может быть признан противоречащим цели государства. Войны Пруссии за объединение Германии, Сардинии — за объединение Италии, России — за освобождение государств Балканского полуострова и т. д., по общему убеждению, признаются правомерными и, таким образом, входящими в цель государства: это относится и к наиболее соответствующей нашей эпохе форме расширения государства или, по крайней мере, сферы его влияния путем колонизации. Охрана и усиление международного значения государства, независимо от его защиты должны быть признаны целью всякого независимого государства».

Я привел мнение профессора Еллинека как образчик крайне осторожной и даже боязливой мысли государственника в вопросе об отношении государства к войне. Из этой мысли выходит, что война, и притом оборонительная, является одной из существенных задач государства, основной целью ее существо-

вания. Иначе говоря, государство затем и существует, чтобы, между прочим, защищать себя и все с ним связанное от завоеваний.

Указанное понимание отношения государства к войне как явно узкое и излишне осторожное носит в себе зародыши и недомолвок и противоречий. Современную попытку Советской России добыть себе путем войны хлебные области, районы, богатые топливом, или моря, никоим образом нельзя считать неправомерной, так как иначе эта Россия не могла бы добиться той минимальной экономической самодовлеемости, без которой нет просторного и независимого государственного бытия. Что бы стало с древней Московией, если бы она ограничилась рамками своего одностороннего экономического материала и не пыталась завоевать страны, экономически восполняющих ее ресурсы?

Уже по этим примерам видно, что целью государства не может быть одна лишь оборонительная война, так как в таком случае не будет обеспечена та сущность государства, которую еще Аристотель определял словом *самодостаточность* (Autarkia).

Затем, с военно-технической точки зрения не только трудно, но даже прямо абсурдно обеспечивать целостность государства и его территории путем только обороны, не переходя в наступление или даже к заблаговременным активным целям. Ведь это только наши солдаты и руководящие ими комитеты могли в феврале и марте 1917 года повторять прочно усвоенную ими фразу: «Обороняться будем и позиций не сдадим, но в наступление не пойдем». Но что простительно темным людям, усталым от долгой войны и сбитым с толку пропагандой, то непростительно проф. Еллинеку. Раз существенной целью государства является его самозащита от внешних врагов, то таковая самозащита должна быть реальной, а *не правомерной только*; реальную же самозащиту нельзя мыслить без наступления или без активных мероприятий. Ждать у моря погоды, когда противник соберет свои силы и двинется на вас грозной массой и тогда

только чувствовать себя вправе воевать, это значит глупо раболепствовать перед Молохом права, не более.

Затем, если проф. Еллинек находит, что сознание народов допускает наступательные предприятия, направленные на расширение государства или создание новых политических образований, или на расширение сферы влияния, и признает такие предприятия правомерными, то такому сознанию народов и нужно покориться, отбросив понимание небольшой семьи государственников (или вообще юристов), как чисто кабинетное или даже схоластическое.

Наконец, тот же Еллинек говорит, что охрана и усиление международного значения государства должны быть признаны целью всякого независимого государства. Но чем же обеспечиваются охрана, а особенно *усиление* международного значения государства, как не войной, и преимущественно *наступательной*? Не думает же профессор обеспечить его дипломатией, актами и вообще международным словоизлиянием?

Таким образом, внося поправки в мысль Еллинека, мы обязаны будем установить, что война (независимо, наступательная или оборонительная) должна являться существенной целью и орудием государства не только в смысле обороны территории, людей, богатств и идеалов, но и в смысле достижения больших размеров и богатств, необходимых для приобретения государством того могущества и самодовлеемости, которые отвечают гению и историческому призванию его народа.

Насколько война в старых понятиях о государстве являлась почти исчерпывающей целью государства, видно из слов²⁵⁰ того же Еллинека, что «укрепление могущества, защита государства и охрана права — долгое время считались исчерпывающими, в общем, цель государства». Проф. Еллинек считает такое воззрение узким, низводящим государство на степень оборонительного и наступательного союза во внешних сношениях и союза для охраны права во внутренних. Конечно, воззрение узко и не находит более места ни в политической действительности, ни в представлении о ней, но оно характерно

тем, что указывает на бывшую стадию взаимоотношения между государством и войной, когда последняя являлась почти исчерпывающей целью первого, то есть вытекала из самого существа государства, как его главное целевое орудие.

Установив, что война является главным орудием государства для целей его самозащиты, укрепления и роста, мы тем самым можем предопределить существо и размер влияния государства на войну.

Естественно, что ее направление, сила, особенности и внутренний смысл будут всегда находиться в зависимости от характера задач, ставимых себе государством; эти задачи безграничны по виду и особенностям, отсюда безгранично разнообразен и характер войны.

Подводя итог сказанному о взаимоотношениях между государством и войной, мы должны будем добавить, что они представляют то, что в высшем анализе называется обратной функцией: если государство является функцией от переменного, называемого войной, то и война, в свою очередь, есть функция от переменного, называемого государством.

Но чтобы рассматриваемое взаимоотношение между государством и войной нами было понято во всей глубине его содержания, чтобы переживаемое современными народами огосударствление войны было более ясно, а некоторые идеи, связанные с войной, получили свое критическое обоснование, мы должны войти рассматриванием в самую толщу вопроса и не пройти вниманием мимо самой идеи государства.

Раз есть государство, есть война как его орудие; с другой стороны, если есть война, есть созданное, потрясенное или разрушенное государство как ее результат. Говоря серьезно и всесторонне о войне, нельзя не углубиться в вопрос о государстве, исторический смысл первой объясняет исторический смысл второго; человечность и этика войны стоят в строгой зависимости от человечности и этики государства.

Существует в литературе бесчисленное множество работ, посвященных апофеозу государства, и не меньшее число работ,

в которых оно подвергается всевозможным нападкам, а иногда и сплошному глумлению. Один автор говорит о государстве в каком-то мистическом восторге, а другой рассматривает его как величайшее зло.

Начиная от Гегеля, более всех превознесшего государство, от Шеффле и Спенсера, в своих неудачных преувеличениях превративших государство в какой-то сверхорганизм, и кончая воззрением марксистов, смотрящих на государство как организованную эксплуатацию одного класса другими, или воззрениями анархистов, резко осуждающих государство как отвратительную форму индивидуального закабаления, мы найдем сложную и пеструю лестницу мнений, в которых без руководящего и строгого фонаря легко заблудиться даже человеку с немалым кругозором.

Чтобы сознательно разобраться в этой сумме идей, нам необходимо остановиться вниманием хотя бы на той части содержания государственного права, которая заключает в себе так называемое общее социальное учение о государстве, но заранее отказаться от рассматривания как самой юридической дисциплины, так и государственных элементов, форм или соединений. Но и отдел «общее социальное учение о государстве» остается еще очень обширным; он содержит в себе изложение понятий о существе государства, об обосновании его, о цели государства, возникновении и прекращении государства, главных исторических типах государства и, наконец, о взаимоотношениях государства и права.

Из этого все еще сложного содержания для целей нашего изложения достаточно остановиться лишь на обосновании государства и на целях государства. Было бы поучительно, конечно, поговорить и о самом существе государства, но сложность и трудность выяснения этого существа, да и краткость времени заставляют меня уклониться от этой темы; впрочем, выяснение двух важных вопросов — об обосновании и о цели государства — будет достаточно для нашей задачи.

Человеческие учреждения коренным образом отличаются от явлений природы тем, что своим происхождением и разви-

тием они обязаны волевым процессам. Человеческая же воля никогда не действует просто как сила природы, эффект которой, поскольку он не уничтожается другими силами, является непрерывным. Продолжительность же волевых актов всегда зависит от рациональных оснований. Для индивидуального сознания социальная жизнь и ее несовершенства никогда не подпадают только под категорию необходимого, а всегда также под категорию *должного*.

По самой природе нашего мышления у нас в отношении всех социальных учреждений всегда возникает поэтому критический вопрос: почему они существуют? Вопрос этот отнюдь не относится, как это нередко ошибочно предполагалось, к историческому возникновению учреждений. Ответы на этот вопрос должно дать нам не историческое познание, а принципы деятельности. Каким бы образом ни возникли учреждения, они должны для того, чтобы продолжать существовать, представляться сознанию каждого последующего поколения разумно обоснованными.

Это прежде всего относится к государству. В каждом поколении с психологической необходимостью возникает по отношению к государству вопрос: зачем вообще государство с его принудительной властью? Почему индивид должен мириться с подавлением его воли другою волей, почему и в каких пределах он обязан приносить жертвы в интересах целого? Ответы на эти вопросы должны объяснить индивиду, почему он обязан *признавать* государство. Они стоят на почве не существующего, а должного; они имеют не теоретический, а *практический* характер²⁵¹.

Эти вопросы образуют основу политического изучения государства, так как они преследуют ясную цель — защиты или изменения существующего государственного порядка. Ими указывается один из тех пунктов, где учение о государстве нуждается, для своего завершения, в понимании его политическими исследованиями; в противном случае результаты его теряют под собою прочную почву. Это явно подтверждает великая

духовная борьба, раздирающая современное общество. Социализм, с одной стороны, и анархизм, с другой, подвергают вообще сомнению право государства на существование, утверждая, что возможно общество и без государства.

Выяснение того, что государство есть учреждение необходимое, в основе своей этическое и потому должностное быть признаваемым, даст возможность глубже понять самую природу государства, недостижимую до тех пор, пока не отвергнуто предположение, будто оно представляет только эпизод, патологическое явление в истории развития человечества.

Ответ на поставленные здесь вопросы возможен с двоякой точки зрения.

Можно рассматривать государство как историческое явление, проявляющееся во многообразных формах, но, несмотря на то, всегда отправляющее определенные типичные функции, или же его можно конструировать как звено в цепи трансцендентных элементов, являющихся истиной метафизической сущностью мира явлений. Под влиянием спекулятивной философии до второй половины истекшего столетия господствовала вторая из указанных точек зрения. С падением господства этой философии положительная наука отказывается вообще от разрешения проблемы об обосновании государства — в убеждении, что эта проблема имеет необходимо спекулятивный характер²⁵². Государственно-правовые системы последних тридцати лет не упоминают о ней вовсе, так как вполне достаточным оправданием государства является с их точки зрения самый исторический факт его существования. Лишь критика социалистов и анархистов вновь обратила внимание современной науки на высокую важность этой проблемы.

Под влиянием естественно-правовых воззрений до сих пор относящиеся сюда учения обозначались как учения о *правовом основании* (Rechtsgrund) государства. Это название неясное и неверное, так как оно смешивает юридическое и этическое обоснование; но часто юридическое обоснование, по многим мотивам, следует признать невозможным. Речь идет, напротив,

о вопросе, в конце концов, чисто этическом — должно или не должно быть признаваемо государство в силу необходимости, стоящей выше индивида.

Бесчисленны этические теории, а с тем вместе и попытки обоснования государства. Но все эти учения могут быть подведены под несколько общих категорий, с точки зрения тех идей, на которых они построены.

Необходимость государства может быть обоснована с пяти коренным образом различных точек зрения: *религиозной, физической, юридической, этической и психологической* необходимости.

Выше мы говорили о тесном взаимоотношении между государством и войной, почему изложение и оценка пяти сказанных теорий для выяснения обоснования государства будут логически распространяться и на главную цель государства — на войну.

Начнем с *религиозно-теологического* обоснования государства; его коренная идея сводится к тому, что государство существует в силу Божественного установления и всякий, согласно Божественной воле, обязан признавать его и подчиняться его порядку. Это учение является древнейшим и в старые времена повсеместным — его мы находим в древних государствах Востока, в Древних Греции и Риме, в Перу и Мексике начала XVI века. Эта мысль ярко выражена Демосфеном: закону следует повиноваться, так как он есть изобретение и дар божества.

В христианском мире это учение стало развиваться иным путем, и первоначально христианство относится к государству в лучшем случае равнодушно²⁵³. Но необходимость урегулировать свое отношение к государству заставляет уже христианство III и IV веков проповедовать обязанность признания государственного авторитета. С победой христианства это отношение изменяется, хотя не резко. В учении Златоуста²⁵⁴ и в особенности Св. Августина мы находим противопоставление *eivitos Dei* — *civitas terrena*, причем второе является неизбежным

последствием грехопадения, но, как и грех вообще, государство существует с Божьего соизволения и служит к тому, чтобы выставить в наиболее ярком свете Божественное милосердие, обещающее спасение избранному.

Эта мысль Св. Августина проходит через средневековое учение церкви; она и теперь положена в основу ортодоксальных (католичества и православия) учений о государстве, подхватывается немецкой Реформацией и вплоть до ближайшего времени отстаивается протестантской ортодоксией²⁵⁵. Теория Св. Августина служила важнейшей опорой Григория VII в борьбе с императором.

Такое суровое отношение церкви к государству не могло удержаться долго, и в последующем вырабатывается теория, согласно которой государство хотя и обязано своим возникновением греху, но установлено с целью защиты против последствий греха. Наиболее известное выражение это учение получило в знаменитой теории двух мечей, вытекшей из мистического толкования одного места Евангелия от Луки²⁵⁶. Для защиты христианства даны Богом два меча; по клерикальному воззрению, оба меча вручены Богом папе, который духовный меч держит сам, а светский передает императору; приверженцы императора, например, утверждали, что свой меч последний получил в лен непосредственно от Бога.

Попытки теологического обоснования государства встречаются и в Новейшее время, и при этом крайне интересно наблюдать, как противоположные партии стараются прикрыть свои притязания Божественною волею, чтобы таким путем найти для них неопровержимое правовое основание; и в этом случае не только учреждению вообще, но и определенному строю его приписывается такая непосредственная Божественная санкция. Из этого факта можно извлечь только тот важный вывод, что из церковных учений нельзя выводить никаких политических учений, так как каждая эпоха и каждая религиозно настроенная партия с непоколебимою уверенностью выводили нужные им принципы из теологических предпосылок. Во время крестьян-

ских войн восставшие основывали свои требования на Евангелии, а Лютер громил восставших на основании того же Евангелия. Иаков I провозгласил Божественное право Стюартов, а пуритане казнили его сына, ссылаясь на веление Божие, и т.д. Государственность Англии и республиканские государства Новой Англии также строятся на признании, что в силу Божественного порядка высшая церковная власть, как и политическая, должна принадлежать народу, а с другой стороны, защитник княжеского абсолютизма Боссюэ доказывает, на основании Св. Писания, что этот абсолютизм есть лучшая угодная Богу форма государства, что короли суть наместники Бога, а престол их — в действительности престол Божий²⁵⁷.

Идеи эти, несмотря на атаку энциклопедистов, беспощадную иронию Руссо²⁵⁸ и освободительную бурю революции, легко миновали скалы и были удвоены французскими легитимистами, восприняты немецкими клерикальными писателями и возведены в систему Stahl'ем. Согласно этому писателю, государство есть этически-интеллектуальное царство, основанное на Божественном велении и порядке.

Конечно, все эти эксцессы религиозной теории ныне отходят в область преданий, но их упорная задержка, уже может быть, искусственная, в жизни народов скорее расшатывает идею государства, чем укрепляет ее. Столь часто встречающееся в социалистической литературе утверждение, что религия исполняет исключительно одну только социальную функцию — укрепления конкретных отношений силы и эксплуатации, — представляет неизбежную реакцию против современных попыток вмешать религию в политику дня. С другой стороны, теологическое учение о государстве в его, например, католической формулировке все еще служит теоретической основой враждебных государству стремлений клерикальной партии, отрицающей, как и столетия тому назад, самостоятельное право государства. Эти учения бьют, таким образом, мимо практической цели — оправдания государства и служат не укреплению его, а разрушению. От этих старых и почти изжитых проявлений религи-

озно-теологической мысли нужно отличать те политические и теологические учения, которые сводят к воле Божества как самое явление государства, так и все его исторические развитие. Тут улавливаются две основных идеи — убеждение в разумности государственного народа, и, затем, та мысль, что происхождение государства, как и всего существующего, коренится в первоначальной причине явлений. Конечно, удовлетворительного научного результата такое положение не дает, так как из единства конечной причины выводится все, и потому единичное явление не может быть объяснено в его своеобразии. Точно так же и разумность государства только предполагается, но не доказывается проектированием его на Божественную волю, как это и подтверждается на тех теологических учениях, которые убеждены в небожественном характере государства.

Поэтому теологическая теория в этой формулировке всегда нуждается еще в каком-либо другом основании для оправдания государства; иначе говоря, Божество, по этой теории, есть *causa remota* государства, между тем как его *causa proxima* заключается в каком-либо другом принципе.

Перейдем к рассмотрению *физической* теории обоснования государства, или к так называемой теории силы, как несравненно более свежей и ныне глубоко интересной. Сущность этого учения состоит в том, что оно конструирует государство как господство сильного над слабым и признает такое отношение властвования данным самою природою. Государство основано, таким образом, по этой теории, на законе природы, независимом от усмотрения человека. По этой причине государство должно быть признано индивидом, то есть последний должен подчиниться ему в силу того соображения, что оно есть неотвратимая сила природы, подобно солнечному теплу, всемирному тяготению, приливу и отливу, землетрясению и т. п.

Теория силы — материалистическая противоположность теологического учения. Как последнее требует подчинения воле Божией, так материалистическая теория требует подчинения слепым силам социальной эволюции.

С теорией силы мы встречаемся уже в древности. С полной ясностью она выражена позднейшими софистами, по учению которых государство есть учреждение, существующее только для блага сильного, есть организация социальной эксплуатации; право по своему происхождению — установление человеческое, предназначенное к обузданию сильного в интересах слабого, но сильный, раз познав это, разрывает эти противостественные оковы и, таким образом, восстанавливает господство естественного закона²⁵⁹. Плутарх влагает в уста Бренна слова, с эпиграмматической краткостью, выражающие учение о праве сильного²⁶⁰.

В Новейшее время теория силы впервые возрождается в связи с борьбой против теологического учения. Уже Гоббс не знает для права индивида в естественном состоянии другой границы, кроме его силы, и признает государство, основанное на силе, рядом с договорным государством равноправными формами государства, одинаково осуществляющими принуждение по отношению к своим членам, а Спиноза отождествляет вообще право и силу.

В XIX столетии Haller, в борьбе с естественно-правовой договорной теорией, в резкой форме выставил затем положение, что государственное властвование, основанное на неравенстве людей, покоится на неизбежном естественном законе, что естественное состояние, в котором он имеет место, не кончилось и никогда не может кончиться²⁶¹.

В Новейшее время социалистическое учение об обществе, рассматривающее конкретный государственный порядок как выражение соотношения сил общественных классов, повторяет в новой форме старое учение софистов. Фактические отношения силы, говорит Лассаль, существующие в каждом данном обществе, представляют тот активно действующий фактор, который определяет все законы и юридические отношения этого общества так, что они в существенных чертах не могут быть иными, чем каковы они в действительности²⁶². Фр. Энгельс, исходя из учения К. Маркса, говорит: «Цивилизованное общество

как целое представляет государство, которое во все без исключения характерные периоды является государством господствующего класса и во всех случаях остается по существу орудием для угнетения подавленного, эксплуатируемого класса»²⁶³.

Теория силы, что для нее характерно, редко выступает в чистом виде, так у Спинозы она умеряется определенными элементами договорной теории, у Галлера — *патримониальными* гражданско-правовыми элементами²⁶⁴.

Новейшие социалисты провозглашают, что грубый факт образующихся в борьбе общественных классов государственных отношений силы, свойственный определенному периоду развития производственных отношений, возвысится некогда до общества, построенного на идее солидарности всех. Ибо в человеческом обществе, в силу естественного его развития, когда-либо закончится борьба конкурирующих интересов и с тем вместе то, что мы теперь называем государством. Общество, которое реорганизует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, сдает весь государственный механизм в музей древности, рядом с ручным ткацким станком и бронзовым топором²⁶⁵. Социалисты, таким образом, по крайней мере, *pro futuro* отрицают естественную неизбежность государства, основанного на силе.

Такова теория силы в лице ее наиболее ярких выразителей. Самыми современными и заслуживающими внимания являются социалисты. К счастью для науки, теперь уже оставлено горделивое и несколько презрительное отношение ученых к этой «ненаучной демагогии», как еще недавно обзывали экономический материализм, так как факт распространения социализма и его проникновения все в более и более широкие круги Европы является уже не секретом. Что же возражает буржуазная²⁶⁶ группа государствоведов против теории силы социалистов? Таковы, напр., возражения Еллинека: «Теория силы с первого взгляда в значительной мере подтверждается историческими фактами, как тем, что исторически процесс образования государств только в исключительных случаях не со-

проводился победой превосходящей силы и *война была творцом большинства государств*²⁶⁷, — так равно и той неоспоримой истиной, что каждое государство по существу своему представляет организацию силы или властвования. Однако теория силы имеет своей целью не объяснение, а обоснование существующего, подобное же обоснование относится к будущему, а не к прошлому. Конечно, и фактически существующее имеет для человеческих дел нормативное значение, но признанию фактического нормативным противодействует другой, и притом сильный, фактор — именно стремление к преобразованию существующего в соответствии с определенными целями. Поэтому теория силы убедительна только для тех, кто фаталистически относится к существующему как к чему-то неустраняемому, но не убедительна для тех, кто решается выяснить на опыте, не может ли существующее сложиться и как-нибудь иначе. Ибо познание всех естественных законов основано на опыте, и стремление подвергать возможно чаще данные опыта проверке должно быть признано тем более законным, что более основательное изучение не раз уже выясняло ошибочность многих мнимо естественных законов».

Сверх того, приверженцы теории силы совершенно упускают из виду, что господствующая власть повсюду имеет преимущественно психологический, а не физический характер, что видно уже из того, что по общему правилу незначительное меньшинство господствует над большинством. Та сила, которая обеспечивает господство англичан в Индии, была бы недостаточна для удержания в повиновении незначительного германского племени, если бы оно временно оказалось покоренным. Государственные и социальные отношения зависимости обуславливаются поэтому прежде всего духовными и этическими свойствами господствующих и подвластных.

Практические последствия теории силы должны сводиться не к обоснованию, а к разрушению государства. Если государство есть не что иное, как грубая неразумная²⁶⁸ сила, — почему бы угнетенному этой силой не сделать попытки сбро-

силь ее с себя, низвергнуть тех, кем осуществляется эта сила, или даже разрушить всю нашу столь прославленную цивилизацию, тем более что такие деяния, как все, что происходит, не стоят вне обусловленной «естественными законами» необходимости. Так как между господствующими и подвластными нет никакой этической связи, то при такой конструкции государства отпадают все этические мотивы²⁶⁹, которые могли бы воспрепятствовать возникновению и осуществлению учений, разрушающих государство. Такого рода анархистские выводы и делаются в Новейшее время из теории силы, в частности из лежащего в основе теории положения, что государство основано на силе и принуждении и поэтому лишено высшего этического содержания.

Таким образом, с одной стороны, отрицание, а с другой — попытки коренного преобразования всего существующего могут быть оправданы с точки зрения теории силы. Естественные законы действуют в определенных границах, и стремление исследовать эти принципы на практике представляется вполне обоснованным именно с точки зрения механически-эмпирического взгляда на природу и общество. Поэтому самые радикальные социалистические проекты вплоть до анархистских являются если не логическим, то психологическим последствием теории силы.

Ведь по самой своей природе человек не может слепо подчиниться действительным или мнимым естественным силам, а всегда предварительно пытается бороться и победить их. К победе над природой или одухотворению ее сводится, в конце концов, всякая культура.

Таким образом, теория силы в действительности не достигает цели: она не основывает государство, а разрушает его, пролагая путь непрерывной революции. В этом факте кроется глубокая ирония, столь часто наблюдаемая в истории этических и политических теорий.

Теория силы и по другим причинам, кроме отсутствия этического элемента, является воззванием к постоянной борьбе

с существующим порядком. Если государство, по существу, есть не что иное, как фактическое господство, то из этого с психологической необходимостью вытекает стремление подвластных всеми средствами добиваться господства²⁷⁰. Стремящемуся к обладанию властью эта теория, конечно, не может в целях сдерживания этого стремления указать на какое-то большее право тех, кто уже обладает властью.

Софисты последовательны, когда из своих предпосылок выводят то неопровержимое следствие, что тот, кто понял природу государства, должен всеми средствами стремиться к господству. С другой стороны, и те советы, которые Макиавелли дает стоящим у кормила правления для удержания власти в их руках, должны быть признаны последователями теории силы неопровержимой политической истиной. Спорным только может быть вопрос о целесообразности, но отнюдь не о допустимости их.

К этой критике теории силы добавим от себя, что если Еллинек и прав, то разве только толкуя вопрос в области историко-теоретических построений социализма. Выдвижение на платформу практической жизни той же теории силы заставляет ее уклоняться от сухо-догматических построений социалистов прошлого столетия и остро-естественную сторону теории освежать, расширять и смягчать значительной суммой этических прослоек. Эти прослойки, поскольку они найдут себе доступ в жизнь, тем самым или ослабят, или совсем устроят некоторые из возражений проф. Еллинека.

Наиболее обширной и в свое время авторитетной является *юридическая* теория, включающая в себя целую группу учений, из которых каждое основывает государство на каком-либо противоположении, то есть, по существу, рассматривая государство как продукт права. Все эти учения исходят из воззрения — или должны выходить из такового, — что существует предшествующий государству и стоящий над ним правопорядок, из которого и должно быть выводимо государство. Исторически учения выступают в тройкой форме: государство рассматривается как институт права *семейного, вещного или договорного*. Это

теории патриархальная, вещная и договорная; из этих теорий наиболее разработанной и интересной является договорная.

Патриархальная теория, или, говоря иначе, *семейственно-правовое обоснование государства*, вытекает из воззрения, что государство исторически произошло из семьи и представляет собою расширенную семью; такое воззрение подтверждалось историческими воспоминаниями многих народов. Так представляли себе процесс образования государства древние греки; так Древний Рим в своей организации сохранил глубокие следы первоначальной федерации семей. Иудейское царство рисовалось, по библейским данным, выросшим из потомков одной семьи. В старое время теологически окрашенное мышление из этого представления о государстве как о расширенной семье переносило почитание, которым мы по Божескому и человеческому праву обязаны родителям, на руководителей государства как отцов огромной семьи. В Средние века эта теория проводилась как исключение²⁷¹, а в Новейшее время признается излишним опровергать эту теорию уже по одному тому, что отеческая власть признается теперь продуктом продолжительного исторического развития. В существе своем эта теория пыталась обосновать не государство вообще, а только определенный его вид, а именно абсолютную монархию. Признавая всех подданных вечно нуждающимися в опеке, она и приверженцев могла найти лишь в среде, духовно незрелой.

Гоббс допускает патриархальное государство²⁷², но выводит его не из отеческого права, а из соглашения между отцом и детьми, то есть сливает эту часть своего учения с теорией договорной.

Патримониальная теория имеет за собою далекую древность. Уже у Платона встречаются указания, что возникновение государства выводится из вызванного потребностью соединения отдельных видов человеческого труда, а Цицерон ясно высказал, что мотив к образованию государств он усматривает в защите собственности²⁷³. В новейшей естественно-правовой

литературе вплоть до социалистических теорий нашего времени порядок собственности нередко рассматривается как активная причина и юридическое основание государственного порядка. Систематических же попыток прямо вывести государство из мнимо догосударственного экономического порядка никем, однако, не было сделано.

В Средние века, согласно древнегерманскому воззрению, король²⁷⁴ есть верховный собственник всей земли, и в соответствии с этой теорией, конструирующая государство на основе земельной собственности, представляется со средневековой точки зрения вполне обоснованной. В Германии присоединилось еще огромное значение права собственности на землю, обуславливающего обладание и осуществление государственных верховных прав, и государственная власть тем естественнее признается принадлежностью земельной собственности.

Из отдельных лиц можно указать разве только Haller'a как на очень упорного и яркого представителя патримониального учения. В наше время широко поставленных исторических и историко-сравнительных юридических исследований патримониальная теория как учение об обосновании государства потеряла свою ценность, хотя влияние ее еще кое-где сохраняется в учениях о государстве.

Договорная теория является наиболее важной из правовых теорий. Согласно ее правовой основой государства является договор. Выдающееся значение этой теории обуславливается не только высокою авторитетностью²⁷⁵ исследователей, являвшихся ее представителями, но и тем огромным влиянием, которое она оказала на весь строй современного государства.

Зародыши договорной теории мы уже находим в далеком прошлом²⁷⁶, например у греков. Но не столько греческие, сколько иудейские и римские представления оказали величайшее в этом отношении влияние на политическую мысль Средних веков и начала Нового времени. У древних евреев Иегова заключает союз с царями и народом²⁷⁷, Давид, до помазания его на царство, заключает союз с израильскими племен-

нами в Хевроне²⁷⁸. Еще в XVI и XVII столетиях на этом фундаменте строятся самые широкие обобщения.

Кроме Священного Писания в Средние века не меньшее влияние на выработку договорной теории оказало римское право, в частности указание Ульгана о *lex regia*, посредством которого народ переносит на императора свою власть. Но было бы тщетно искать в Средние века учение, которое усматривало бы в договоре конечное правовое основание государства. Принципиальной разработке договорной теории противодействуют в Средние века воззрения церкви, с одной стороны, не могущей признать человеческую волю единственным базисом государства, а с другой — бесспорный авторитет Аристотеля. Поэтому договорная теория в Средние века есть учение об установлении властителя в государстве, не более. У Гукера (конец XVI века) и Гроция только намечаются некоторые основы социального договора, и только с Томаса Гоббса начинается история социального договора как научной теории.

Гоббс различает двоякого рода государства. Во-первых, государство естественное, выросшее исторически, основанное на отношениях власти, и, во-вторых, государство созданное, рационалистическое (*civitas institutiva*), которое исследователь выводит не из истории, а из природы человека²⁷⁹. Последнее — институтивное государство — Гоббс выводит из его элементов, устанавливая между ними связь генетическую, но не историческую. Для этого он с исключительным искусством конструирует предполагаемое естественное состояние, в котором государство отсутствует; в подобном естественном состоянии господствует исключительно эгоизм индивида, влекущий за собою войну всех против всех. Основной инстинкт эгоизма порождает, однако, страх, вследствие которого в человеке возникает настоятельная потребность в мире. Но так как естественные свойства людей не могут создать постоянного единения между ними, то прочный мир может быть достигнут только путем заключения всеми договора о соединении, содержанием которого является подчинение всех единой воле²⁸⁰. В силу этого договора *status natu-*

galis сменяется status civilis. Этот основной договор является одновременно договором о соединении и о подчинении²⁸¹ и на место связанных друг с другом индивидов ставит persona civilis, государство. Таким путем Гоббс обосновывает абсолютное государство, знающее только один господствующий орган (индивида, или соефус) как нормальную, разумную и потому вообще долженствующую быть признаваемой форму государства. Его учение поэтому находится в резком противоречии с теми теориями, которые рассматривают самого властителя как договаривающуюся сторону. Не властитель, а только индивиды заключают между собою договор, и потому восстающий против властителя нарушает заключенный им с другими основной договор, властитель же нарушить его не может, так как он как властитель вовсе не заключал такового. Задача Гоббса, как приверженца идеи сильной государственной власти, сводилась к тому, как это отметил его популяризатор на континенте Пуфендорф, чтобы найти прочное разумное основание для права властителя в противовес, с одной стороны, революционным теориям, и с другой — безжизненным учениям о Божественном праве королей.

Совершенно иначе развивает договорную теорию Руссо. В своем Contract social, потрясшем старый мир в самом его основании, Руссо, — что совершенно очевидно — хотел не объяснить существующее государство, а *показать и обосновать государство, соответствующее природе человека*. Исходя из того, что человек, рожденный существом свободным, повсюду носит оковы, он отнюдь не ставит себе задачей выяснить, каким образом развилось современное состояние, а хочет разрешить проблему, каким образом оно может быть обосновано²⁸².

Исходя из положения²⁸³, что свобода неотделима от самого существа человека, Руссо приходит к заключению, что государство должно быть обосновано на общественном договоре, в силу которого участники договора подчиняются общей воле. Так как в этой общей воле содержится также воля каждого от-

дельного индивида, то в построенном таким образом государстве каждый остается подчиненным только самому себе — свобода сохраняется поэтому и в государстве²⁸⁴. Обосновывающий государство договор Руссо представляется, таким образом, чисто общественным договором, хотя при строгом анализе он должен в то же время являться договором и о подчинении, то есть сближаться с договором Гоббса.

Из своих рационалистических посылок Руссо выводит ряд заключений высокой важности, безусловно враждебных существующему порядку. Так как общая воля не может быть представляема, делима и отчуждаема, то предмет общей воли, закон, необходимо должен быть общим решением современного народа, какова бы ни была форма правительства, единственной задачей которого является исполнение закона. Разумным, правомерным государством всегда была и будет непосредственная демократия — идея, огромное влияние которой дожило до наших дней.

Кант, высокий авторитет которого служил опорой договорной теории в течение значительной части XIX столетия, решительно отмечает исключительно рационалистический характер социального договора. Он говорит: «Акт, которым народ сам объединяется в государство, или, точнее, лишь идея его, в соответствии с которой только и может быть мыслима его правомерность, есть первоначальный договор, в силу которого все в народе (*omnes et singuli*) отказываются от своей внешней свободы с тем, чтобы тотчас же вновь получить ее в качестве членов одного общего целого, то есть народа, рассматриваемого как государство»²⁸⁵.

Договорная теория, ограничиваясь рационалистической стороной, имеет за собою много данных, и трудно представить себе более глубокое обоснование государства. Что может быть более естественным и разумным, когда индивид сам познает необходимость государства и создаст его свободно и сознательно? Кроме того, это учение совместимо со всяким другим воззрением на историческое возникновение государства. Даже

построенное на основе коллективизма свободное общество, которого требуют и о котором мечтают социалисты, также представляется в существе не чем иным, как договорным государством, причем отвергается только *название* государства, напоминающее о нежелательном принуждении.

Но эта теория в корне своем является все-таки ошибочной, и прежде всего потому, что в основе ее полагается неверное понимание существа права. Во всех своих оттенках договорная теория исходит из права, существующего независимо от какой бы то ни было общественной организации, что в существе ошибочно, а отсюда и неизбежно постоянная уловка договорной теории выводить государство, беря одно или несколько положений *существующего* государственного правопорядка. Сколько времени должно было пройти до тех пор, пока было вообще выработано положение об обязательности договоров, кажущееся естественному праву само собою разумеющимся. Невозможно, далее, указать объективное право, которым определяется содержание и юридические последствия основного договора.

Но самым крупным недостатком естественно-правового основания договора является невозможность доказать абсолютную связанность индивида раз данным обещанием. Если положение Руссо о свободе человека неопровержимо, то, стало быть, индивид может во всякое время разрушить договор в силу этой его неотъемлемой свободы. С полной ясностью вывел это конечное логическое последствие естественно-правовой теории J. G. Fichte²⁸⁶. Если кто-либо меняет свою волю, он с этого момента не находится более в договорном отношении; он не имеет прав по отношению к государству, как и государство по отношению к нему²⁸⁷.

Таким образом, договорная теория, доведенная до ее логических последствий, не обосновывает, а разрушает государство и потому не достигает своей непосредственной задачи, но ее историческое влияние было и остается огромным. Под этим влиянием сложилось все современное государство; его строй и учреждения.

Этой теории мы обязаны идеей прямого законодательного признания прав свободы, требованием правового государства и осуществлением этого требования, судебной гарантией всей правовой сферы индивида, в том числе и его публичных прав. Под глубоким воздействием естественно-правовой теории выработались принципы политического и экономического либерализма. Она жива и поныне во французской плебисцитарной теории, швейцарском и американском референдуме, как и в политических требованиях немецкой социал-демократии. Безусловно, господствуя в XVIII столетии, она превратила в развалины старый европейский мир и содействовала созданию нового за океаном. Ибо влияние политических учений, подобно религиозным, измеряются не абстрактной их истинностью, а той силою и глубиною, с которою они умеют покорять себе умы.

Этическая теория, как в древние времена, так и в новейшие, насчитывает в своих рядах наиболее сильные умы. Для античной философии — в лице ее лучших представителей — жизнь, достойная человека, немислима вне государства. У *Платона* и *Аристотеля* человек лишь в государственно упорядоченном общении становится человеком в полном смысле этого слова, так как только в этом общении может проявиться природа человека во всей ее разносторонности. Вне государства он был бы Богом или животным; нравственное совершенствование, стремление к которому является назначением человека, возможно только в государстве.

Проблески этой теории находим и у Гоббса, для которого совпадающий с моральным законом *lex natura fundamentalis* и является именно тем законом, который предписывает нам искать мира, а прочный мир можно найти только в государстве²⁸⁸. По Chr. Wolff'у необходимость установления государства вытекает из высшей моральной обязанности к усовершенствованию²⁸⁹. Кант признает категорическим императивом правовой закон, а с тем вместе и объединение людей под защитой правовых законов, каковым ему представляется государство²⁹⁰. Фихте еще энергичнее признает абсолютной мо-

ральной обязанностью объединение с другими в государстве, *добровольную реализацию разумного государства*. Правовой закон, говорит он в своем последнем труде²⁹¹, заключает в себе в то же время моральное веление каждому человеку познать его и затем повиноваться ему. Кто не хочет участвовать в разрешении задачи реализовать в конце концов государство разума, тот нарушает право другого, такие люди не должны бы быть терпимы, а их следует обуздывать, как стихийную силу природы.

Иначе конструируя этическую необходимость государства (опираясь на античные воззрения), Гегель говорит еще сильнее и ярче; философ признает государство высшей диалектической ступенью развития объективного духа и определяет его как осуществление моральной идеи, и потому высшей обязанностью индивида является быть членом государства²⁹². Идея этической необходимости признания государства самым разнообразным образом варьируется затем в позднейшей литературе²⁹³ вплоть до настоящего времени, и, конечно, с той степенью доказанности, какую вообще допускает этот угол зрения, имеющий свои корни в метафизической надпочве.

Наконец, *психологическая* теория почти не выявляется в ее чистом виде. На почве этого учения стоит значительная часть тех авторов, которые рассматривают государство как историческую необходимость, хотя при столь частой в политической литературе неясности и смешении понятий — это многими не сознается. Так как государство существует не рядом и не вне людей и жизнь его проявляется всегда лишь в действиях человека, то эта историческая необходимость, познанная ясно и, значит, научно, может быть определена только как *психологическая*. Сюда относятся поэтому все те, кто определяет и тем обосновывает государство, как естественное образование, продукт народного духа, исторический факт. Родоначальником всех этих учений является *Аристотель* в его знаменитых положениях о государственном инстинкте людей и влиянии стремления, побуждающего людей к созданию высших социальных образований.

Психологическая теория находится в более или менее тесной связи и с другими теориями, например естественно-правовой, поскольку последняя признает движущей силой в процессе образования государств определенные человеческие душевные движения (влечение к общению, страх). В частности, же она в Новейшее время выступает в связи с этической теорией, причем исторически-психологическое явление государства признается в то же время и разумным²⁹⁴. Исторически развившееся уже как таковое, оно заключает в себе, по этому воззрению, этический момент — оно разумно и потому должно быть признаваемо. С другой стороны, вопрос об абсолютной разумности государства при господствующем теперь отрицательном отношении к метафизике по общему правилу не затрагивается более, и как философы²⁹⁵, так и историки имеют в виду чисто психологическое обоснование государства из обусловленного организацией человека исторически необходимого факта его существования.

Мы вкратце рассмотрели теории обоснования государства и относительно первых трех привели существующие в науке возражения. Нетрудно видеть, что все эти теории имеют в виду обоснование не государственного общения во всем его объеме, а только одного из его элементов, именно его над всем господствующей принудительной силы. Почему индивид, чувствующий себя свободным, должен мириться с этой принудительной силой — вот тот гордый вопрос, который вызвал к свету большинство теорий обоснования государства. И указание психологической теории на присущую человеку склонность к государству не дает на него удовлетворительного ответа, ибо из общительной природы (психики) человека можно вывести только самое общение, жизнь в обществе, но не принудительную организацию, не принудительную власть.

Столь же мало удовлетворительно основанное на обычном толковании аристотелевских воззрений²⁹⁶ часто проповедуемое в настоящее время учение о естественном органическом происхождении государства. Ибо государственное принуждение

всегда осуществляется сознательно действующими людьми и против сознательно действующих; не в бессознательно-органических, а в сознательно-произвольных актах проявляется бытие и воздействие принудительной государственной власти. Объяснять эту принудительную власть органическим государственным инстинктом представляется идеей, безусловно, превратной; *инстинктивного* стремления подчиняться государству не может признать ни один психолог. Аристотель не утверждает этого даже по отношению к рабу.

Но и указания на непрерывность исторического существования государства недостаточно для разрешения этого вопроса, ибо учреждения, несомненно существовавшие с незапамятных времен, впоследствии, однако, существенно изменялись и даже совершенно прекращали свое существование. Ведь и Св. Августин на основании исторических наблюдений утверждал, что рабство будет существовать до тех пор, пока будет существовать земное государство²⁹⁷. Анархистская и социалистическая философия истории не отрицает, что прошлое и настоящее подтверждают историческую необходимость принудительного государства и тем не менее требуют для будущего, долженствующего быть осуществленным усилиями человека, первая — уничтожения государства, а вторая — государства без принудительной власти.

Наконец, и комбинированная психологически-историческая теория отнюдь не объясняет необходимости государственной принудительной власти. С точки зрения этой теории государство всегда было и останется исторической категорией, а последняя, как таковая, никогда не заключает в себе элементов обоснования; она объясняет существование государства, но не разрешает вопроса, почему оно должно существовать.

Таким образом, изложение всех теорий обоснования государства выяснило нам, что ни одна из них не может претендовать на непреложность и достаточную широту. Все они страдают ошибками или недочетами, всем им свойственна некоторая узость концепции. Очевидно, государству в его существе свой-

ственной особой широта содержания, большой объем мотивов и настроений, чем это предусматривает та или иная теория. И только какая-то будущая теория, которая включит в себя значительно большее число исходных мотивов, ответит более удовлетворительно поставленной цели обоснования государства.

Но и этого мало. Необходимость государства может быть доказываема только путем тщательного изучения существующего мира и тех людей, для которых оно предназначено. Невозможно убедить тех, кто принципиально отвергает мир и историческую эволюцию, то есть, например, крайних фанатиков анархизма и тех нигилистов, которые стремятся лишь к разрушению, а не к созданию и отказываются от обсуждения того, что они замышляют. Их так же трудно убедить в ценности государства, как решившегося на самоубийство — в ценности жизни. Нужно отходить в доказательствах смысла государства от какой-то предельной линии, за которой начинается беспринципное словоизвержение и отсутствие всяческих идеалов. Обосновать государство можно только для тех, кто принципиально признает культуру, а потому и ее условия. Современных Диогенов, готовых для насмешки над религиозным чувством своих сограждан раздавить ногтем вошь на алтаре Дианы, нужно оставить в покое.

Но одно заключение можно сделать безошибочно из факта обилия теорий обоснования государства и из множества славных и великих умов, которые думали над этой темой. Несомненно, что коллективное направление умов свидетельствует о признаваемой всеми ценности государства. Старание доказать эту идею, сделать ее очевидной и для неверующего, и для скептика показывает, что сами-то мыслители единодушно признавали эту ценность. И что это была ценность не обычного типа, а высокого, ценность квалифицированная, на это указывает постоянство этических прослоек почти в каждой теории или ряд теорий, пробовавших обосновать государство на чисто этическом фоне. Единодушие мыслителей ценно в том конечном выводе, который говорит, что государство есть благо, а не зло.

И если человечество до сих пор не выясняет себе того сложного и тайного процесса и тех духовных пружин, которые участвуют в историческом процессе формулирования государств, то это результат слабости пока научного преуспевания; оно это рано или поздно выяснит. Пока же ему и лучшим его представителям ясно одно: государство есть добро, есть фонд для создания разного вида ценностей — духовных и материальных — и является одним из наиболее крупных рычагов в машине общемирового прогресса.

Несколько обособленное место среди теорий обоснования государства занимают анархистские и социалистические течения теории силы. Эти течения относятся критически к идее государства в том смысле, что анархисты ее осуждают в настоящем и отрицают в будущем, а социалисты, признавая ее в прошлом и настоящем, в будущем конструируют государство без элемента принудительной власти. В нашу задачу не входит рассмотрение вопроса, поскольку реально осуществимы надежды социалистов²⁹⁸, да это для нас и не важно. Мы можем довольствоваться тем впечатлением, что даже социалисты, наиболее критически отнесшиеся к вопросу о ценности государства, признают его в прошлом и достаточно ценят в настоящем, хотя бы под формой временно незаменимого фактора; что же касается до будущего, то и там они от идеи государства не отказываются, хотя и намерены его сконструировать совершенно по-иному. Пусть будет так. Налицо все же будет *государство*; идея останется целой во всей ее ценности, а это самое главное.

Что касается анархистов, составляющих одинокий голос в мощном хоре поклоняющихся Богу государственности, то не будем смущаться этим бессильным возражением и посмотрим на него как на малоинтересное само по себе исключение.

Возвращаясь же вновь к общему анализу всех пяти теорий обоснования государства, мы должны будем после обстоятельного углубления в вопрос сказать, что в действительности только правопорядок — как бы он ни был несовершенен²⁹⁹

в конкретном случае — и гарантирует возможность жизни в обществе. При совершенном отсутствии его естественные отношения сил проявились бы в таких формах, которых не мог бы допустить и самый несправедливый правопорядок. Необходимым отсутствием государства и права явилось бы *bellum omnium contra omnes*.

Таким образом, вопрос об основе государства существенно совпадает с вопросом об основе права. На этот старый и вечно новый вопрос был дан верный ответ уже несколько тысячелетий тому назад. Не найдено еще лучшего решения проблемы, чем данное ей Аристотелем в том месте его «Политики», где он с никем не превзойденной глубиной выяснил природу человека: подобно тому как человек, находя свое завершение в государстве, является лучшим из всех созданий, он, будучи оторван от закона и права, превращается в самое худшее из них. Всего опаснее вооруженное бесправие. Человек от природы вооружен способностью быть разумным и добродетельным, но легко может пользоваться этими данными и в противоположном направлении; и поэтому человек без добродетели — самое дикое и нечестивое создание, худшее, чем все другие в его пороках и неводержанности. Справедливость же (противоположность этому опасному бесправию) связана с государством; ибо право есть не что иное, как порядок государственного общения, и свои определения оно создает в соответствии с понятием справедливого³⁰⁰.

Но если, так или иначе, государство обосновано для настоящего и будущего, то в этом заключается в то же время требование, чтобы оно наполнило свое существование каким-либо материально обоснованным содержанием. Но в своем конкретном виде, во всей полноте своего интересного бытия государство может быть обосновано только теми целями, которые оно осуществляет.

Таким образом, учение об обосновании государства приводит нас к его необходимому дополнению: учению о целях государства. Только цели могут оправдать и факт государственного

существования, и все средства и способы, которые государство применяет для упрочения и расширения форм своего бытия.

Но решение вопроса о цели государства представляется многотрудным, и немудрено поэтому, что он принадлежит к числу наименее разработанных, с одной стороны, и с другой — наиболее разнообразно и незаконченно решенных. Можно сказать более. Учение о цели государства, имея за собою такую же древность, как и теория обоснования государства, долгое время занимало центральное место в государственно-научной литературе; например, еще в первой половине XIX столетия было выставлено положение, что все познание государства зависит от правильного познания его целей³⁰¹. Но в Новейшее время вопрос о цели государства либо не подвергался самостоятельному исследованию, либо вовсе игнорировался, либо, наконец, самый вопрос признавался праздным и потому не подлежащим исследованию. Причина этому будет ясна ниже.

Под понятием цели государства могут быть объединяемы три совершенно различные проблемы. Можно ставить вопрос, какая цель присуща самому институту государства в исторической эволюции в отношении к конечному назначению человечества; затем — какую цель имело или имеет индивидуально определенное государство, в связи его со всей совокупностью исторических явлений и, наконец, какую цель имеет государство в данную эпоху для всех его членов и с тем вместе для всего общества. Первые два вопроса Еллинек называет вопросами об *объективной цели* государства, и притом первый — вопросом об *универсальной*, второй — о *партикулярной* объективной цели государства. В древние времена (со времени Платона) и затем до новейших времен вопрос об универсальной цели государства занимает центральное место в политической спекуляции мыслителей-теологов, пока наука, отказавшись от метафизических умозрений, стала относиться к этому вопросу отрицательно, признав его бессодержательным. Прежде всего по этой дороге осуждения пошли последователи современного органического учения о государстве, утверждающие,

что оно как организм не имеет какой-либо цели для чего-либо вне его находящегося, что государство есть самоцель, или, говоря иначе, в себе самом заключает цель своего бытия³⁰². Что касается до механически-материалистического взгляда на природу и историю, то он еще более естественно, чем органическая теория, склоняется к учению об абсолютной бесцельности государства.

Совершенно произвольна теория объективной партикулярной цели государства, согласно которой каждое государство имело и будет иметь свою особую цель, присущую исключительно ему, обуславливающую его историческое положение и значение³⁰³. Обычно, чтобы установить эти цели выделяют какую-либо одну из многообразных исторически меняющихся функций соответствующего государства и объявляют ее существенно присущей только этому государству целью. Такими специфическими целями признавали, например, для Рима внешние завоевания, Англии — политическую свободу, для Германии — осуществление царства свободы (Фихте), для России — колонизацию и приобщение к культуре народов Азии. Отголоском теории объективной партикулярной цели государства являлись те сочинения об истории цивилизации того или иного государства, в которых таковое косвенно подразумевалось, как образец и тип для всех государств мира — настоящих и будущих³⁰⁴. Ныне теория эта поблекла, и ее отзвуки разве еще слышны иногда в области международных сношений под очень замаскированным перепевом.

От обоих вопросов об объективной цели государства следует строго отличать вопрос о *субъективной* цели. Этот вопрос должен быть поставлен и разрешен по следующим соображениям.

Государство есть целевое единство. Социальное учение о государстве, исходящее из такой его конструкции, должно поэтому выяснить те цели, благодаря наличности которых объединенная в государстве масса представляется нам единой. Существование таких целей вытекает из того факта, что жизнь

государства складывается из непрерывного ряда человеческих деяний, а всякое действие необходимо определяется мотивом, а стало быть, целью. Доказывать бесцельность государства в указанном здесь смысле значило бы низвести его на степень слепой силы природы, лишить его всякого единства и непрерывности, свести государство к огромному дому для умалишенных, управляемых также умалишенными.

Уже, во всяком случае, несомненно, что в каждую определенную эпоху имеется налицо представление о цели как самого государства, так и учреждений, в него входящих. Такое воззрение на значение цели государства всего ярче обнаруживается, например, в союзно-государственных образованиях Новейшего времени. Как введение к Конституции Соединенных Штатов Америки³⁰⁵, так и Конституция Швейцарского Союза³⁰⁶ и предисловие к Конституции Германской империи³⁰⁷ прямо указывают на цели вновь основываемого государства как на мотив политического новообразования.

Таким образом, мыслить государство без цели или целей, которые оно воплощает в своей деятельности и достижениях, невозможно, но выяснить таковые теоретически представляется делом очень трудным. В науке вопрос этот разработан слабо, и потому мы ограничимся лишь перечнем наиболее интересных теорий.

Самой древней является *эвдемонистически-утилитарная теория* как наиболее отвечавшая религиозно-наивному мировоззрению древности. Греция и Рим (а также восточные монархии³⁰⁸) считали, что *благосостояние* индивида и общества составляют высшую и единственную цель всех публичных учреждений, а также и государства. Ясная в теории, эта идея на практике приводит к злоупотреблениям³⁰⁹, к самым безграничным вторжениям в высшие и важнейшие индивидуальные блага, становится классической теорией государственного абсолютизма и полицейского государства. Наиболее тщательно поэтому она и была разработана в XVIII столетии, в эпоху просвещенного абсолютизма. Широкое развитие эта

теория получила в системе Chr. Wolff'a, который целью³¹⁰ государства признает *vitae sufficientia, tranquillitas et securitas*, из которых оба последние являются условиями достижения *felicitas*. Под влиянием Вольфа начинает со времени *Justi*³¹¹ вырабатываться теория полицейского государства, признававшая правомерным всякое вторжение в сферу индивидуальных прав под предлогом общего блага³¹².

Но не только монархический, но и демократический абсолютизм искал опоры в этой теории, и якобинцы официально провозгласили общее благо высшей целью государства, что на практике обозначало лишь санкцию неограниченного господства большинства³¹³. Также и первые из коммунистов, Babeuf и его приверженцы, ссылаясь на *bonheur commun* для обоснования их проектов, «превращающих общество в каторжную тюрьму»³¹⁴. Несколько шире формулировка этой теории *Бентамом*, признающим единственной целью всех социальных учреждений *наибольшее счастье возможно большего числа людей*, но ее практический удел также печален, так как всякое движение вперед, всякое улучшение существующего, всякая жертва в интересах более отдаленного будущего могут быть отвергнуты с точки зрения блага. Кроме того, само благо почти всегда определяется партийно или в соответствии с субъективными воззрениями данного носителя власти.

Итак, в ее чистом виде теория благосостояния или пользы страдает отсутствием всякой меры, всяких внутренних границ.

К изложенной теории близко подходит *этическая*, усматривающая цель государства в осуществлении нравственного порядка. Это учение было выработано в политических теориях эллинов³¹⁵, а в своеобразном виде оно возродилось в системе Гегеля, признающего государство высшей формой объективной нравственности.

Разновидностью этой этической теории является учение о религиозном признании государства, соответствовавшее смешению в Средние века церковного и светского и возродившееся в XIX веке в форме требования, чтобы государство было хри-

стианским государством и в соответствии с этим считало своим призванием осуществление учения христианства. Эта теория, выработанная французскими клерикалами и легитимистами в лице Stahl³¹⁶, и нашла наиболее энергичного представителя.

К этой теории во всех ее видах применимы те же возражения, что и к учению эвдемонистическому. Критерием нравственности являются, по этой теории, моральные убеждения носителей власти, которые именно в области религиозной морали могут оказаться в резком противоречии с убеждениями подвластных. Кроме того, эта теория упускает из виду границы доступного государству, так как нравственность как норма внутреннего убеждения никогда не может быть осуществлена средствами внешнего воздействия. Произвол правительства и уничтожение духовной свободы личности — таковы, к сожалению, чистые практические результаты этого учения во всех его формах. Теория же христианского государства угрожает, сверх того, и миссии самой церкви, делая ее орудием для достижения других целей, кроме отвечающих ее существу³¹⁷.

Рассмотренным двум теориям должны быть противопоставлены *учения* об ограниченных целях государства; эти учения ставят себе задачей ввести государство, в силу присущей ему цели, в точно определенные границы по отношению к индивиду. Эти учения выступают в тройкой форме — целью государства признается либо *безопасность*, либо *свобода*, либо *право*.

По существу, несомненно, все три формы должны совпадать как связанные между собою и логически, и психологически, и даже юридически. В частности, теория свободы разделяется на несколько подвидов. Одни, например, признают важнейшим благом духовную свободу (Спиноза), другие (Локк) рассматривают всю частно-правовую сферу как единственное благо, защита и обеспечение которого является целью государства. Позднее приобрело преимущественное значение учение, признающее единственною целью государства установление и охранение объективного права, правопорядка. Это учение под конец было связано с высоким авторитетом *Канта*³¹⁸, под

влиянием которого находились очень многие авторы конца XVIII и начала XIX века.

Если первые две теории — *экспансивные* — не нашли никакого внутреннего критерия для ограничения функций государства, то *ограничительные* учения во всех их видах страдали тем, что слишком суживали цель государства. Первые приносят в жертву индивида государству, вторые жертвуют государством для индивида. Их чисто спекулятивный характер доказывается уже тем, что государство, ограниченное функцией защиты права, никогда не существовало и не может существовать. Каждое государство должно заботиться о своей международной безопасности, которая не всегда тождественна с защитой граждан и поэтому не может быть подведена под понятие защиты права, а планомерная защита предполагает ряд административных функций, как, например, попечение о стратегических путях сообщения, известное даже средневековому государству с его рудиментарным управлением и не могущее быть обоснованным с точки зрения правовой цели. От этих ограничительных целей должны быть отличаемы теории, которые признают *закон* условием и пределом деятельности государства. Это учение, возникшее в античном учении о государстве, можно найти даже у *Гоббса*³¹⁹, и оно занимает центральное место в практических требованиях *Руссо*, по которому общая воля отражается в общем законе, в исключительном господстве которого заключается свобода гражданина и правомерность государственной власти.

Новейшему времени с его историческим по преимуществу мышлением принадлежат относительные теории, выводящие цель государства из сознания данного народа в данную эпоху. Важнейшие из этих теорий сходятся в том, что все цели общезжития входят в сферу деятельности государства. Для установления этих целей необходимы два условия: во-первых, познание границ деятельности государства, обусловленных самим существом его, а затем исследование выраженных в современных государствах, учреждениях и функциях представлений о цели

государства. Задачей всех относительных теорий является прежде всего — ограничить область деятельности государства путем выяснения тех пределов, которые ставят государству находящиеся в его распоряжении средства и самый характер его деятельности, то есть установить, что государство вообще в состоянии предпринять с успехом.

Не входя в разбирательство, каким образом отмечаются из области деятельности государства определенные типы деятельности (например, область внутренней жизни индивида) и как выявляется путем тщательного анализа сумма достижений, подлежащих ведению государства, приведем конечное определение целей государства, как его дает Еллинек³²⁰. С точки зрения телеологического (то есть целевого) обоснования государства оно есть для нас в настоящее время *господствующий, являющийся юридической личностью союз народа, удовлетворяющий путем планомерной, централизующей, оперирующей при помощи внешних средств деятельности индивидуальные, национальные и общечеловеческие солидарные интересы в направлении прогрессивного развития общества.*

Этим мы и закончим рассмотрение вопросов *об обосновании и о цели государства*; ее, может быть, излишние размеры отвечают серьезности темы.

Ответ на первый вопрос обосновывает бытие государства, ответ на второй — его деятельность. Лишь оба вместе заключают в себе полное обоснование всего государственного жизненного процесса. И как бы разنو ни отвечали теории на тот и другой вопрос, но основной тон их ответов выявлял даже для непосвященного, что *без государства невозможно никакое общество и недостижима никакая общечеловеческая цель*, что в глубине существа государственного заложены начала, с одной стороны, обуславливающие его бытие, с другой — дающие ему цель и направление для его работы, а эти начала нравственные, значит, вечные, императивные и общечеловеческие. Анализ цели государства лишь пояснил и углубил

ту мысль, которую мы уже выражали, что *государство есть благо, а не зло* и поэтому всякий в силу этической необходимости должен отдать себя государству. И значит, все усилия, труды или лишения отдельного человека, группы ли или всего народа, направленные в сторону защиты государства и обеспечения его покоя, даже в сторону его законного роста и расширения, являются актами правильными, целесообразными и нравственными. А отсюда и война с точки зрения разумно понятых государственных достижений находит для себя в сказанной только что оценке государства свое наивысшее и наиболее яркое оправдание.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММА ПО ФИЛОСОФИИ ВОЙНЫ

I. ВВЕДЕНИЕ

Вступительное пояснение. Смысл кафедры. Положение дела в Европе.

Краткое понятие о философии как научной дисциплине. Философия науки. Примеры: философия права и философия математики.

Содержание и определение философии войны. Наименование предмета. Исторический очерк. Характеристика источников.

II. ВОЙНА КАК ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ В ПРЕДМЕТЕ ФИЛОСОФИИ ВОЙНЫ

А. Война в людских суждениях. Их сбивчивость и противоречивость. Противоречие отдельных мыслителей. Мысли Адама Смита, Канта, Конта, Бокля и Спенсера. Причины неустойчивости людского голоса. Выводы.

Б. Война в исторической перспективе. Война в первобытных обществах и ее оценка. Война у современных дикарей. Прообразы организационных форм и типов. Война в древней истории. Война в Средние века. Эволюция войны в Новейшее время.

Закон непрерывности войн (Одисс Баро). Необходимость более точного его выявления.

Указания истории: закон относительного уменьшения военных потерь, сдвиг войны от частного государственного явления ко всепроникающему, молодые и старые нации.

В. Война под углом нравственной оценки. Сложность подхода к этой оценке. Взгляд на войну В. Соловьева.

Г. Война по ее связи и влиянию на государство. Понятие государства как данное для оценки разума войны. Государства, созданные войной. Их неустойчивость (монархии Чингиса и Тамерлана). Рим. Случаи падения государств как результаты войн. Новейший фазис взаимоотношения государства и войны.

Д. Влияние войн на экономику народов. Элементы разрухи и элементы наживаний. Рим. Англия XVII и XVIII веков. Широта явления экономических потрясений. Потери от войн. Таблицы. Секрет экономического воскресения стран после войны. Примеры. Железный закон всевозрастающего военного бюджета.

Е. Предположения о будущем войны. Намечаемые пути для ее прекращения. Результаты.

Выводы: 1) Война вылилась во всепроникающее и глубоко драматическое явление в жизни народов; ее современная неизбежность.

2) С нравственной стороны война говорит о тяжком недостатке в организации человеческих обществ и глубоком бессилии человеческого разума.

3) Решения о грядущем войны — положительные или отрицательные — пока можно признать только *веровыми*.

III. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЙНОЙ

А. Государственное самопожертвование в период войны как текущий догмат жизни народов.

Б. Государственное принуждение к войне. Элементы побуждений к войне — молодость народов, периоды государственных преобразований, общественные подъемы при начале войн. Условность и кратковременность этих элементов. Широта государственного принуждения и его крайность. Смертная казнь.

В. Военная дисциплина как своеобразный бытовой и правовой распорядок. История военной дисциплины. Чингис и дис-

циплина кочующих народов. Существо военной дисциплины Древнего Рима. Элементы военной дисциплины. Ее разновидности. Дисциплина молодых народов. Революционная дисциплина.

Г. Организация военной власти. Ее особенность. Единство воли и мысли, безграничная правомочность. История начальнической власти. Примеры. Вопрос о выборности. Коллегиальные начала в вопросе о военной власти. Гофкригсрат. Комитеты.

Д. Военный дух народа. Идеал воина. Начальник. Типы великих полководцев. Психика воина: храбрость, терпение, выносливость, настроение и т. д.

IV. ВОЙНА В НАУЧНОМ ОТРАЖЕНИИ

А. Военная наука в ряду других. Система Ог. Конта.

Б. Военная наука или военное искусство. История вопроса. Законы. Нормы. Принципы. Теории. Шаблоны. Единство доктрины.

В. Метод военных исследований. Леер. Исторический метод как преимущественный.

Г. Семья военных наук. Подразделение ее на отделы.

Д. Объемы военных наук. Стратегия. Тактика. Их соотношение. Другие науки. Военная техника. Соотношение между нею и военной наукой.

V. ПРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВОЙНЫ

VI. ВОЙНА И ГОСУДАРСТВО

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

¹ La Grande Encyclopédie. Vol. 26. Parta — Poilpot (708—732).

² Фр. Паульсен. Введение в философию. Москва, 1894, 448, с. 20.

³ cognitio ex principis.

⁴ cognitio ex datis.

⁵ Критика чистого разума. 2-ое издание перевода Н. Лосского, СПб., 1915, 464. С. 452.

⁶ Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. 2-e Auflage Leipzig 1905, 522. Vorrede zur 2-en Ausgabe, S.13. В введении Гегель определяет философию как мыслящее наблюдение вещей (Denkende Betrachtung der Gegenstunde) Einleitung, S.31.

⁷ Die Welt als Wille und Vorstellung, cap. 50, Epiphilosophie.

⁸ Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, § 1.

⁹ System der Philosophie, 2-e edit. Introduce. Стат. 1, 17.

¹⁰ Вильгельм Вундт. Введение в философию. СПб., 1902, с. 14.

¹¹ Cours de philosophie positive. Avertissement de l'auteur.

¹² Colonel R. Henry: L'esprit le la guerre. Paris, 1894, 4.

¹³ Энциклопедический словарь Брокг. Том XXXV. СПб., 1902, 822.

¹⁴ Для ознакомления со сжатым изложением содержания философии, кроме упомянутых Паульсена и Вундта, на русском языке можно указать: *Кюльпе О.* Введение в философию. СПб., 1901, 343; *Линицкий П. И.* Основные вопросы философии. Киев, 1901, 192. Полезно ознакомиться с изложениями в Энциклопедических словарях: Larousse P. Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, Т. 12 (Philosophie, с. 828—845); La Grande Encyclopédie, Т. 26 (Philosophie, с. 708—731);

Энциклопедический словарь Брокгауза, Т. XXXVa, СПб., 1902 (Философия, с. 822–843); Meyers Grosses Konversations Lexikon, 6-e Auflage. B. 15 (Philosophie, с. 795–801).

¹⁵ Вундт, Введение... с. 227. Освальд Кюльпе профессор университета в Вюрцбурге. Введение в философию. Перевод под редакцией П. П. Струве. СПб., 1901, 343.

¹⁶ У других философов, например Кюльпе, *спиритуализм*.

¹⁷ «Единство духа, идеи», как мы сказали выше.

¹⁸ Паульсен, 349.

¹⁹ Или *феноменализм*.

²⁰ Д. Г. Льюис свой труд «История философии» начинает словами: «Во всей Европе философия потеряла кредит». См. с. 1 введения и далее Д. Г. Льюис, История философии, СПб., 1865, с. 816.

²¹ Энциклопедический словарь Брокгауза. СПб., 1902, с. 822–842.

²² Искусство построения систем (Кант).

²³ Для иллюстрации укажу, что Кант признает *синтетическое* происхождение аксиомы (Критика чистого разума) и Милль старался доказать «не столько несомненность, сколько возможность *индуктивного* происхождения аксиомы». (Дж. Ст. Милль. Система логики. Москва, 1914, 880, с. 207–223). Спенсер считает аксиомы «просто самыми ранними нашими индукциями из опыта».

²⁴ Н. Коркунов. Лекции по общей теории права, часть 1-ая. СПб., 1887, 313. Л. Г. Петражицкий. Очерки философии права. СПб., 1900, 138.

²⁵ Например, см. исследования об эволюции в истории смертной казни: Н. С. Таганцев. Лекции по русскому уголовному праву, вып. 4. СПб., 1892 (Его сравнительно-статистическая таблица из книги Гетцеля); Кистяковский. Исследование о смертной казни, 1896 (2-е изд.)... Литература необъятна: Guizot, Mittermaier, Berner. Наиболее крупные авторы.

²⁶ Макса Йенса «Военное дело и народная жизнь» или старые труды Прудона, Лассона, Мабилля, «Wiskemanna» Villiaumte, Salieres и др.

²⁷ G. Maspero. Histoire Ancienne des peuples de l'Orient. Paris, 1878, с. 280.

²⁸ Letourneau, с. 364. Гердер В. II. 49. Военно-исторический вест. 1909 г. № 1 и 2. С. 15.

- ²⁹ Letourneau. Много листов. Бокль. I, 179. Половцев и Снесарев. Кафиры Гиндукуша, 63.
- ³⁰ Historische und politische Aufsätze. 4-е издание. Т. 3. С. 535.
- ³¹ Maks Jähus. Über Krieg, Frieden und Kultur. Berlin, 1893.
- ³² Wellhausen. Israelitische und Judische geschichte. 1901, с. 26.
- ³³ General von Boguslavsky: der Krieg in seiner fahren Bedeutung.
- ³⁴ Леер. Опыт критико-исторического исследования законов искусства ведения войны.
- ³⁵ Jules Claretie. La guerre nationale.
- ³⁶ Ch. Richet. Démographie dans cent ans (Revue Scientifique).
- ³⁷ Жак Жорес. Новая армия. Перев. К. М. Адариди. Петроград, 1919, с. 2.
- ³⁸ Курсив наш.
- ³⁹ Proudhon. La guerre et la paix. Bruxelles, 1861.
- ⁴⁰ J. de Maistre. Soirées de Saint-Petersbourg.
- ⁴¹ Memorial de Sainte Helene.
- ⁴² М. С. Блиох. Будущая война. Т. V., 79–94.
- ⁴³ Адам Смит: Исследование о богатстве народов. Изд. 1806 г. СПб., т. IV. С. 15–17.
- ⁴⁴ Philosophischer Entwurf zum ewigen Frieden.
- ⁴⁵ Руссо. Бентам и др.
- ⁴⁶ В его «Cours de Philosophie Positive» имеют некоторый интерес следующие мысли, имеющие отношение к войне. Т. IV, 487–488, 713–723, т. VI. 29, 68, 97, 107, 138, 142, 426–436.
- ⁴⁷ Conte. Т. IV. 713–723.
- ⁴⁸ Conte. Т. V. 178–191.
- ⁴⁹ Conte. Т. IV. 720.
- ⁵⁰ Как на не совсем удачный образчик в нашей военной литературе укажу на П. А. Гейсман. Война, ее значение в жизни народа и государства. СПб., 1876 г.
- ⁵¹ Henry Thomas Buskle. History of civilization in England, in 5 vol. Leipzig, 1865. Vol. I. 175–202. Русская «История цивилизации в Англии». Т. I. СПб., 1867 г. Т. VI. СПб., 1875 г.
- ⁵² То есть интеллигентными классами.
- ⁵³ Wurm. Diplomatische geschichte. С. 68.

⁵⁴ Он мог бы о нем знать хотя бы по Вольтеру, полные труды которого (70 томов) приведены у него среди источников.

⁵⁵ См., например, М. В. Аничков: *Война и труд*.

⁵⁶ Нужно удивляться этому бесцеремонному заявлению Бокля между 1815 (сто дней) и Крымской войной мир пережил 40 войн, не считая 20 внутренних (революций, восстаний и т. п.). Из этих 40 войн 15 были крупными. Одна Англия за указанный промежуток вела 12 по преимуществу колониальных войн, среди которых некоторые отличались значительными размерами и большой жестокостью.

⁵⁷ См. 2 изд. 1768, с. 209, 224 и след 288 (по Штейнмецу).

⁵⁸ В книге *Political Institutions*. 1885, с. 568—642 (по Штейнмецу).

⁵⁹ *Spencer Political Institutions*. P. 615 (по Штейнмецу).

⁶⁰ *Spencer. Principles of Sociology, Political Institutions*, 1885. p. 628 (по Штейнмецу).

⁶¹ *Философия войны*. Гаага, 1915, с. 304.

⁶² *Facts and comments*. 1902. P. 132, 133, 122.

⁶³ То же приблизительно сказал и Кант: «Дух торговли не может существовать вместе с войной и раньше или позже овладеет всяким народом».

⁶⁴ О том, как часто создавались войны в Индии благодаря жадности Ост-Индийской кампании и ее клеветов, а позднее благодаря торгово-промышленным побуждениям индийского правительства, см. *Dutt Romesh C., England and India*, с. 66—67, 79 и др.; *Thornton Ed. A. Gazetteer of the countries adjacent to India*, London, 1844, v. 2, 422 и 402, где описываются страны, завоеванные британцами под явно торговым углом зрения. *Hanna Backwards or Forward*, 1896, особенно, 62, 63; Жаколио. *Восток и Запад*. СПб., 1876, с. 163; в моем труде «Индия как главный фактор в Средне-Азиатском вопросе», А. Е. Снесарев. Но чтобы полнее обрисовать себе идею купеческого влияния войн в жизни, стоит посмотреть, как начиналась 1-ая англо-афганская война 1838—42 годов, для этого см. Григорьев В. В. *Кабулистан и Кафиристан*. СПб., 1867. 876—877 и далее: *Raye S. W. History of the war in Afghanistan*, London 1890, 170—71, 176—77. *Burnes A. Cabool*. London, 1842. С. 398. Массон имел наивность сомневаться в коммерческой цели посылки Беринса. *Masson. Narratives vol. III*, 430—34.

⁶⁵ Мы говорим «чувствуется» потому, что далеко не все животные и даже не все высшие животные ведут борьбу между собой и с другими животными. Множество видов животных, как зайцы, кролики и газели, ведут мирную жизнь.

⁶⁶ *Darwin*. Origin of Species; *Brehm*. Les Mammiferes des betes; L. Buchner, Vie psychique des betes; *P. Huber*, Fourmis rudigenes. *Letourneau*. La guerre dans les diveres races humaines, Paris, 1895. P. 7–24. *Леббок*. Муравьи, пчелы и осы.

⁶⁷ Укажу на старые труды, но и теперь сильные своим содержанием: *Lubbock*. Prehistoric Times и его же The Origin of Civilisation; *Tylor*. Early history of mankind.

⁶⁸ H. Spencer. The Principles of Sociology, 1893, vol. I, 863. Главы V, VI, VII и VIII (с. 40–112). Как метод главы интересны, но изложены не ярко и бедны материалом... особенно ввиду крупных выводов, которые все же отказался сделать Спенсер.

⁶⁹ Как настоящий непротивленец.

⁷⁰ *Huxley*. Положение человека в природе, с. 117–127. СПб., 1864. *Wiedersheim*. Der Bau des Menschen als Zeugniß für seine Vergangenheit. 1887. Заключительные страницы 111–114. *Dubois*. Pithecanthropus erectus, 1894. *Schwalbe*. Die Vorgeschichte des Menschen, 1904. 6, 16, 20, 30. Блестяще подтвердил родство человека и обезьяны Fridenthal посредством опытов с сыворотками. См. Schwalbe, с. 22.

⁷¹ Conte. Philosophie positive. Vol. V, p. 187.

⁷² «Нет надобности, — говорит В. Соловьев, — представлять в преувеличенно ужасном виде институт рабства, заменивший, как известно, простое избиение пленных». Т. VII, с. 282–283.

⁷³ *Летурно*, с. 61, приводит случаи сохранения жизни побежденному по мотивам его последующей продажи или обмена на других рабов. У него же есть пример сохранения невольников в целях их последовательного откармливания и затем съедения в более жирном состоянии (135, дикари Бразилии).

⁷⁴ *Nieboer*. Slavery us an Industrial system. Ethnological researches. The Hague. 1900, 474. Интересный и обстоятельный труд, всесторонне рассматривает институт рабства.

⁷⁵ Nieboer. Slavery, с. 214, 223.

⁷⁶ Разбросано много данных в географических путешествиях, у греческих и римских историков и географов, у Масперо и т. д.

⁷⁷ Вообще многочисленные труды Летурно страдают двумя крупными недостатками: 1) несуразным подбором источников и недостаточной строгостью отношения, 2) ненаучностью и т. д.

⁷⁸ Letourneau, La guerre, p. 193. Автор ссылается на заявление Rossa в его Hist. univ voy, vol. XL, 434. Есть еще гуахаробы (на Верхнем Ориноко), которые не имеют ни одежды, ни жилища, не располагают никакими орудиями и бродят кучками по 10—20 человек; они робко бегут от всякого врага. Но, быть может, это жалкие остатки прежних племен, находящихся в стадии вымирания. Д. Коропчевский. Психология войны. Статья в журнале «Труд». 1890 г. № 1 и № 2.

⁷⁹ Diodore. Fragment VIII.

⁸⁰ Bancroft, Native States. Vol. II. 412, 420—423. По Летурно (166).

⁸¹ Taplin, Folklore, p. 18 и Woods, Native tribes of South Australia, 245. По Литурно 30.

⁸² Среди каррских народов есть племена, отличающиеся храбростью и благородством: они никогда не начинают войны без предварительного объявления, дерутся в открытом поле, на ночь заключают перемирие, которого никогда не нарушают... не употребляют отравленных стрел, не вынуждают неприятелей к сдаче голодом, щадят женщин и детей, и при заключении мира обмениваются пленными, взятыми без оружия в руках. В. В. Коропчевский, Психология войны, с. 61.

⁸³ Илиада II.

⁸⁴ Augustin Thierry. Conquête de L'Angleterre par les Normands. Vol. I, p. 100. Имеется русский перевод от 1859 г. под заглавием «История завоевания Англии норманнами». В 3 томах, 403—425, 363. Цитируемое место т. I, с. 79.

⁸⁵ Ирокезы и немногие другие народы, например, умели организовать во время войны сторожевую службу. Негры, например, никаких аванпостов и сторожевых не знают, но все выставляли стражу днем и ночью. Коропчевский, Психология войны, с. 60 и 164.

⁸⁶ Летурно, 156.

⁸⁷ Меланезийцы начинали бой с метания копий на известном расстоянии, а уже потом бойцы берутся за палицы и вступают в рукопашную. Коропчевский, с. 54.

⁸⁸ Это хорошо подмечено, хотя изложено довольно бессвязно, в труде: Ardant du Picq. *Études sur le combat*. На русском языке имеются выдержки.

⁸⁹ Уже у Гиббона в его истории упадка и разрушения Римской империи мы находим сдержанную оценку Чингиса и несколько более критическую Тимура, но бичами или злодеями историк их, во всяком случае, не делает. См. том VII, с. 125–134, 170–206. М. И. Иванов же в своем труде «О военном искусстве и завоеваниях при Чингисхане и Тимуре» дает уже очень обыкновенную оценку обоих гениальных полководцев Азии. С. 18–20, 25–47, 127–139, 299. А. В. Бартольд, новейший и крупный историк по Средней Азии, так говорит по существенной стороне характера Чингиса: «Как все завоеватели, Чингисхан мог спокойно избыть людей тысячами, если считал это нужным для упрочения своей власти; но ни в одном из его проступков, о которых мы имеем сколько-нибудь достоверные сведения, нет признака бесполезной жестокости или самодурства». В. Бартольд. *Туркестан в эпоху монгольского нашествия*. СПб., 1900. Часть II. С. 297.

⁹⁰ К таким, например, надуманным глупостям надо отнести легенду о том, что Тимур засадил в клетку Баязета. См. по этому поводу у Stanley Lane-Poole «*Mediaeval India under mahomedan Rule*», Лондон, 1903. Об этом же говорится в труде министра Акбара Великого, над этой легендой смеялся еще Вольтер. Определенное возражение и *азиатскую* передачу эпизода смотри у Бернье. *Travels in the Mogul Empire A. D 1656–1668*, Westminster 1841, 495, с. 167–168.

⁹¹ Цитируемый Летурно Duboux et Valmont (Fartarie). На с. 908 просто упоминается, что немного спустя после взятия Герата прибыл отряд татар, который добил то, что оставалось живым. Автор не останавливает своего внимания, почему совершилось это добивание, сделанное по личному приказу Чингиса, и каково было его разумение. Смысл был достаточный. Вообще труд Duboux и Valmont (как и статья о нем Raymond'a *Afghanistan*) очень устарел.

⁹² Joseph Flavins. *Guerre des Juifs*, liv. VI. ch. XLV по Летурно.

⁹³ От греческого слова «фаллос», означающего мужской детородный член или его изображение; фаллотомирование — отрезание.

⁹⁴ Chabas. Études sur l'antiquité historique по Летурно.

⁹⁵ Champollion-Figeac. Egypte ancienne. 157–158.

⁹⁶ Глава XXI. 8–17.

⁹⁷ I Книга царств, глава XVIII, с. 25–27. Интересны догадки Летурно (с. 342), что обрезание являлось символом древнего фаллотомирования, его пережиток.

⁹⁸ Houzau Facultes mentales des animaux. Т. II. P. 22 (По Летурно).

⁹⁹ Летом 206 г. до Р.Х. из 90 тыс. римлян на поле осталось 70 тыс. человек, у Ганнибала было 40 тыс. пех. и 10 тыс. всадников.

¹⁰⁰ Campi Catalaunicis в конце июня или в начале июля 451 г., где Атилла понес поражение от римских войск Аэция и потерял 160 тыс. человек (по др. источникам 300 тыс.).

¹⁰¹ Укажем хотя бы на битву при Тимере (480 г. до Р.Х.) на острове Сицилия, где тираны Ферон и Илон наносят поражение карфагенянам под начальством Гамилькара. По свидетельству Геродота из 300 тыс. карфагенского войска в Карфаген не воротилось ни одного воина, который мог бы уведомить о постигшем войско бедствии!

¹⁰² Вот данные: *Цорндорф* — 25 авг. 1758 г. русские из 42 тыс. потеряли 50%, пруссаки из 36 тыс. 37,5%, самое кровавое из сражений последних 2-х столетий; *Прейсиш-Эйлау* — французы (70 тыс.) потеряли 21,4%, русские (65 тыс.) — 27,7%; *Бородино* — французы (130 тыс.) — 24,6%, русские (121 тыс.) — 35,1%; *первая Плевна* — русские (10 тыс.) — 28,5%, турки (14 тыс.) — 17,9%. Otto Berndt. Die Zahl im Kriege, Wien 1897, 5, 47, 50, 53, 65, 71.

¹⁰³ См. Плутарх. Сравнительные жизнеописания славных мужей. Ликург, с. 228–246. СПб., 1814.

¹⁰⁴ Charlevoix journal d'une voyage dans l'Amérique septentrionale. Т. VI, lettre XXI и XXIII.

¹⁰⁵ Lahontan. Voyage dans L'Amérique septentrionale. Vol. II. 193 по Летурно.

¹⁰⁶ Thevet. Les singularités de la France antartique. P. 205 по Летурно.

¹⁰⁷ Ликург, С. 248. Сравнительные жизнеописания славных мужей. Пер. С. Десгупия.

¹⁰⁸ Горовцев. Война и право. СПб., 1910. С. 43.

¹⁰⁹ Знаменитый греческий историк (465—399) написавший «Историю Пелопоннесской войны», признаваемый chef-d'oeuvre от древности.

¹¹⁰ В. Заболотный говорит по этому поводу: «Она (война) суровый, беспристрастный экзамен психофизическому содержанию народов; она требует проявления силы, мощи, энергии, и раз эти качества налицо — народ их проявляющий играет в сонме народов значение первостепенное; если же нет, если народ ослабел, одряхлел, изнежил, словом, если он истощился в силе, война беспощадно осуждает его на гибель, на вырождение, исчезновение, в этом случае она поступает подобно нелицеприятному неподкупному судье...» — Журнал «Война и мир», № 10 и № 11, 1906 г. Статья «Роль войны в истории развития культуры».

¹¹¹ Первый вавилонский царь Хаммурапи, живший за XXIII века до Р.Х., судя по одной надписи, так говорит о своих походах: «Когда я завоевал южную Вавилонию, дабы вновь обеспечить этой стране правильное орошение, — соорудил я канал. Оба берега канала были обращены в нивы и засеяны. Я регулировал водную систему южной Вавилонии на долгие времена и собрал вновь постоянных обитателей, обеспечив их источниками продовольствия, внутренним порядком и защитой против врагов».

¹¹² О культурном влиянии походов Александра Македонского и вообще о нем имеется обширная и очень старая литература. Упомянем Дройзена, Durny, Niese, Surien de la Gravier, Lamartine, Schwartz, Hertzberg, Lauth, Zolling, Moberley, Koepp. Более свежий труд J. P. Mahaffy. *The progress of Hellenism in Alexander's Empire*. Chicago, 1905, 149. Правда, автор лишь вскользь говорит об Александре Македонском, но оговаривается (с. 37 и далее) очень интересным для военных парадоксом, что великий македонец македонской фалангой не выиграл ни одной битвы, а только своей кавалерией.

¹¹³ Например, известные строфы: «Ты же, о римлянин, правь народами властью державной». Или слова Юпитера Венере о потомках Рима, что с устранением войн времена укротятся крутые и что железом затворов запрут грозные двери войны (Энеида I, 278—294).

¹¹⁴ Апостол Павел мог проповедовать на греческом языке перед евреями, египтянами и римлянами. С греческим языком можно было пропутешествовать от Гадеса до Цейлона. J. P. Mahaffy. *History of Hellenism*, p. 41.

¹¹⁵ Mommsen. *Historische Schriften*... I. Очень интересная статья в этом сборнике: *Das Militarsysteme Caesars* (156—158). Ко смерти Цезаря

легионы всего числом около 40, штатный состав 5–6 т. действительный не более 4 т., по границе располагались так: Юж. Испания — 2, Сев. Испания — 1, Гальско-Германские области — 3, Цизал. Галлия — 1, Иллирия — 3, Новая Африка — 3, Египет и Александрия — 4, на востоке по Ефрату — 3. Август сохранил ту же идею.

¹¹⁶ Г. Ферреро, *Милитаризм*. Москва, 1900, 240.

¹¹⁷ Г. Ферреро, с. 71.

¹¹⁸ Сошлюсь хотя бы на Руссо, который, упомянув, что народам, кроме обычных правил жизни, принадлежит всегда какой-либо особенный принцип, им присущий и ими выделяемый, указывает у евреев и арабов на религию, у Карфагена и Тира — торговлю, у Родоса — флот, у Спарты — войну, а у Рима — *добродетель*. Rousseau. *Du contrat social*. Londres, 1782, с. 92.

¹¹⁹ В деле восторга перед гением Цезаря Ферреро сближается с Моммзеном, тем страннее их видеть разошедшимися в вопросе об отношении их к Риму.

¹²⁰ А. С. Лацинский. *Хронология Всемирной военной истории*. СПб., 1908, 352.

¹²¹ *Собрание сочинений*. Т. VII. С. 406. Соловьев берет только часть этих войн, но его мысль относится и ко всему циклу войн, еще более тем выявляясь.

¹²² Прекрасные страницы об этом, никем не превзойденные у Дрэпера в его: *История интеллектуального развития Европы*. См. об этом с. 91–123, 173–214, 237–324, во франц. переводе. T. W. Draper. *Histoire du développement intellectuel de l'Europe*; цитирую по переводу, как имеющемуся у меня под руками.

¹²³ Дрэпер говорит: «Он оказал на западное христианство наибольшее влияние, чем кто-либо из прочих отцов церкви». Далее Дрэпер признает значительное политическое влияние Августина. С. 50 и 61. Цитирую по французскому переводу, имеющемуся под руками: *Histoire du développement intellectuel de l'Europe*. Т. II р. T. W. Draper.

¹²⁴ См. соответственные мысли у Гиббона, Дрэпера, Зибеля и др.

¹²⁵ J. Novicow. *La guerre et ses prétendus bienfaits*. Paris, 1894. С. 183.

¹²⁶ Novicow. *La guerre...* 70–71.

¹²⁷ Novicow. *La guerre...* 130.

¹²⁸ Один из генералов императора в течение одного похода разгромил 18 городов и 300 деревень. Виноградов. Курс новой истории, с. 55.

¹²⁹ Grun. Kulturgeschichte des siebzehnten Jahrhunderts, Leipzig, 1880, 1-er Band, 278—288. Здесь читатель найдет сильные картины опустошения стран Германии (во многих городах Пфальца осталась 1/10 населения, на улицах не слышно ни одного шага), страшного голода (крали висельников и ели), уменьшения населения (из 12 млн. до войны осталось 4 млн. человек) и т. д.

¹³⁰ Этой же мысли держится, по-видимому, и Лебон, см. его *Lois psychologiques de l'évolution des peuples*. В русском переводе — «Психология народов».

¹³¹ См. Prescott. *Conquête mexicaine*, и его *Conquête du Perou*. Есть и русский перевод. *Lettres de F. Cortes* (издание Vallee, Paris, 1879). Garcilusso de la Vega *Histoire des Incas*. Интересно изложена культура мексиканцев и перуанцев у Дрэпера, том III, гл. XIX.

¹³² H. Taine. *Les origines de la France contemporaine. La regime moderne*. Tome I, p. 3—116.

¹³³ По расчету, правда, пацифистов.

¹³⁴ С итальянского похода 1796 г.

¹³⁵ Достаточно вспомнить донесение короля Иеронима Вестфальского брату о состоянии Германии — о полном разорении всех классов общества, невыносимой тяжести податей военных контрибуций, о содержании войск, военном poste и т. д. «Повсюду, — говорит далее Иероним, — нищета угнетает семьи: дворянин, крестьянин и горожанин, задавлены долгами и нуждами. Надо бояться отчаяния народов, которым нечего терять, потому что у них все отняли».

¹³⁶ Зафиксированные гипнозом Великой французской революции и других французских же, едва ли многие отдадут себе отчет, как часты вообще революционные войны. Лацинский, например, в своей хронологии начиная с 1789 г. насчитывает таковых 27. Хронология Всемирной военной истории, с. 223—229.

¹³⁷ Что война гражданская жестче внешней, эту идею можно встретить у многих историков и мыслителей, начиная с римских и кончая многими из современных. Например, в битве при Фарсале (48 г. до Р.Х. гражданская война между Помпеем и Цезарем) 15 000 помпейцев легло на поле битвы

убитыми и ранеными; Цезарь потерял только 200 чел. Разъяренность легионеров Цезаря была столь велика, что убеждения ни центурионов, ни самого Цезаря не могли удержать людей от избияния сдающихся на милость. Цезарю пришлось, уступая жестокому настроению, многих казнить на другой день из 20 000 положивших оружие, особенно сенаторов и всадников. Mommsen. Römische Geschichte, 3-er Band, 409—414.

¹³⁸ Чтобы рассеять потемки войн Великой французской революции и действий революционных войск, французским Генеральным штабом предпринимались даже специальные архивные исследования.

¹³⁹ Тэн, Лебон и др.

¹⁴⁰ Желających познакомиться с нравственной оценкой национального вопроса отсылаем к В. Соловьеву. Собрание сочинений. Том. VII. С. 289—310, 406—407.

¹⁴¹ Эта заметка относится к одной мысли автора об исключительном переломе в жизни человечества, который произошел между 1859 и 1870 гг.

¹⁴² М. В. Аничков. Война и труд, СПб 1900, в 3 частях [217, 239 и 233], с. 142—143 первой части.

¹⁴³ На этом, например, упорно стоит Герман Штегеман, историк минувшей мировой войны. Hermann Stegemann. Geschichte des Krieges, Berlin 1917, в двух томах. См. том I, основной лейтмотив 1—70 с. На русском имеется перевод К. Азариди и В. Роде, но пока лишь первого тома и еще не напечатанный.

¹⁴⁴ Блюх. Будущая война, V том, с. 32—33, 36.

¹⁴⁵ Об этом смотри: А. Н. Куропаткин. Итоги войны.

¹⁴⁶ А. Н. Куропаткин говорит по этому поводу: «Все стороны жизни затрагиваются войной несравненно глубже, чем ранее». Итоги войны. Предисловие к IV тому. с. 3. Интересно касается этого вопроса Мольтке во введении к напечатанной им истории Немецко-французской войны 1870—1871 г. «Es sind vergangene Zeiten, als für dynastische Zwecke kleine Heere von Berufs Soldaten ins Feld zogen, um eine Stadt, einen Landstrich zu erobern, dann in Winterquartiere rüken oder Frieden schlossen. Die Kriege der Gegenwart ruten die ganzen Volker zu den Waffen. Kaum eine Familie welche nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die volle Finanzkraft des Staates wird in Anspruch genommen». Мольтке писал это в 1887 г. (Ges-

mmelte Schriften und Denkwürdigkeiten des Generalfeldmarschalls Grafen Helmuth von Moltke, 3-er Band, Berlin, 1891).

¹⁴⁷ Вот как говорит Г. Штегеман, заканчивая свою книгу «Пролог войны» (т. I): «Война разорвала все связи, существовавшие между народами, и спутала все человеческие отношения. Старая Европа была сожжена на костре, сложенном из лесов, городов и деревень Бельгии, Франции, Восточной Пруссии, Сербии, Польши, Галиции, Румынии и Северной Италии. Неисчислимое число людей пало жертвою, хлебные поля Востока и культурные уголки Запада оказались растоптанными апокалипсическими всадниками». Stegemann. Geschichte des Krieges, с. 70.

¹⁴⁸ То есть с философской, с которой мы и рассматриваем войну и военные явления.

¹⁴⁹ Насколько это сравнение до трогательности веско и глубоко, видно из нашего исторического очерка, в котором был выявлен весьма вразумительно созидательный и оплодотворяющий принцип войны.

¹⁵⁰ См. выше о войнах между Азией и Европой.

¹⁵¹ Odysse Barot. Philosophie de l'histoire. P. 20. Делаем ссылку по Леепу. Энциклопедия, т. II, с. 269.

¹⁵² Амфиктионов трактат.

¹⁵³ Это впечатление, особенно по отношению к периоду 1815—1855 гг., переживали Конт, Бокль, у нас В. Соловьев и др.

¹⁵⁴ Revue des Deux Mondes, du 1-er avril 1894, 642.

¹⁵⁵ Его же цитируемая Хронология, с. XIX.

¹⁵⁶ Его труд «Die Zahl im Kriege», с. 18.

¹⁵⁷ Точнее, с 1800 по 1896 г.

¹⁵⁸ Его «Философия войны», с. 76.

¹⁵⁹ Moerenhout. Voyages aux îles du grand Ocean, 1887.

¹⁶⁰ De Rochas. La nouvelle Calédonie, 1862, p. 204—206. Letourneau, p. 48—49.

¹⁶¹ Vallentin. Raiser Wilhelmsland, Neue Deutsche Rundschau, 1897, h. 634.

¹⁶² См. Масперо Летурно, с. 341. Hursverfassungen und Volkerleben, 1855, h. 209. В русском переводе Макс Йенс. Военное дело и народная жизнь.

¹⁶³ Иисус Навин VIII, 22—25; X, 28—43; XI, 14.

¹⁶⁴ Первая книга Самуила XV, 3—8.

¹⁶⁵ Летурно, с. 339.

¹⁶⁶ Ixtlilxochitl. Histoire des Chichimeques, 1840, Vol. 2, h. 19, 72 (Штейнмецу).

¹⁶⁷ Bruhl. Die Kulturvolker Alt-Amerikas, 1875–87, s. 385, 386, 390.

¹⁶⁸ Spielmann. Die Taiping Revolution in China, 1900, S. 22, 23, 26, 66, 101, 110, 112, 142 (по Штейнмецу).

¹⁶⁹ Для легкого ознакомления можно указать на Stanley Lane Poole. Mediaeval India under Mahomedan Rule. London, 1903.

¹⁷⁰ Beloch. Griechische Geschichte, 1897, B. II, S. 337.

¹⁷¹ Beloch. B. I, S. 339.

¹⁷² Mommsen. Romische Geschichte, 1894, B. I, S. 558, 663.

¹⁷³ Sallustius. Jugurta, c. 54.

¹⁷⁴ Caesar. Commentarii de bello Gallico, lib. II — 33, lib. III — 16, lib. 7–28.

¹⁷⁵ S. A. Froude. Caesar, 1890, p. 449.

¹⁷⁶ H. Delbruck. Geschichte der Kriegskunst.

¹⁷⁷ H. Delbruck, Geschichte der Kriegskunst. Bd. III, 1907, S. 153.

¹⁷⁸ V. Sybel. Geschichte des ersten Kreuzzugs. S. 213. Lavisse в своей Histoire de France говорит о методическом избииении пленников, женщин, детей, стариков... три дня спустя.

¹⁷⁹ Согласно Лависсу, полки велись епископами: в одной церкви было убито 7 тысяч женщин и детей. Безье был совершенно сожжен, каждый дальнейший шаг набожной армии сопровождался бойней.

¹⁸⁰ Burkhardt. Kultur der Renaissance. Bd. I, S. 96 (Штейнмец).

¹⁸¹ Grun. Kultur geschichte des siebzehnten Jahrhunderts, 1880, S. 283

¹⁸² Berndt. Die Zahl im Kriege, 1897, S. 138.

¹⁸³ Lagneau. Les Consequence des Guerres помещено в Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, 1892, p.488. Levasseur. La population Française, Vol. II, 1891, c. 140. Берндт сомневается в этих цифрах, но своих не приводит. Его труд, с. 140.

¹⁸⁴ Dr. G. Bodart. Militar historisches Kriegs Lexikon 1618–1905. Wien und Leipzig, 1908. с. 383–490. Нами взяты были в расчет 275 сражений и осад, больших и малых и не только наполеоновских войн, но и всех одновременных; получилось 745 620 убитых и раненых.

¹⁸⁵ Levasseur, c.140.

¹⁸⁶ Berndt, Die Zahl. C. 139.

¹⁸⁷ Levasseur, с.140.

¹⁸⁸ Engel. Beiträge zur Statistik des Krieges, 1866 & Zeitscher de Rohpreuss. Statist Bureaus, 1866, с. 230. Энгель — бывший директор прусского статистического бюро.

¹⁸⁹ E. Engel, там же, но Zeitscher... 1867, с. 159.

¹⁹⁰ Berndt. Die Zahl..., с. 64.

¹⁹¹ E. Engel. Цитирую Beiträge z. Statistik & Zeischer, 1872. с. 27 и 293. Lavasseur, La pop. fran. Дает несколько большие цифры. С. 141.

¹⁹² И. С. Блиох. Будущая война. Т. V. С. 384.

¹⁹³ Lagneau. Les Consequences... с. 487. Levasseur дает несколько меньшее число.

¹⁹⁴ Таковой ее считает Berndt. Die Zahl, с. 141. Bodart Mil-hist. Kr. Lex. определяет отношение числа убитых к числу раненых, сравнивая несколько сотен сражений, равным 10: 35, или на 1 убитого 3,5 раненых.

¹⁹⁵ Главным образом по Bodart'у Militar historisches Kriegs Lexikon, 1908, с. 572—579. Из источников, на которые Bodart базировался, заслуживают упоминания Rustow. Der orientalische Krieg im den Jahren 1877 und 1878; Springer. Der russisch-turkische Krieg 1877—78 in Europa и Sternegg Schlachten. Atlas. Вот каковы данные других источников: по «Хронологическому указателю...» в войну 1876—1877 гг. русские потери убитыми и ранеными 1610 офицеров и 63 654 солдат, а турки — 92 942; по А. Н. Петрову (Русская Военная Сила) — русские потеряли 39 084 и турки — 147 207; по Лееру (Обзор войн) — русские потери 26 413, турецкие — 56.765; неисправленный Bodart дает: русские потери 75 700 и турецкие — 131 338. Очевидно, слабее учет проведен Леером. Приняты были во внимание, в нашем выводе, и потери в морских боях. См. Хронологический указатель военных действий русской армии и флота. Т. IV. 1855—1894 г. СПб., 1911, с. 198. «Русско-Турецкая война 1877—78 г.», с. 107—151. Русская военная сила. Испр. и дополн. А. Н. Петровым. Т. II. СПб., 1872, 569. «Русско-турецкая война», с. 453—515. Леер, Обзор войн России «Русско-Турецкая война», с. 382. Bodart, см выше. Berndt число русских потерь преувеличивает до 172 000.

¹⁹⁶ De Lapouge. Les Selections Sociales, 1896, с. 221—223.

¹⁹⁷ Tolstoi. Pensees, 1898, с. 87.

¹⁹⁸ По отнятии цифр потерь в Крымскую и одну из Итальянских войн.

¹⁹⁹ W.J. Ashley. Das Aufsteigen der arbeitenden Klassen Deutschlands im letzten Vierteljahrhundert, 1906, с. 121.

²⁰⁰ V. Mayer. Statistik und Gesellschaftslehre, Bd. II, 1897, с. 224, 226. Как раз в годы мира.

²⁰¹ Flavins Joseph. Histoire des Juifs. Франц. перевод 1719 г. Paris. Т. V. С. 250–255.

²⁰² Flavins Joseph. Histoire..., т. V, с. 266. В сумму 2550000 не входили прокаженные, больные гонореей, женщины в период менструаций и иностранцы.

²⁰³ Berndt. Die Zahl im Kriege..., с. 78–88.

²⁰⁴ Он в число убитых и раненых включает пленных и пропавших без вести.

²⁰⁵ См. кн. Макса Йенса «Военное дело и народная жизнь», 1900, 434.

²⁰⁶ Об этом еще говорил Макиавелли в своем основном труде *Il Principe* (русский перевод «Государь», с. 25). Определенно высказывался Спиноза в *Tractatus politicus* от 1670 г., в этом духе высказывался и Лейбниц, но лучше и легче всех Мориц Саксонский в мемуаре «*De la manière de lever des Troupes*». Словом, идея чувствовалась давно.

²⁰⁷ Кратко, но живо и психологически очень метко рисует арабов до появления Магомета профессор П. И. Ковалевский в своем психиатрическом эскизе «Магомет». Смотри его «Психиатрические эскизы из истории», томик II. СПб 1898, 247, С. 123–144.

²⁰⁸ По словам того же Ковальского, Магомет «несомненно был и гений, и эпилептик» (впрочем, таковыми были Цезарь, Петрарка, Жанна д'Арк, Петр Великий, Наполеон, Достоевский и много других великих и крупных людей). Или о нем же: Магомет «был человек необыкновенный, стоящий далеко выше толпы и властно повелевающий ею, хотя это был и больной человек». С. 121 и 244.

²⁰⁹ Интересный отголосок этих начал Ксенофонт (в «Киропедии») влагает в уста умирающему Киру, который поучает своих сыновей прежде всего уважать богов и затем заботиться о благе всего человеческого рода. *The Nineteenth Century* № 38, April 1880, 732.

²¹⁰ В этом случае согласиться нельзя с Лебоном, который в этих символах или верованиях видит что-то слепое, что-то сильное лишь степенью

связанной с ним веры. См., напр., его: *Lois psychologiques de l'évolution des peuples*.

²¹¹ Прежде всего пророк Исаия, вдохновенный прорицатель грядущего мира. См. 2 книгу пророка Исаии. Глава II, с. 4 и другие места. Об этом же говорят Иеремия, Михей, книги Левита, Паралипомена, вообще книги Ветхого Завета, не говоря уже о книгах Нового Завета.

²¹² *Философия войны*, СПб., 1897, 58—60.

²¹³ Напомню вновь слова Монтеня: «Ce qui est mal c'est tuer des hommes, non de les manger, quand ils sont morts» (Плохо людей убивать, а не съедать их уже убитыми).

²¹⁴ *Оправдание добра*. Том. VII. Собрание сочинений. С. 398.

²¹⁵ Например, войны строго оборонительные.

²¹⁶ В. Соловьев повторяет мысль Бокля о длительном якобы мире между Ватерлоо и Крымской войной, что далеко не точно.

²¹⁷ Мысль верная, и не потому, что при стрельбе из ружей неприятель остается невидимым, а по многим данным общей боевой обстановки.

²¹⁸ С этим военным специалистом, конечно, согласиться трудно.

²¹⁹ Соловьев берет одно из редких и крайних воззрений на государство, каковое в серьезных работах о государственном праве часто и совсем не рассматривается, но для целей философа упоминание о подобном воззрении очень пригодно.

²²⁰ В этом своем понимании В. Соловьев примыкает к этической теории обоснования государства. Среди видных ее представителей в древнем мире были Платон, Аристотель, а затем Вольф, Кант, Фихте и Гегель. Теория находит своих представителей и в ближайшее к нам время, каковы Шмиттгеннер, Захариэ, Цопфль, Шульце, Аренс и др. См. Еллинек. *Общее учение о государстве*. СПб., 1903. 532, с. 138—139.

²²¹ За границей она была расценена по ее реальному содержанию и в обман никого не ввела.

²²² Например, его «*Война и разум*». Берлин, 1896 и многие места в его художественных произведениях.

²²³ Еще Клаузевиц сказал по этому поводу очень метко, что в будущей войне образованные народы в отличие от цивилизованных будут больше руководиться враждебными намерениями, чем враждебными чувствами. См. *Vom Kriege*, с. 3—4.

²²⁴ См. Owen Pike. History of Crime in England, vol. 2, 1876, с. 372 или A. Sach. Deutscher Leben in der Vergangenheit, Изд. Bd., Z 1891 с. 643.

²²⁵ Для выяснения связи между организацией продовольствия на войне и характером поведения солдат и общей дисциплины см. исторические очерки в трудах Ф. Макшеев. «Военно-административное устройство тыла армий»; Richthofen. «Der Haushalt der Kriegsheere»; M. Quitternу. «L'alimentation des troupes en campagne...». Часто останавливается на этом вопросе фон дер Гольц в своем труде «Вооруженный народ». Лучшей иллюстрацией связи является отход Наполеона из Москвы, когда отсутствие продовольствия создало упадок дисциплины, а последний, по мнению Сарматикуса (*Von der Weichsel zum Dnieper*) был единственной причиной катастрофы.

²²⁶ Lombroso. Die Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens, 1902 и Aschaffenburg. Das Verbrechen und seine Bekämpfung, 1903. Также Ferri. Studi sul la criminalita in Francia Annali di Statistica 1881.

²²⁷ W.A. Bongер. Criminalite et Conditons Economiques, 1905, с. 573. Других аргументов нет, вся большая книга написана в каком-то свободном от критики духе.

²²⁸ Aschaffenburg. Das Verbrechen. С. 89. Он заимствовал ее у Лафарга.

²²⁹ В журнале Annale di Statistica, 1881.

²³⁰ Bournet. De la criminalite en France et Italie, 1884, с. 42. См. также, Contribution a l'étude stat de la Criminalité en France, 1884. Здесь мы находим в первой таблице кривую убийств постоянно возрастающей с 1864 г., не более высокой после 1871 г. и даже понижающейся после 1872 г.

²³¹ Joli. La France criminelle, с. 11 – 12.

²³² Ferri, I. С. 201.

²³³ Ferri, I, с. 181, 180, 169, 182, 183, 184. См. его таблицы, а также таблицы Starke. Verbrechen und Verbrecher in Preussen 1854 – 1878. С. 60.

²³⁴ Из таблицы 62, приведенной на странице 477 книги von. Oettingen Moralstatistik, 1882, и других фактов вытекает, что число преступлений, как во Франции, так и в Германии непрерывно возрастает с 1872 г. до 1877 г., то есть становится тем больше, чем дальше от войны.

²³⁵ Starke, с. 63 – 82, 127 – 131, там же и другие причины; Sombart. Der moderne Kapitalismus, 1902. V. Wartensleben. Verander te Zeiten, 1906, с. 86.

²³⁶ Kurella. Naturgeschichte des Verbrechers, 1893, с. 151.

²³⁷ Штейнмец. Философия войны, с. 128.

²³⁸ Morrison. Juvenile Offenders, 1896, с. 7.

²³⁹ Paule Gohre. Drei Monate Fabrikarbeiter, 1891, с. 86.

²⁴⁰ Там же, с. 192, 198.

²⁴¹ Reimond Stade. Frauentypen aus dem Gefangnisleben, 1903, с. 134.

²⁴² Aschaffenburg, I с. 66.

²⁴³ Schalmayer. Vererbung und aus lese im Lebenslauf der Volker, 1913, с.

142.

²⁴⁴ Философия войны, с. 136.

²⁴⁵ Вопрос о взаимоотношении государства и войны будет нами рассмотрен позднее специально.

²⁴⁶ Von List. Das verbrechen als sozial-pathologische Erscheinung, 1899, с. 19.

²⁴⁷ В своей книге «Das Volk im Waffen» Гольц требует для сословия офицеров особого выдающегося положения в государстве; там, где автор этого не видит, он называет офицеров рабами и ожидает от них мало доброго. Хорошая в существе своем мысль сильно портится в книге все еще сильным сословно-аристократическим привкусом.

²⁴⁸ «Кровь человеческая — как ни тяжело нам в этом сознаться — является необходимым элементом в основе создания политических организмов», — говорит В. Заболотный в статье «Роль войны в истории развития культуры». См. журн. «Война и мир», № 10, 1906 г.

²⁴⁹ Георг Еллинек. Общее учение о государстве. СПб., 1903, 532, с. 164.

²⁵⁰ Еллинек. Право... с. 165.

²⁵¹ Еллинек говорит, что в литературе вопроса это не всегда ясно сознавалось и проблема обоснования государства смешивалась с вопросом об его историческом возникновении. Так путали Stahl, Mohl и Bluntschli. Первый это выяснил Fichte, и впоследствии на правильную точку стали Eötvös и H. Schulze. См. Ellinek, 115.

²⁵² Подлежащие здесь рассмотрения относились к идеальному государству, а вопрос об историческом происхождении — к эмпирическому. Hegel § 258, Zachariae 57, Schulze, Ein leitung 139, Freudenburg 344, Jasson 293 и др. (Ellinek 116).

²⁵³ Tertulianus. Apologeticus. С. XXXVIII (Елл. 117).

²⁵⁴ Государство и для него есть зло, но сделавшееся необходимым вследствие грехопадения. Ср. Н. IV. Eicken. Geschichte und System der mittelalterliche Weltanschauung. Berlin, 1913, 822. Zweite Auflage, с. 122. В подлиннике Ehyrosotomus (род. в 347 г.).

²⁵⁵ Stahl. Philosophie des Rechts, Heidelberg, 1830. 2 тома. I — 362+344 и II — 431. Типичные главы во II томе: I, XV, XVI, IV. Решительнее Шталаля примкнул к Св. Августину Mühler. Grundlagen der Philosophie des Staats und Riechtslehre nach evangelischen Principien, 1873 с. 126 (Елл. 118).

²⁵⁶ XXII, 38.

²⁵⁷ В таком смысле высказывается о себе Людовик XIV.

²⁵⁸ «Toute puissance vient de Dieu, je l'avante; mais toute maladie en vient aussi Est ce a dire, qu'il soit defendu d'appeler le medecin?» Du contrat social ou principes du droit politique. Londres, 1872, 259. Книга I, с. 9.

²⁵⁹ Платон. Gorgias 482, E..., Rep. 1, 338 соч. (Елл. 121).

²⁶⁰ Plutarque. Les vies des Hommes illustres. Paris 1811. Т. II. Furius Camillus, XLIX, с. 265.

²⁶¹ Н. с. I, с. 340 (Елл. 121).

²⁶² Über Verfassungswesen, 6 из. 1877, с. 7. (Елл. 121).

²⁶³ Engels. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, Zurich, 1884, 146, с. 143, в русском переводе Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Москва 1918 г., 87. Приведенная основная идея Энгельса переведена так: «Воплощение цивилизованного общества есть государство, которое во всех без исключения “образцовых” периодах, есть государство господствующего класса и во всяком случае орудие к удержанию в повиновении эксплуатирующего класса», с. 85. Такой перевод можно назвать только возмутительным.

²⁶⁴ У социалистов же всех оттенков этическими прослойками о трудящемся, который *должен* пользоваться сполна своими трудами.

²⁶⁵ Engels. Unsprung... с. 140. Также нехорошо переведено в русском переводе и это место. Например, production, производство переведено словом «промышленность»... Вообще перевод сделан нехорошо.

²⁶⁶ Назовем ее так в противовес социальной и анархической.

²⁶⁷ Мысль, которую нам не один раз пришлось повторить в историческом обзоре.

²⁶⁸ Это прилагательное гейдельбергского профессора, конечно, сказано горяча, во всяком случае, более сильно, чем нужно.

²⁶⁹ Энгельс определенно говорит, что государство не есть «воплощение нравственной идеи, воплощение разума», как утверждает Гегель. Энгельс, Происхождение семьи... с. 80.

²⁷⁰ Это метко отмечено Руссо: «Car sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause; toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément on le peut légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort» (Коль скоро сила — источник права, результат прямо пропорционален причине. Всякая сила, превышающая право, порождает свое собственное право. И поскольку сильнейший всегда прав, не остается ничего другого, как быть сильнее). *Du contrat social*, с. 8—9.

²⁷¹ Например, во время борьбы Карла I с английским парламентом такое учение было подробно обосновано R. Filmer'ом (*Patriarcha or the Natural power the Kings*) и настолько было авторитетно, что против него должны были энергично выступить A. Sidney и Locke.

²⁷² Рассматривая его, как одну из исторически возможных форм естественного или основанного на силе государства... *Decive IX, 10; Leviathan XX*.

²⁷³ *Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerent, respublicae civitatesque constitutae sunt. De off II, 21, 73* (по Елл. 125).

²⁷⁴ Этот дряхлый принцип все же прочно уцелел в Индии, где вся земельная политика англичан и обирание исходят из принципа, что вся земля принадлежит короне и может быть передаваема индусу-землепашцу за плату. См. об этом мой труд «Индия, как главный фактор в средне-азиатском вопросе», с. 86 и далее.

²⁷⁵ Укажем на Гоббса, Руссо, Канта.

²⁷⁶ Уже Протагор усматривает происхождение государства в том, что люди собираются вместе.

²⁷⁷ 2 Царс. XXIII, 5 и 2 Паралип. XXIII, 16.

²⁷⁸ 2 Царс. V, 3.

²⁷⁹ De cive V, 12 и Leviathan XVII, p. 159 (Елл. 130).

²⁸⁰ Leviathan XVII, p. 156 и quaxe.

²⁸¹ Гоббс (Lev. XVII, p. 158) формулирует его так: authorize and give up my right of governing myself, to this man or to this assembly of men, on this condition that thou give up thy right to him and authorize all his actions in like a manner. (перепоручить и уступить мое право управления самим собой человеку или группе при условии, что и другие сделают то же самое).

²⁸² L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question. Таков основной тезис Руссо, которым он начинает свое сочинение Du Contrat Social, с. 7 (кн. I, гл. I).

²⁸³ Энергичным защитником которого был и Локк.

²⁸⁴ Эта сторона идей Руссо, как указал Менцель, сближает его учение с идеями Спинозы. В ней же чувствуется отголосок античных идей (подчинение граждан только своей воле), напр. Аристотеля (Polit. Книга VI, глава вторая).

²⁸⁵ Rechtslehre § 47.

²⁸⁶ J. G. Fichte. Beiträge zur Berichtigung der Urtheile des Publicums über die französische Revolution. Ber. 1844, 319. По этому поводу Фихте (с. 133) говорит: «...Каждая революция предполагает отступление от прежнего договора и объединение в силу другого договора. И то и другое правомерно, а с тем вместе правомерна и всякая революция, в которой и то и другое совершается закономерно, то есть добровольно». В подлиннике: «Zu jeder Revolution gehört die Lossagung vom ehemaligen Vertrage, und die Vereinigung durch einen neuen. Beides ist rechtmäßig, mithin auch jede Revolution, in der beides auf die gesetzmäßige Art, d. i. aus freiem Willen, geschieht».

²⁸⁷ В подлиннике: Jetzt ändert einer seinen Willen, und von diesem Augenblick an ist er vor dem unsichtbaren Richterstuhle nicht mehr im Vertrage; er hat kein Recht mehr auf den Staat, der Staat keins mehr auf ihn. J. G. Fichte. Beiträge zur... С. 90.

²⁸⁸ De cive II, 2 (Елл. 138).

²⁸⁹ Jus naturae II, § 78, 79. VIII, § 1. (Елл. 138).

²⁹⁰ Einleitung, § C, § 45.

²⁹¹ J. G. Fichte. Die Staatslehre oder über das Verhältnis des Urstaates zum Vernunftreiche, Berlin, 1820, 336. С. 75.

²⁹² Philosophie des Rechtes, § 258.

²⁹³ Например, Schmitthenner. Grundlinien des allge [meinen] oder idealen Staatsrechtes, 1845, С. 263; Н. А. Zachariae I, С. 63 (139).

²⁹⁴ Поэтому сюда могут быть отнесены и многие приверженцы этической теории. Затем Lasson, с. 298 и сл.

²⁹⁵ Даже странно в новейших системах этики Вундта, Паульсена, Гейдинга вопросов об основании государства или не находить совсем, или видеть лишь слабо затронутыми.

²⁹⁶ Аристотель говорит об *огме* (ормэ) как социальном инстинкте, который у всех направлен на образование государства.

²⁹⁷ С точки зрения социологических и анархических учений Св. Августин должен признаваться правым, понимая слово «раб» более широко.

²⁹⁸ Для желающих укажу на 141 – 144 страницы труда Еллинека.

²⁹⁹ Merkel. Jurist Encyklopedie (с. 21) справедливо замечает, что конкретное право всегда заключает в себе некоторую примесь несправедливости.

³⁰⁰ Die Politik des Aristoteles. Leipzig, 1893, 463. Книга I. Глава вторая, с. 34. Под рукою имел немецкий перевод М. Brascha.

³⁰¹ Об этих теориях смотри Murhard. Der Zweck des Staates, 1832, 406. Старый, но обстоятельный труд. Автор своей точки зрения не оттеняет, ограничиваясь доказательством важности самого предмета, то есть учения о целях государства (с. 3–18), но обзор учений дает исчерпывающий (по своему времени).

³⁰² Из старой литературы от этом впервые Schelling. Vorlesungen über das academische Studium, 1803, с. 255 и след. и Adam Müller. Elemente der Staatskunst, 1809, I. С. 66 и след.; из новейших авторов Preuss, с. 281 (148, Елл.).

³⁰³ Первые следы у Монтескье, XI, 5... Кульминационного пункта теория универсальной объективной цели в связи с партикулярной достигает в системе Гегеля. Например, Philosophie des Rechts, с. 424 и сл.

³⁰⁴ Таковы труды Бокля, Гизо, Мадзини и т. д.

³⁰⁵ Народ создает конституцию «in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common de-

fense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity» (с целью сформировать более совершенный союз, утвердить право обеспечить внутренний мир и спокойствие, общественный порядок, общее благо, стремление к свободе и благосостоянию).

³⁰⁶ Союзная конституция 29 мая 1874 г. Ст. 2. Союз имеет целью: охранение независимости отечества против опасностей извне, попечение о внутреннем спокойствии и порядке, защиту свободы и прав союзных кантонов и покровительство их общему благосостоянию.

³⁰⁷ ...Вечный союз для защиты союзной территории и действующего в пределах ее права, а равно и для попечения о благосостоянии германского народа.

³⁰⁸ Срав. Завещание Кира старшего сыновьям. Ксенофонт Киропедия.

³⁰⁹ Это подметил уже Кант. Он говорит: «Der Souverain will das Volk nach seinen Begriffen glücklich machen, und wird *Despot*; das Volk will sich den allgemeinen menschlichen Anspruch auf eigene Glückseligkeit nicht nehmen lassen und wird *Rebell*». См. Murhard, Der Zweik des Staates, с. 188–189.

³¹⁰ Jus naturae VIII. § 4 и след.

³¹¹ Grundsätze der Polizeiwissenschaft, 1756.

³¹² Превосходная характеристика полицейского государства у О. Mayer'a, Deutsches Verwaltungsrecht, I. С. 38 и сл.

³¹³ Якобинская конституция 29 июня 1793 года, ст. I: Le but de la société est le bonheur commun (целью общества является общее счастье).

³¹⁴ Ср. Lorenz Stein. Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich I, с. 176 и сл.

³¹⁵ У Платона цель государства — реализация совпадающей с добродетелью справедливости, по *Аристотелю* государство существует для достижения добродетельной жизни.

³¹⁶ Stahl. Der christliche Staat, 2 изд. 1858.

³¹⁷ Подробное опровержение этого учения дал Jacobowski. Der christliche Staat und seine Zukunft, 1894.

³¹⁸ Кант и его школа выставляли положение, что государство есть не что иное, как «объединение множества людей под законами права»; но задачей права является только гарантия сосуществования людей, почему

государство только стремится осуществлять право, а от всякого попечения о благосостоянии должно отказаться. Энергично отстаивали это учение Фихте (*Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre*) и В. ф. Гумбольдт (*Ideen zu einem Versuche, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, Gessamelte Werke VII*).

³¹⁹ De civi XIII, 15; Leviathan XXI.

³²⁰ Еллинек. Право современ. государства, с. 170.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аккерман Рихард (1858—1925) — немецкий писатель и литературовед.
- Александр I (1777—1825) — российский император с 12 марта 1801 г.
- Амичис Эдмондо де (1846—1908) — итальянский писатель.
- Анаксагор (ок. 500 г. — 428 до н. э.) — древнегреческий философ.
- Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель.
- Аничков Михаил Викторович (1855 — ?) — российский экономист.
- Ансильон Иоанн Петр Фридрих (1769—1837) — профессор истории Прусской военной академии.
- Антигона — в древнегреческой мифологии дочь фиванского царя Эдипа, рожденная от брака с его собственной матерью. К образу Антигоны, олицетворявшему верность родственному долгу, обращались античные авторы трагедий.
- Ариовист (I в. до н.э.) — вождь германского племени свевов.
- Аристотель (384—322 до н.э.) — древнегреческий философ и ученый.
- Аристофан (ок. 445 — ок. 385 до н.э.) — древнегреческий драматург, «отец комедии».
- Атилла (ум. 453) — вождь гуннского союза племен в 434—453 гг., который в период его правления достиг наивысшего могущества.
- Ашаффенбург Густав (1866—1944) — немецкий психиатр и криминолог.
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — английский поэт-романтик
- Барбаросса Фридрих (1122—1190) — император Священной Римской империи.
- Баро Одисс (1830—1907) — французский историк.
- Белох Карл Юлиус (1854—1929) — немецкий историк Античности.

- Беркли Джордж (1685—1753) — английский философ, представитель субъективного идеализма.
- Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен (1815—1898) — германский государственный деятель, князь.
- Блиох Иван Станиславович (1836—1901) — экономист, статистик-финансист. Автор ряда трудов по экономике и истории России, в том числе многотомного сочинения «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях» (1898 г.).
- Блюнчли Иоганн-Каспар (1808—1881) — швейцарский юрист, специалист по государственному и международному праву и по истории права.
- Богуславский Альберт фон (1834—1905) — генерал-лейтенант, немецкий военный теоретик.
- Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк и социолог-позитивист.
- Бонгер Виллем Адриан (1876—1940) — голландский социолог и криминолог.
- Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — французский писатель, церковный деятель, епископ.
- Брайт Джон (1811—1889) — английский политический деятель.
- Бренн (IV до н.э.) — предводитель галлов, победивших римлян в 390 г. до н.э., ему принадлежат слова «Горе побежденным».
- Бруно Джордано Филиппо (1548—1600) — итальянский философ и поэт, представитель пантеизма.
- Бэкон Френсис (1561—1626) — английский философ, родоначальник английского материализма, государственный деятель.
- Бэррит Элиу (1811—1879) — американский сторонник мира, инициатор проведения конгрессов мира в Европе.
- Бюхнер Фридрих Карл Христиан (1824—1899) — немецкий философ и естествоиспытатель.
- Вальденбрух Эрнест-Адам (1845—1909) — немецкий драматург.
- Введенский Александр Иванович (1856—1925) — русский философ-идеалист и психолог, крупнейший представитель русского неокантианства.

- Веллингтон Артур Уэсли (1769—1852) — английский полководец, государственный деятель, дипломат.
- Вергилий Марон Публий (70—19 до н.э.) — римский поэт.
- Верещагин Василий Васильевич (1842—1904) — русский живописец-баталист.
- Вогюэ Эжен Мельхиор де (1848—1910) — французский дипломат и археолог.
- Вольтер Мари Франсиа Аруэ (1694—1778) — французский писатель, философ, историк.
- Вольф Христиан (1679—1754) — немецкий философ, представитель рационализма. Ему принадлежит ряд трудов по международному публичному праву.
- Вундт Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог, философ и языковед.
- Галлер Карл Людвиг (1768—1854) — швейцарский государственный деятель, профессор истории и государственного управления.
- Ганнибал Барка (247 или 246 до н.э. — 183 до н.э.) — карфагенский полководец и государственный деятель.
- Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — русский писатель.
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ, представитель немецкой классической философии.
- Гельвеций Клод Адриан (1715—1771) — французский философ-материалист, идеолог революционной французской буржуазии.
- Генрих IV (1553—1610) — первый французский король из династии Бурбонов.
- Гераклит Эфесский (род. ок. 544—540 до н.э.) — древнегреческий философ-материалист.
- Герbart Иоанн Фридрих (1776—1841) — немецкий философ, психолог и педагог.
- Гере Пауль (1864—1928) — немецкий политический деятель, публицист.
- Гердер Иоганн Готфрид (1767—1803) — немецкий философ, просветитель, писатель.
- Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н.э.) — древнегреческий историк.
- Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт и мыслитель.
- Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк.

- Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ-материалист.
- Головин Николай Николаевич (1875—1944) — русский военный теоретик, генерал.
- Гольц фон дер (1843—1916) — немецкий военный теоретик, генерал-фельдмаршал.
- Гомер (между XII и VII вв. до н.э.) — легендарный эпический поэт Древней Греции.
- Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — русский историк и общественный деятель.
- Гротгер Артур (1837—1867) — польский художник, представитель романтической школы.
- Гроций Гуго де Гроот (1583—1645) — голландский юрист, социолог и государственный деятель. Один из основателей теории естественного права и науки международного права.
- Гумбольдт Вильгельм (1767—1835) — немецкий филолог, философ и языковед, государственный деятель.
- Густав-Адольф (1594—1632) — шведский король с 1611 г., крупный полководец.
- Гюго Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель, глава и теоретик французского демократического романтизма.
- Давид (кон. XI в. — ок. 950 до н.э.) — царь Израильско-Иудейского государства.
- Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт.
- Дарий — персидский царь из династии Ахеменидов (правил в V—III вв. до н.э.).
- Дегтярев Василий Алексеевич (1879—1949) — советский конструктор стрелкового оружия, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы.
- Декарт Рене (1596—1650) — французский философ и математик.
- Дельбрюк Ханс Готлиб Леопольд (1848—1929) — немецкий историк и политический деятель.
- Демокрит (ок. 460 — ок. 370 до н.э.) — древнегреческий философ-материалист.
- Демосфен (ок. 384—322 до н.э.) — древнегреческий оратор и политический деятель.

- Деникин Антон Иванович (1872—1947) — политический и военный деятель Белого движения в годы Гражданской войны и военной интервенции в России, генерал-лейтенант.
- Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — великий русский писатель.
- Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — русский военный теоретик и педагог, генерал от инфантерии.
- Дрэпер Джон Вильям (1811—1882) — физик, химик, физиолог и историк.
- Еврипид (480—406 до н.э.) — древнегреческий драматург.
- Егус Макс (1837—1900) — прусский писатель и военный деятель.
- Елизавета Петровна (1709—1761) — российская императрица с 25 ноября 1741 г.
- Еллинек Георг (1851—1911) — немецкий государствовед, представитель юридического позитивизма.
- Жерарден Эмиль (1806—1884) — французский политик и литератор.
- Жорес Жан (1859—1914) — деятель французского и международного социалистического движения, историк.
- Золя Эмиль (1840—1902) — французский писатель.
- Зутнер Берта фон (урожд. графиня Кинская) (1843—1914) — австрийская писательница. Получила Нобелевскую премию за свою пацифистскую деятельность.
- Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии.
- Кареев Николай Иванович (1850—1931) — русский историк.
- Карл Великий (742—814) — король франков с 768 г., император с 800 г.
- Карнейль Томас (1795—1881) — французский историк.
- Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96 г.) — древнеримский теоретик ораторского искусства.
- Кир Великий — древнеперсидский царь (558—530 до н.э.).
- Кларети Жюль (1840—1913) — известный французский журналист и беллетрист.
- Клаузевиц Карл (1780—1831) — немецкий военный теоретик и историк, прусский генерал.
- Кобден Ричард (1804—1865) — политический деятель Великобритании, идеолог промышленной буржуазии, фабрикант.

- Колумб Христофор (1451—1506) — мореплаватель, по происхождению генуэзец. Первым достиг берегов Америки в ходе океанской экспедиции.
- Кондорсе Мари Жан Антуан Никола (1743—1794) — маркиз, французский философ-просветитель, математик, социолог, политический деятель.
- Конт Огюст (1798—1857) — французский философ, один из основоположников позитивизма и буржуазной социологии.
- Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — российский военачальник, писатель, один из руководителей Белого движения на Дону в годы гражданской войны и военной интервенции в России.
- Ксеркс — древнеперсидский царь в 486—465 до н.э.
- Кузен Виктор (1792—1867) — французский философ-идеалист и политический деятель.
- Курелла Эрнст Готфрид (1725—1799) — немецкий врач-психиатр.
- Курциус Эрнст (1814—1896) — немецкий историк Античности, археолог и филолог.
- Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813) — один из виднейших русских полководцев, генерал-фельдмаршал.
- Кюльпе Освальд (1862—1915) — немецкий психолог и философ-идеалист. В философии — представитель критического реализма.
- Ламартин Альфонс де (1790—1869) — французский поэт-романтик, политический деятель, историк.
- Ланн Жан (1769—1809) — маршал Франции, герцог де Монтебелло.
- Лапуж Жорж Ваше де (1854—1936) — французский социолог, последователь теории социального дарвинизма и один из идеологов расизма.
- Лассаль Фердинанд (1825—1864) — деятель немецкого рабочего движения, публицист и адвокат.
- Лебон Гюстав (1841—1931) — французский психолог, социолог, антрополог и историк.
- Левассер Пьер Эмиль (1828—1911) — французский экономист и историк.
- Левек Пьер Шарль (1737—1812) — французский историк. Работал в России, написал труд «История России».
- Леер Генрих Антонович (1829—1904) — русский военный теоретик и историк, генерал от инфантерии.

- Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик и изобретатель, юрист, историк, языковед.
- Лист Франц фон (1851—1919) — австрийский юрист, специалист в области международного права и уголовного права.
- Лобачевский Николай Иванович (1792—1856) — русский математик, создатель неевклидовой геометрии, мыслитель-материалист.
- Локк Джон (1632—1704) — английский философ-просветитель и политический мыслитель.
- Ломброзо Чезаре (1835—1909) — итальянский судебный психиатр и антрополог.
- Лоскиель Георг Гейнрих (1740—1814) — немецкий историк, миссионер.
- Лотце Рудольф Герман (1817—1881) — немецкий философ, врач, естествоиспытатель.
- Лютер Мартин (1483—1546) — глава бюргерской Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма.
- Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, писатель, историк, военный теоретик.
- Мальборо Джон Черчилль (1650—1722) — известный английский полководец и политик.
- Марко Поло (1254—1324) — итальянский путешественник, совершивший путешествие через Центральную Азию в Китай.
- Мармон Огюст Фредерик Луи Виес де (1774—1852) — маршал Франции, герцог Рагузский.
- Мартенс Федор Федорович (1845—1909) — русский юрист и дипломат.
- Местр Жозеф Мари де (1753—1821) — французский публицист, политический деятель и религиозный философ.
- Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ-позитивист, экономист и общественный деятель.
- Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт, политический деятель, мыслитель.
- Михневич Николай Петрович (1849—1927) — русский военный теоретик.
- Молешотт Якоб (1822—1893) — немецкий физиолог и философ, представитель вульгарного материализма.
- Мольтке Хельмут Карл Бернхард (1800—1891) — прусский и германский военный деятель, генерал-фельдмаршал, военный теоретик.

- Моммзен Теодор (1817—1903) — немецкий историк, специалист по истории Древнего Рима и римского права.
- Монтень Мишель де (1533—1592) — французский философ и писатель.
- Мопассан Анри Рене Альбер Ги (1850—1893) — французский писатель.
- Морган Льюис Генри (1818—1881) — американский этнограф и археолог, историк первобытного общества, прогрессивный общественный деятель.
- Мурад II (1404—1451) — султан Османской империи, правивший в 1421—1444 и 1446—1451 гг.
- Наполеон Бонапарт (1769—1821) — великий французский полководец, государственный деятель, император Франции.
- Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943) — режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург.
- Нибур Бертольд Георг (1776—1831) — немецкий историк Античности.
- Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма, поэт.
- Новиков Яков Александрович (1849—1912) — российский социолог и экономист.
- Ньютон Исаак (1643—1727) — английский физик и математик.
- Паскаль Блез (1623—1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик.
- Паульсен Фридрих (1846—1908) — немецкий философ-идеалист и педагог.
- Пенн Уильям (1644—1718) — английский политический деятель.
- Петр I Великий (1672—1725) — русский царь с 1682, российский император с 1721, государственный деятель, полководец, дипломат.
- Пиндар (ок. 518—442 или 438 до н.э.) — древнегреческий поэт.
- Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — русский ученый, врач, педагог и общественный деятель. Основатель военно-полевой хирургии.
- Пифагор (ок. 570 — ок. 500) — древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель, основатель пифагореизма.
- Платон (428—347 до н.э.) — древнегреческий философ-идеалист.
- Плутарх (ок. 46 — ок. 127) — древнегреческий писатель, историк и философ-моралист.

- Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма.
- Прянишников Ипполит Петрович (1847—1921) — русский певец, режиссер, педагог вокала.
- Пуфендорф Самуэль (1632—1694) — представитель немецкого Просвещения XVII в.
- Радлов Эрнест Леопольдович (1854—1928) — русский философ-идеалист.
- Рамзес II — фараон Древнего Египта из XIX династии, правивший приблизительно в 1279—1213 гг. до н.э.
- Ревон Мишель (1867—1947) — французский историк и политический деятель.
- Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель, историк, физиолог и востоковед.
- Рише Шарль (1850—1935) — французский физиолог и бактериолог, психолог. Принимал активное участие в борьбе за мир.
- Ричард Генри (1811—1888) — руководитель пацифистской «Британской ассоциации мира».
- Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский философ-просветитель, писатель, композитор.
- Самсон — в библейской мифологии герой, которому приписывались сверхъестественная физическая сила и отвага.
- Святослав Игоревич (942—972) — великий князь Киевский, полководец.
- Сенека Луций Анней (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.) — римский политический деятель.
- Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — граф, французский мыслитель, социолог, социалист-утопист.
- Смит Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ.
- Собинов Леонид Витальевич (1872—1934) — русский певец, лирический тенор.
- Сократ (470/469—399 до н.э.) — древнегреческий философ.
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский философ, поэт, публицист и критик.
- Солон (между 640 и 635 до н.э. — 559 до н.э.) — афинский политический деятель, социальный реформатор, военачальник.

- Софокл (ок. 496—406 до н.э.) — древнегреческий драматург, государственный деятель.
- Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.
- Спиноза Бенедикт (1632—1677) — нидерландский философ, пантеист.
- Суворов Александр Васильевич (1730—1800) — знаменитый русский полководец.
- Сунь-цзы (рубеж VI—V вв. до н.э.) — знаменитый китайский полководец, философ, автор древнейшего военного трактата, известного истории.
- Сюлли Максимилиен де Бетюн (1560—1641) — французский государственный деятель, герцог.
- Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — после 117) — римский писатель-историк.
- Тимур, Тамерлан (1336—1406) — среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир.
- Тиртей — древнегреческий поэт втор. пол. VII в. до н.э.
- Тит Ливий (59 до н.э. — 17 н.э.) — древнеримский историк.
- Тит Флавий Веспасиан (39—81) — римский император в 79—81 гг.
- Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — граф, великий русский писатель.
- Трейчке Генрих (1834—1896) — немецкий историк и публицист.
- Тэн Ипполит Адольф (1828—1893) — французский философ, эстетик, писатель, историк.
- Фалес (ок. 625—547 до н.э.) — древнегреческий философ, родоначальник античной и вообще европейской философии и науки.
- Фергюсон Адам (1723—1816) — шотландский историк.
- Ферреро Гульельмо (1871—1942) — итальянский историк, публицист.
- Ферри Энрико (1856—1929) — итальянский криминалист.
- Фидий — древнегреческий скульптор сер. V в. до н.э.
- Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ и общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма.
- Фридрих II Великий (1712—1786) — король Пруссии с 1740 г.
- Фукидид (460—400 до н.э.) — древнегреческий историк.
- Хедин Свен Андерс (1865—1952) — шведский путешественник.
- Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н.э.) — древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.

- Цицерон Марк Тулий (106 до н.э. — 43 н.э.) — древнеримский политический деятель, оратор, писатель.
- Чижевский Леонид Васильевич (1861—1929) — русский ученый-артиллерист, генерал-майор.
- Чимабуэ (наст. имя Ченни ди Пено) (1240—1302) — итальянский живописец.
- Шарнхорст Герхард Иоганн Давид (1755—1813) — прусский военный деятель, генерал.
- Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.
- Шеффле Альберт Эберхард Фридрих (1831—1903) — немецкий и австрийский экономист, социолог и государственный деятель.
- Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих фон (1759—1805) — немецкий поэт, философ и историк.
- Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист.
- Штейнмец Рудольф Себальд (1862—1940) — голландский историк права, этнолог и социолог.
- Эвклид (III в. до н.э.) — древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике.
- Эдип — в древнегреческой мифологии царь Фив.
- Эзоп (VI в. до н.э.) — древнегреческий баснописец.
- Эпиктет (ок. 50 — ок. 138) — греческий философ-стоик.
- Юм Давид (1711—1776) — английский философ, историк, экономист, публицист.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| <i>И. С. Даниленко. Выдающийся военный теоретик и философ XX века</i> | 5 |
|---|---|

Философия войны

| | |
|--|-----|
| Глава I. Введение. Роль философии в изучении войны | 35 |
| Глава II. Война в людских суждениях | 68 |
| Глава III. Война в исторической перспективе | 98 |
| Глава IV. Война в научном отражении | 134 |
| Глава V. Нравственная оценка войны | 178 |
| Глава VI. Война и государство | 208 |
| <i>Приложение. Программа по философии войны</i> | 246 |
| <i>Примечания автора</i> | 249 |
| <i>Именной указатель</i> | 274 |

СНЕСАРЕВ А.
С53 **Философия войны / Андрей Снесарев. — М.: Ломоносовъ, 2013. — 288 с.**

ISBN 978-5-91678-176-2

Одно из крупнейших произведений ученого-энциклопедиста и военачальника А. Е. Снесарева «Философия войны» было подготовлено им к печати незадолго до ареста в 1930 году. В основе этого труда лекции, прочитанные слушателям Академии Генштаба Красной Армии, начальником которой А. Е. Снесарев был в 1919–1921 годах. Тонкий анализ причин возникновения войн, их форм и свойств, обстоятельные исторические экскурсы делают «Философию войны» весьма актуальной и в наше время. Книга адресована всем, кто интересуется философией и историей.

Андрей Евгеньевич Снесарев (1865–1937) — востоковед, путешественник, географ, философ, генерал-лейтенант царской армии, герой Первой мировой войны, первый ректор Центрального института живых восточных языков, ректор Московского института востоковедения.

УДК 355.01
ББК 66.4

В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ

12+

АНДРЕЙ СНЕСАРЕВ
ФИЛОСОФИЯ ВОЙНЫ

Редактор В. Колосов
Оформление, макет и верстка А. Кашафудиновой
Корректор Н. Пушина

Подписано в печать 15.07.13. Формат 60×90/16.
Тираж 1500. Заказ № 3308.

ООО «Издательство «Ломоносовъ»
119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 3. Тел. (495) 637-49-20, 637-43-19
info@lomonosov-books.ru www.lomonosov-books.ru



Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.pf тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685